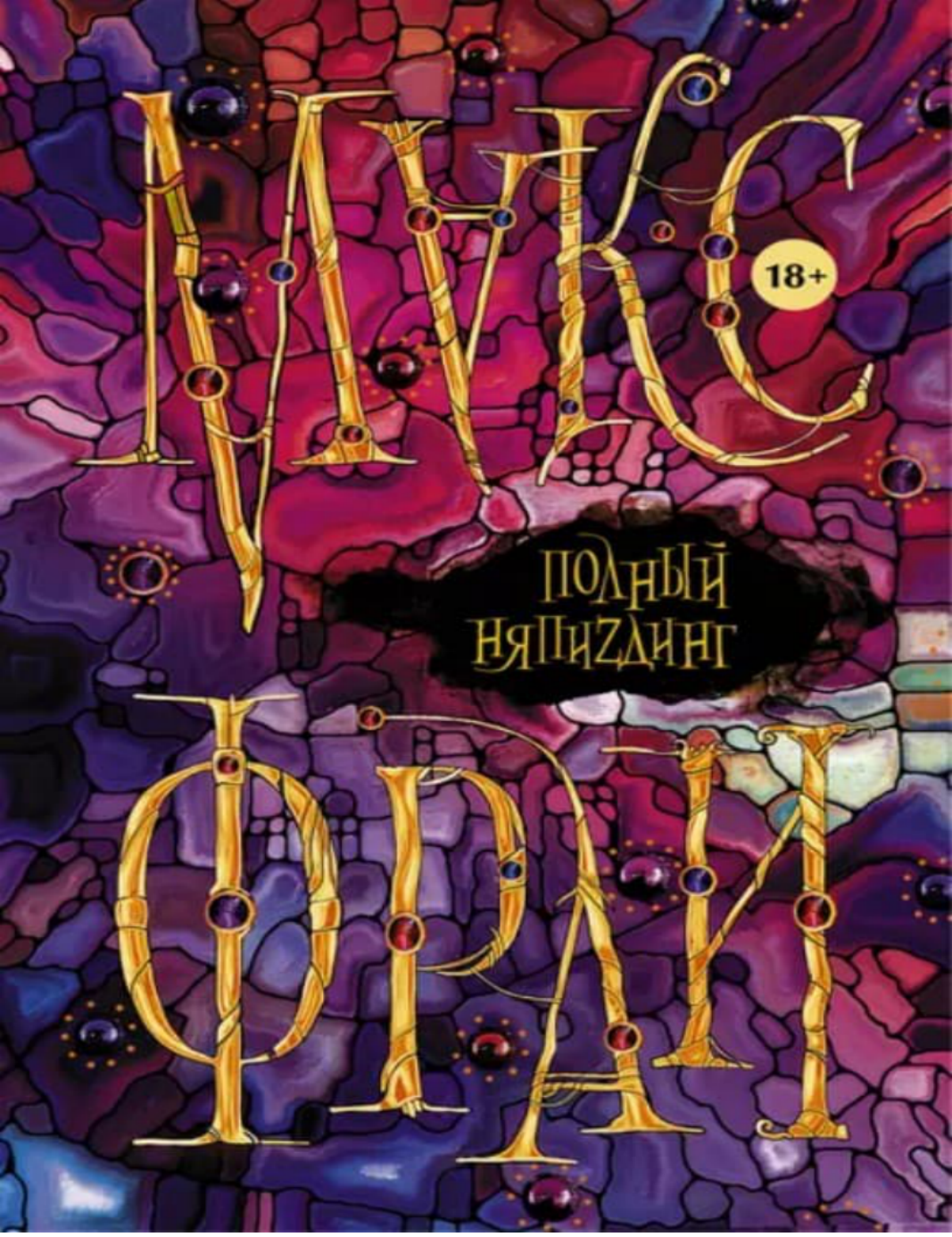
МИКС
18+
ПОЛНЫЙ
НЯПИЗДИНГ
ФРАЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

О содержании этой книги с уверенностью можно сказать одно: Заратустра ничего подобного не говорил. Но наверняка не раз обо всем этом задумывался. Потому что вопросы все больше простые и очевидные. Захватывающие погони ума за ускользающей мыслью, насильственное использование букв кириллического алфавита, жестокая трансформация смыслов, гроб на колесиках сансары, кровавые следы полуночных озарений, ослепительное сияние человеческой глупости — все вот это вот, непостижимое и неопределенное

Собственно, Макс Фрай всего этого тоже не говорил. Зато время от времени записывал — на бумажных салфетках в кафе, на оборотах рекламных листовок, на попонах слонов, поддерживающих земную твердь, на кучевых облаках, в собственном телефоне и на полях позавчерашних газет. Потому что иногда записать — это самый простой способ подумать и сформулировать.

- Макс Фрай
  -
  - НяпиZдинг, сэнсэе
  - НаперSники синея
  - НебеSное, zлодея
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

Макс Фрай
Полный НяпиZдинг

Сборник

НяпиZдинг, сэнсэ

Капитан Очевидность умер, и теперь все позволено.

А

Автор текста должен быть равновелик (как минимум) своему замыслу, поднятая тема должна помещаться в него целиком. Это недостаточное, но совершенно необходимое условие успешного решения задачи.

Поэтому так много талантливых и интересных житейских историй (любого формата, включая дневниковые записи). И поэтому же очень мало кому удается писать о любви и смерти так, чтобы читать не было стыдно, скучно и тошно.

И совсем уж мало кому — о непостижимом и неопределенном.

Точно знать, что в тебя помещается, а что нет, гораздо важнее, чем иметь большие размеры себя. Потому что размеры

наращиваются постепенно, как мышцы в ходе тренировок, дело житейское. Но тренировки начинаются только после того, как заканчиваются мучительные и бессмысленные попытки засунуть слона в прикроватную тумбочку.

Б

Бог дается (или не дается) человеку в ощущениях, поэтому вопрос «есть ли Бог?» из числа самых бесполезных. Ощущения — штука зыбкая, переменчивая. То есть, то нет. То — бац! — опять есть.

Разнообразные ритуалы придумывались для появления сходных ощущений у достаточно большого числа представителей текущей культуры. Храмы замышлялись как «места силы», где ощущения обостряются. Вряд ли можно изобрести ритуал, который будет воздействовать на всех; с местом несколько проще, есть такие, где вообще все хоть что-то дополнительное чувствуют. Как интерпретируют — это уже не очень важно.

Вера, строго говоря, просто доверие собственным ощущениям. А дискуссии совершенно бесполезны, Бог — штуковина сугубо практическая, а не теоретическая, чего тут обсуждать.

Бог — это то, наедине с чем мы остаемся, когда нас нет.

А способов попробовать, что такое «меня нет» великое множество. Каждый в отдельности мало кому подходит; всякому подходит хоть что-нибудь.

Чего тут думать, прыгать надо, прыгать. Прыгать.

Больше всего на свете люблю, когда моя картина мира трещит по швам. Почаще бы она это делала!

Потому что, во-первых, у меня такая базовая картина мира, что… Короче. Свифта читали? Так вот, он по сравнению со мной сущий ангельчик.

Примерно девяносто процентов осколков Андерсеновского зеркала осели в моих глазах. Остальные десять были честно поделены между прочим человечеством.

Я, конечно, умею приводить свою картину мира в более-менее пристойный вид. Каждый день этим занимаюсь с самого раннего детства. Такой тяжелый труд, что на остальные действия почти не остается сил. Хотя у меня их много.

Но даже будучи приведенной в порядок моя картина мира — и это уже во-вторых! — неполна и несовершенна. Потому что мне приходится пользоваться умом человеческим аналитическим одна штука. Другого не завезли. А человеческий ум просто не

способен вместить картину мира, более-менее приближенную к полной и совершенной.

Поэтому всякое обрушение своей картины мира я считаю очередным уточнением.

И надо сказать, за годы жизни моя картина мира уточнилась, так сказать, в обе стороны. В смысле, все даже хуже, чем мне с самого начала казалось. Но при этом намного лучше! И это совсем не парадокс. А просто очередное уточнение.

Будем честны, почти никто из людей не имеет вообще никакого моста к своей подлинной природе (пока не займется специальными практиками, да и то большой вопрос, получится ли хоть что-то при жизни). При этом каждый человек ощущает дикий голод на этом месте (вопрос лишь в том, осознает он или нет, а если осознает, то под наркозом, или вживую).

Этот голод кормится, по большей части, фантазиями. Фантазии, конечно же, вполне себе могут подкрепляться удивительными ощущениями и прочей условной плотью. Потому что заполнить именно эту дыру человеку надо позарез.

Это вопрос не просто жизни и смерти, а бессмертия и небытия. Потому что за бессмертие отвечает подлинная природа, к которой у смертной сиюминутной личности доступа нет.

Собственно, все стоящие практики, как понимаю я сейчас, завязаны на вытаскивание бессмертного сознания в сиюминутность, где оно может сплавиться с личностью, и тогда бессмертной станет именно та личность, которая живет сейчас. А не только смутное и неопределенное богоподобное нечто, с которым она (личность) вообще не знакома.

Ну и понятно, что никаких серьезных разговоров на эту тему быть не может, пока нет безупречной внутренней честности, позволяющей сказать (себе же): вот это явно мои фантазии, а это просто сны, а вот это смутное незнамо что, может быть правда обо мне, а может быть тоже неправда, я пока просто не знаю.

Такая честность подобна самоубийству самурая, только еще жестче, потому что отсекает иллюзию собственного бессмертия, ставит лицом к лицу с небытием.

Если часто практиковать этот невыносимый пиздец, появляется небольшой шанс пойти дальше. Туда, где нас ждет уже не иллюзия. Вернее, не стопроцентная иллюзия, потому что немножко бессмертного невыразимого в ней тоже есть.

Наверное.

B

В ботаническом саду гуляла пара, мальчик и девочка. То есть, дяденька и тетенька лет двадцати с чем-нибудь, но в состоянии «мальчик и девочка». Очень радостные и довольные жизнью.

Потом они начали фотографироваться. Девочка зашла в самую гущу цветущих лилий и стала там подпрыгивать, размахивая руками и всем своим видом демонстрируя восторг. А мальчик фотографировал, стараясь, как я понимаю, запечатлеть момент прыжка.

Потом они вместе отсматривали результат, и девочка снова шла в цветы радостно прыгать, а мальчик снова щелкал кнопку. В перерывах они оба выглядели озабоченными, усталыми и даже раздраженными. То есть, как типичные дяденька и тетенька, если называть вещи своими именами.

Потом съемка наконец закончилась, парочка незамедлительно обрела прежнее блаженное состояние и отправилась бродить среди цветов и трав.

И вот в чем парадокс.

Правда состоит в том, что этим людям было очень хорошо сегодня в ботаническом саду. Фотография, над которой они бились, призвана, как я понимаю, задокументировать их в высшей степени позитивные переживания для дальнейшего предъявления гипотетической публике.

Однако для создания эффектной наглядной демонстрации состояния «нам очень хорошо» ребятам пришлось временно выйти из этого состояния.

То есть, в момент производства отчета о блаженстве хорошо им вовсе не было. Модель старательно изображала визуальные проявления радости, а фотограф старался сделать соответствующий радостный снимок. У них не получалось, но они пробовали снова и снова. Устали от неудач, были раздражены.

Однако в итоге фотография (если она все-таки получилась) станет совершенно правдивым отчетом о счастливой прогулке в ботаническом саду, вот в чем штука.

То есть, людям пришлось соврать для того чтобы внятно и эффектно сказать правду.

На их месте мог быть (и регулярно оказывается) всякий художник.

В детстве мне часто снился сон про некрасивый массивный дом (так называемый «сталинский», как выяснилось много позже). Как я иду по улице мимо и смотрю на арку, которая ведет во двор, и у меня двойственное чувство — с одной стороны, дом кажется мне таящим угрозу, а с другой, очень притягательным. Так и тянет войти под эту арку, но я остаюсь на месте и

просыпаюсь с чувством облегчения — уффф, пронесло.

Во сне мне было известно, что дом этот находится где-то в Одессе.

В Одессе мы тогда проводили около месяца в году — летний отпуск родителей. Мне там была знакома только дорога от нашего дома до пляжа «Дельфин», кладбище на Слободке, куда меня таскали родители, парк имени Ленина возле дома, где мы часто гуляли по вечерам, и улица Дерибасовская, куда мы иногда торжественно (на такси) отправлялись в кафе-мороженое. Сталинского дома с аркой на этих маршрутах не было. Мне, конечно, хотелось его отыскать, но возможности ребенка в этом смысле крайне ограничены.

Потом, когда мы вернулись в Одессу, мне было уже девять лет, и мои исследовательские возможности существенно расширились. Но дом с аркой так и не попался мне на глаза, а потом сны о нем не то чтобы забылись, но перестали казаться чем-то важным, и поиски прекратились.

Когда мне было шестнадцать лет, мне дали на пару дней книгу стихов Арсения Тарковского. Неважно, кто дал и почему, скажу только, что владелец книги сильно переоценивал меня как потенциального читателя.

Поэзия меня в ту пору интересовала крайне условно. Ну, то есть, если пишешь свои стишки (а кто в шестнадцать лет их не пишет), надо иногда читать чужие. Из вежливости, что ли. И, по возможности, прилюдно хвалить — которые складные и не шибко скучные. Чтобы не подумали, будто тебя, кроме собственных стихов ничего не интересует.

Как-то, в общем, так обстояли мои отношения с поэзией.

И вот иду я по городу с книгой Тарковского в сумке. Из центра домой, на проспект Шевченко, незнакомым маршрутом. Потому что игра в Северо-Западный проход, позаимствованная из рассказа Уэллса «Дверь в стене» по-прежнему оставалась для меня столь же увлекательной, как в детстве. Пройти по незнакомым улицам, заблудиться, испугаться неведомо чего, обрадоваться, обнаружив знакомый переулок, и два часа спустя вернуться домой, как из далекого путешествия — это мне всегда было интересно; более того, жизненно необходимо.

На этот раз меня занесло в совсем уж незнакомый район. И в какой-то момент показалось нелишним отдохнуть, а заодно сообразить, куда идти дальше. И, самое главное, покурить. Пачка финского «Мальборо» стала таким важным атрибутом новой взрослой жизни, что не покурить в ходе героического путешествия по неисследованным землям было просто невозможно. А для этого требовалась скамейка, желательно в

более-менее уединенном месте, потому что перекур — это в первую очередь пауза. Отдых от человеческого мира и в некотором смысле от себя.

Укромное место нашлось в огромном проходном дворе, занимающем пространство между двумя улицами. Как заведено в Одессе, двор был зеленый, как положено в середине дня, безлюдный, и скамейка там нашлась, вполне себе скрытая от посторонних глаз кустами изготовившейся зацвести сирени.

При этом просто сидеть и курить мне быстро надоело. Мне в ту пору нравилось гулять в одиночку, но довольно плохо получалось в одиночку сидеть на месте. Приходилось затыкать внутреннее молчание какой-нибудь книжкой. А книжка у меня с собой была — стихи Тарковского. Очень кстати! Вежливость требовала прочитать из нее хоть что-то. Чтобы потом, когда хозяин книжки спросит: «Ну как?» — можно было бодро отбарабанить: «Очень здорово, особенно вот это и вон то». И бойко добавить фактуру, позволяющую опознать якобы любимые стихотворения. Всякий, кто ухитрялся быть отличником в школе, открывая учебники только на переменах перед соответствующими уроками, хорошо знаком с этой техникой.

И вот открываю я книгу стихов Арсения Тарковского. От скуки и из вежливости. И читаю: «Я так давно родился, что слышу иногда, как надо мной проходит студеная вода», — ну и все.

В смысле, для меня наступила прекрасная вечность, проведенная на дне речном. «И город мне приснился на каменном берегу» — это был совершенно конкретный город. И «зеленый луч звезды» вдруг блеснул для меня в солнечном дневном одесском небе. И вообще все невозможное и немыслимое, что должно было случиться, случилось.

Это было полное и чистое разделение опыта с автором. Это было — восприятие. Это было то, ради чего мы все здесь, на этой прекрасной земле, собрались, хотя тогда мне, конечно, в голову не пришло бы думать такими категориями.

Это было одно из важнейших событий в моей жизни. Один из тех внутренних переворотов, которые кардинально изменяют человека и, соответственно, весь мир. Вернее, закладывают фундамент грядущих (и уже неизбежных) изменений. А когда берешься описывать их словами, то и сказать толком нечего.

Как мне сейчас.

В какой-то момент наступившая вечность все-таки сменилась нормальным течением времени, сигарета была докурена, книга отправилась обратно в сумку. Пора было идти дальше.

Поскольку одно из наиважнейших правил моей игры в Северо-Западный проход — не возвращаться, пока окончательно

не зайдешь в тупик, пришлось поискать другой выход из двора. Выход нашелся — арка, ведущая на улицу (как потом оказалось, Сегедскую).

И уже на улице, когда стало примерно понятно, где я, и в какую сторону идти дальше, что-то дернуло меня обернуться.

Конечно, это был тот самый сталинский дом. И та самая арка. Во сне мне не хватало духу туда войти, а наяву входить было уже не нужно, потому что я — уже оттуда.

Очень хорошо помню, что это узнавание не вызвало во мне вообще никаких эмоций. Мне не было ни страшно, ни торжественно, ни даже интересно. Мне было все равно.

Все уже случилось, и существо, которое вышло из двора, скрытого за таинственной аркой, было равнодушно к обещаниям, которые неоднократно давали во сне ребенку, которым оно (существо) когда-то было.

Мне понадобилось очень много лет, огромная дистанция, отделяющая меня не только от ребенка-сновидца, но и от существа, вышедшего в тот день из-под арки, чтобы оценить наконец красоту обещания инициации и ее тихое, лишенное внешних атрибутов магии воплощение.

В маленьком супермаркете IKI кассирша спрашивает: «А вам нужен ваш чек?»

Рассеяно киваю. Чек мне не то чтобы нужен, но я их всегда забираю. Не знаю, зачем. Просто по привычке.

Ее коллега из соседней кассы в ответ на мой кивок торжествующе ухмыляется и швыряет в мою кассиршу бумажным шариком — скомканным чеком. Прямо в лоб!

«Вам точно нужен ваш чек?» — переспрашивает моя кассирша, адресуя мне взгляд настолько выразительный и заговорщический, словно мы три года просидели за одной школьной партой. И теперь у нас фронтовое братство на всю жизнь, не отменяемое дальнейшими житейскими обстоятельствами.

«О, конечно нет. Мне не нужен чек».

А кто на моем месте ответил бы иначе?

Кассирша улыбается столь ослепительно, словно ей только что была дарована власть над миром, и сейчас она наконец устроит все по-своему. Раз и навсегда!

Комкает мой чек и швыряет его в обидчицу. Один — один!

Глаза соперниц горят счастливым азартом — кому достанется следующий чек? Обе недлинные очереди, как нарочно составленные из граждан всех возможных цветов, возрастов и полов, добродушно ржут.

Больше всего на свете я люблю, когда люди ведут себя как

живые люди. Когда увлекаются игрой, когда доверчиво приглашают в игру всякого незнакомца, не опасаясь, что он побежит стучать начальству. Когда не боятся ни незнакомцев, ни начальства, ни наказания за нарушение инструкций. Когда вообще ни черта не боятся — не потому что такие уж храбрые, а потому что испугаться просто в голову не пришло.

Никогда не устану этим любоваться. Никогда.

Потому что именно отвлекаясь на подобные пустяки, человек возвращается к своей подлинной природе, которая столь далека от прагматичной звериной повадки, все еще позволяющей успешно выживать среди себе подобных, что преодолеть это расстояние можно только за долю секунды или вообще никогда.

В окнах одного виленского кафе стоят огромные ведерные колбы из прозрачного стекла, заполненные винными пробками. Это довольно красиво; во всяком случае, такой дизайн в моем вкусе.

Но тут есть одна проблема: пробки слишком чистые.

Ну то есть, они совершенно чистые. Без винных пятен, свидетельствующих, что каждая пробка когда-то закрывала бутылку, которую однажды открыли и распили. За каждой испачканной пробкой была бы история: вот эту бутылку уговорили старые друзья после многолетней разлуки, а эта оказалась лишней и спровоцировала безобразную сцену, из этой сварили глинтвейн, согрелись и не простудились, а эту выпили вдвоем из горлышка и целовались после каждого глотка, эту бутылку разбили, не донесли до дома, и было очень обидно, или наоборот, смешно. И так далее, и так далее.

Мне достаточно увидеть винные пятна на пробках, чтобы сотни историй проявились, ожили и защебетали в моем сознании. А когда я не вижу пятен, историй тоже нет, есть только дизайн — в данном случае удачный, но этого мало, как по мне.

С литературой то же самое; то есть, понятно, что с литературой — в первую очередь.

За каждым винным пятном, за каждой царапиной на штукатурке, за каждой трещинкой на асфальте может стоять история. «Может» — значит должна.

Рассказывать все эти истории читателю вовсе не нужно. То есть, некоторые можно и рассказать, если очень захочется и не помешает развитию основного сюжета. Важно однако не сколько раз мы проболтаемся, а сколько раз промолчим.

За каждым написанным текстом должны стоять дополнительные нерассказанные истории, которые оставили следы в сознании автора и, как следствие, в темной, непостижимой и нечитаемой, но явственно ощутимой глубине

текста.

От этих нерассказанных историй текст обретает плотность и достоверность, именно они дают тексту жизнь; собственно, они и есть жизнь.

Дурацкий школьный вопрос «что хотел сказать автор?» может (строго говоря, должен) оставаться без ответа. Но чем больше существует ответов на вопрос «о чем промолчал автор?» — тем больше шансов у жизни победить смерть в отдельно взятом тексте.

В сумерках разгорается старый уличный фонарь.

Это происходит так: сперва он медленно наливается бледным голубоватым сиянием, трепещущим, как пламя свечи на ветру. Причем чем ярче светится, тем сильнее дрожит. Потом вдруг ррраз — и гаснет.

И пауза.

И когда наблюдатель уже уверен, что фонарь больше не загорится, тот быстро и уверенно наливается теплым оранжевым светом, таким ярким, что с непривычки приходится отводить глаза.

И это, конечно, очередная история о том, как все устроено — тут и не только тут. Везде, вообще.

В такую погоду как нынче тут у нас (пасмурно, сухо, плюс двадцать) мне обычно кажется, что именно сегодня — лучший день моей жизни, идеальный, по моим меркам скроенный, до миллиметра выверенный день, а я сижу на месте, как балда.

Ну или не сижу, а иду гулять, или, напротив, пишу что-нибудь, или отправляюсь по каким-то незначительным делам, позволяющим делать приятные остановки в кафе. И все это вместо того, чтобы…

Чтобы — что?

А вот даже не знаю, что именно. Забраться на самый высокий холм? Уехать за город и бегать по лугам, выкрикивая детские заклинания? Вылезти на крышу и сидеть там, замирая от сладкого ужаса, глядеть в небо, ожидая, пока оттуда спустится лестница, предназначенная для возвращения домой беспутных ангелов и загулявших бодхисатв? Прыгать на одной ножке на берегу реки, в надежде, что мои дикие выходки заинтересуют и приманят русалок? Бежать по центральному проспекту, как разгоняющийся для взлета самолет? Покупать имбирное печенье и рассылать его далеким друзьям в пухлых бандеролях?

Я и правда не знаю, что следует делать таким как я в дни, подобные нынешнему.

Когда узнаю, скажу.

В темноте

Вечером по улице Вильняус, кое-как освещенной витринами и редкими зеленоватыми фонарями, шел мальчик лет двадцати в слишком тонкой, не по сезону черной куртке с капюшоном и карманами на животе. Из-под куртки, впрочем, выглядывал толстенный зеленый свитер, скорее всего, домашней вязки.

Мальчик шел очень быстро, сунув руки в карманы, слегка ссутулившись, вернее, сложив все тело «лодочкой», как складывают ладонь, чтобы набрать воды. Я знаю этот способ согреться на зимнем ветру, мы тоже когда-то ходили так в своих тонких куртках по берегу моря, темного, как концентрат всех зимних ночей, холодного, как сосулька за шиворот, горького, как лекарство, не знаю уж, от чего.

У мальчика было собранное, спокойное и отрешенное, но слегка озабоченное лицо, как у самурая, который собрался совершить ритуальное самоубийство, осталось только написать последнее стихотворение, произнести его, и можно впускать в себя смерть. Но пока не удалось подобрать правильное слово для третьей (к примеру) строки, нужное на один слог длиннее, чем надо, а синонима нет, или просто не вспоминается — ну и вот.

Некоторые люди всю жизнь, с детства до глубокой старости подбирают это чертово слово, всегда готовые к смерти, но только не к торжеству несовершенства. Не худший, к слову сказать, удел.

Проходя мимо меня, мальчик вынырнул из своего внутреннего омута и отчетливо спросил:

— И что теперь?

— Все что угодно, — сказал дежурный по моей внутренней кухне, который всегда начеку, всегда готов прийти на выручку, если я не в форме и не понимаю, что происходит. — Все что угодно, — сказал он, и голос мой звучал куда тверже, чем в те дурацкие моменты, когда говорить зачем-то берусь я.

— Так и знал, — сказал мальчик.

И поспешил дальше.

А мы с дежурным по внутренней кухне пошли своей дорогой и купили себе у Маркса и Спенсера овсяного печенья, потому что жизнь продолжается, а значит, пора пить чай.

Вдруг дошло, что я — человек без прошлого.

То есть, события и факты я разумеется помню. Но они совсем не трогают меня. Прошлое — это неинтересно. Оно уже было, чего воду в ступе толочь?

Сделанное в прошлом по большей части хорошо, но тоже неинтересно — оно же уже сделано. А значит его все равно что нет. Или даже не «все равно что», а просто нет. И точка.

И так вообще всегда и со всем. Прожито, сделано, подумано, написано — прекрасно, унесите. Идем дальше. Там, впереди, еще

столько всего!

Сейчас я все это новое проживу, сделаю, сформулирую, запишу, выдохну — и привет. Уносите. Дальше, дальше же! Что дальше?

Белая дыра, натурально.

Вечер воскресенья

На улице Вильняус подвыпивший человек в красной куртке громко кричал, грозя кулаками невозмутимому небу: «Завтра! На работу! Опять на работу! За что?!»

Вся скорбь мира сего — в этой незамысловатой сценке. Да такая густая, что когда горемыка ушел, она (скорбь) осталась лежать под фонарем уродливой темной кучкой.

Несколько минут спустя все на той же улице Вильняус хмельные от вдохновения мальчишки лет сорока тщетно пытались прервать обсуждение какой-то непостижимой штуковины и попрощаться, подбадривая друг друга обещаниями: «Ну завтра на работе! С утра встретимся! И я тебе объясню! А я попробую вот так! И еще спросим…»

Темный комок всей-скорби-мира-сего, лежавший под фонарем, рассеялся под напором их энтузиазма.

Если к вам придет ангел с неба, добрая фея с волшебной палочкой, интеллигентный бес с прейскурантом на бессмертные души, золотая рыбка с новым корытом наперевес, или любой другой потенциальный исполнитель желаний, просите вдохновения, мой вам совет.

Остальное приложится.

А если не приложится, вы и не заметите.

Власть над миром заключается, кажется, в том, что становится плевать, будет ли по-моему.

Внезапно вспомнилась история о том, как мой прадедушка Джон встречал Новый год.

Дело было, видимо, уже в тридцатые годы, потому что именно Новый год он встречал, а не лютеранское свое Рождество.

Так вот, однажды прадедушка Джон перепутал день.

Не то в доме не было календаря, не то дети вырвали лишний листок, об этом история умалчивает. Факт, что как-то раз утром тридцатого декабря прадедушка Джон приволок из сарая елку и велел домашним ее наряжать. В то время елку было принято наряжать в день праздника, а не заранее, поэтому домашние поинтересовались: а почему не завтра?

Как — почему? Да потому что сегодня тридцать первое декабря. Какое такое тридцатое? Тридцатое было вчера. Вот какие растяпы мои девочки, чуть Новый год не пропустили.

— Какие соседи? Что они знают, эти соседи? —

снисходительно отвечал прадедушка Джон на предложение выйти во двор и спросить соседей, какое сегодня число. — Что ты мне вчерашнюю газету суешь? — строго вопрошал он жену, побежавшую за свежей газетой, как за последним аргументом. — Готовьте стол, а я пошел по делам.

И подмигнул так выразительно, что всем сразу стало ясно — на самом деле, не по делам, а за подарками детям.

Спорить с прадедушкой Джоном было невозможно. Вы когда-нибудь пробовали спорить с человеком, которого однажды оштрафовали за вырванный из земли фонарный столб?

Ну и вот.

Поэтому вечером все члены семьи сели за стол и встретили Новый год на день раньше положенного. Если-пили, пели песни, танцевали, играли в лото и еще как-то развлекались. И дети нашли под елкой подарки. И все было хорошо.

На следующее утро прадедушка Джон понял, что все-таки ошибся с датой.

— Ладно, — сказал он, — с кем не бывает. Есть еще что на стол поставить? Готовьте давайте, а я по делам.

И пошел покупать еще одну партию подарков детям.

И вечером все снова сели за стол и встретили Новый год. Если-пили, песни, танцы, лото, все дела. И дети снова нашли под елкой подарки. Всю жизнь потом вспоминали этот двойной Новый год, как лучшее событие своего детства. Такой был сюрприз!

Сейчас будет мораль, простая и несокрушимая, как золоченый новогодний орех.

Мы все время от времени ошибаемся, это естественный процесс. Поэтому следует учиться исправлять свои ошибки так, чтобы те, кто оказался рядом, вспоминали это потом всю жизнь с радостью и благодарностью.

Затем, собственно, и нужны нам ошибки — чтобы учиться выруливать на крутых виражах, из отчаянного «нет» в блистательное «да». Такой сюрприз будет от нас всему этому миру.

Такой прекрасный сюрприз.

«Внутренняя правда», о которой так много сказано в дальневосточных источниках умных цитат, это не какая-нибудь «честность перед собой» или, не знаю, «верность принципам» из добрых книжек о хороших людях. Это вообще не про этику.

Это — о наборе действий и мыслей, которые приводят к оптимальному (на данный момент) течению энергии в организме.

О внутренней правде можно сколько угодно говорить, но пока не воспринимаешь течение энергии в собственном теле, как

некоторый вполне обычный физический процесс, типа тепла, щекотки, погружения в воду и т. п., говорить вообще не о чем. Нет предмета разговора. При том что процесс (течения энергии оптимальным, но чаще совершенно дурацким образом) — есть. И он, конечно, непрерывный. И вся совокупность поведения и убеждений на этот процесс влияет, вот хоть убейся, влияет, и все тут.

И пока мы не следуем внутренней правде (о которой понятия не имеем, невзирая на разговоры), мы получаемся страшные дураки. Ну, как будто навозу поесть, чтобы подкрепить силы. И даже не факт, что свежего.

Но ради всего вышесказанного не стоило бы трудиться писать. Потому что все это и так понятно (мне), и формулировки уже давно не стремятся быть записанными, чтобы устаканиться по ходу и перестать крутиться в голове, нужной для других добрых дел, например, загрузки продовольствия.

Но.

Штука в том, что внутренняя правда подолгу одной и той же не бывает. Общей для всех — тем более, хотя случаются порой изумительные совпадения, свидетельствующие вовсе не о родстве душ, как принято говорить, а о родстве тел, которые — потоки.

На разных этапах жизни внутренняя правда разная. Поэтому за нее нельзя цепляться. То есть, цепляться нельзя даже за нее. В первую очередь — за нее, собственно.

Если объяснять на совсем уж простом примере, вот именно по этой причине многие люди разочаровываются в так называемых «идеалах юности». На их место обычно приходит разочарование и прочая высокая литература.

И разочарованный человек с горя выбирает для себя биологическое (то есть, более-менее способствующее физическому выживанию в социуме) поведение. И влачит унылое существование, вместо того, чтобы прислушаться к себе и подобрать новую оптимальную программу образа мыслей и действий, новый, актуальный на данном этапе идеал, которого не может не быть, потому что какой-нибудь способ поведения непременно приведет к правильному течению энергии. Надо только его найти.

То есть, ответ на вопрос: «Что такое хорошо, и что такое плохо?» — как ни удивительно существует. Просто он сугубо индивидуален и настолько переменчив, что, можно сказать, сиюминутен.

Нас, обладателей человеческих тел, убивает стремление оставаться последовательными.

Потому что мы придуманы, чтобы прыгать и течь.

Вот какой-то человек выходит из дома в начале десятого вечера, потому что весь день сиднем сидел и работал — предположим, что так.

Какой-то человек на ходу придумывает себе повод куда-нибудь дойти, потому что иначе ноги его неуверенно сделают круг по ближайшему кварталу и поскачут домой — ура! дома можно еще поработать!

Такие уж удивительные у этого человека ноги.

Чтобы обхитрить ноги, человек думает: ладно, пойду например в универмаг через речку. Там можно купить табак, который заканчивается. И закончится буквально послезавтра.

«Так завтра купишь», — ворчит одна из ног. Кажется, левая, она больше правой любит, когда человек работает и можно никуда не ходить. Но поздно. Возбужденный словосочетанием «табак заканчивается» человек уже приближается к пешеходному мосту. И ступает на мост, и идет вперед, желая перейти великую реку. Он где-то читал, что хулы не будет. Он много разного в свое время читал, этот человек.

И взойдя на мост, слева человек видит небо, залитое струями солнечного света, как будто солнце — это просто такой фонтан. И его включили, потому что лето. И фонтан бьет.

А справа человек видит пасмурное небо и две радуги, длинную-яркую и короткую-бледную.

На правую ладонь человека падают дождевые капли. Одна, другая, десяток, второй! Но человек не спешит убегать в укрытие. Человек стоит на мосту и растерянно таращится на свою левую ладонь, совершенно сухую. И на свой левый рукав, тоже сухой. И на правый, уже совсем мокрый.

Потом дождь, прошедший с правой стороны, утихает, и человек идет дальше. В сухой левой руке он держит кошелек, а в мокрой правой руке ничего не держит. Уж больно она мокрая.

Потом этот человек придет на другой берег и купит там табак. Но это уже не очень интересно.

Считается, что этот наполовину промокший человек — я. Многие люди совершенно в этом уверены. А я не знаю.

Но это и не важно.

Время метать бисер

Пришло время метать бисер.

Потому что свиней на самом деле довольно мало. Зато очень много детей разного возраста. Педагогически запущенных и не очень. Разных, короче.

А дети из бисера феньки делают. Даже когда он жемчуг. И это не самое лучшее, но и далеко не худшее применение.

Поэтому — надо метать.

Все спят, и никто не видит, как на город спускается густой туман абрикосового цвета.

Первым исчезает собор Святого Казимира, потом крыши других зданий, фонари, провода и деревья, остается только дом, в котором не сплю я, и парочка соседних строений, темных, тихих, плоских, как дешевые декорации.

Все спят, и никто не слышит, как истошно начинают орать птицы, обнаружившие, что от реальности почти ничего не осталось.

Некоторое время ничего не происходит, потом туман понемногу начинает редеть, по кусочку возвращая нам с птицами обетованную реальность. Ближе к утру даже намек на собор Святого Казимира появится (в прежние дни появлялся), хотя сейчас трудно поверить, что в том месте может быть что-то кроме влажной оранжевой мглы.

В предрассветных сумерках туман окончательно сдастся и неохотно сплюнет на мокрую траву пару-тройку ржавых гаражей, сизую стену и оставленный вчера возле нее мой автомобиль. Тогда можно будет поехать домой и лечь спать, потому что знали бы вы, как сладко спится между концом одного света и началом другого.

Все живое

Некоторые (очень немногие, вряд ли больше десятка) блоги мне доводилось читать вглубь, вернее, из глубины, со дня основания. В процессе такого чтения всякий раз узнаешь поразительные вещи, причем не столько о конкретном человеке, сколько о путях развития и упадка человеческого духа и еще о собственной неведомо откуда (и так некстати) взявшейся способности любить все живое.

На каком-то этапе обременения знаниями такого рода, хочется не то чтобы умереть, спасая человечество, скорее просто оказаться у всякого, без единого исключения, смертного ложа, держать за руку каждого, чей путь окончен, утешать байками, в которых будет гораздо больше правды, чем способен вместить живой организм, а умирающему в самый раз.

Это, я отдаю себе отчет, только выглядит воспалением милосердия и братской любви, а на самом деле очень эгоистическое желание. Просто до чертиков надоело жить в мире, где почти нет ни деятельного утешения, ни даже внятного обещания его в финале, а потому люди вынуждены утешать себя сами — при том, что этого почти никто толком не умеет, и вместо утешения выходит оглушение. Все равно что трезвому в пьяной компании сидеть — поначалу забавно, потом бесит, потом на какое-то время перенимаешь общее состояние, потом выходишь

из него, и бесишься еще сильнее, потом бегаешь с мокрым полотенцем, пытаясь протрезвить хоть кого-нибудь, а потом просто устаешь и начинаешь оглядываться — где тут у нас выход.

Можно предельно ограничить круг общения, можно запереться в башне из слоновой кости, можно бесконечно говорить с воображаемым другом, не препятствуя случайным свидетелям подслушивать, и даже почти верить, что ваши с воображаемым другом усилия изменят мир (а они, кстати, изменят, вопрос, насколько значительны и заметны будут изменения, и правильный ответ на него, увы, лишен избыточного оптимизма). Да много чего можно, просто довольно глупо не осознавать, что быть живым человеком на этой прекрасной земле означает являться частью общего контекста, сформированного при активном участии оглушенных — просто потому что их гораздо больше.

И будучи частью этого контекста, о чем еще и мечтать, кроме как стать добрым швейцаром на выходе, который поможет надеть пальто, выслушает последние пьяные жалобы, утешит, пообещает, что все будет хорошо, и вызовет такси.

Это наверное удивительно и почти дико звучит в моих устах (даже для меня удивительно и почти дико), но каждым моим поступком, каждым жестом, каждым словом движет любовь, которая больше меня. И эта моя любовь все еще слишком прагматична.

Вообще-то, смешно — если отвлечься и посмотреть со стороны.

Все непросто

Потому что, во-первых, до «просто» всем присутствующим еще несколько витков эволюции. Человек рожден из праха ради цветущей сложности и неизбежно сопутствующих ей заблуждений. Если кто смотрел британский сериал «Миранда», то здесь следует воскликнуть с интонациями ее мамы: «Это так весело!»

Потому что, во-вторых, лето перевалило за половину, и это тот счастливый момент, когда лично я не верю, что бывает зима. Знаю (теоретически), но не верю.

А еще потому что из человеческого мира со свистом уходит смысл. Все время, как воздух из шарика.

Дырки, через которые уходит смысл, можно залепить магией (в самом широком смысле слова). Любым, то есть, деятельным обещанием бессмертия.

Вот например искусством отлично залепляются дырки. Тем, которое подлинное и мертвому зайцу разъяснено раз и навсегда[1].

Я не шучу про зайца. Ну, почти не шучу.

Пустота, которая образуется на месте смысла, проще всего заполняется чувством собственной правоты. Такой уж материал, идеально ложится именно в эту дырку.

Как и смысл, правота требует действий. Но, как бы это сказать, несколько иных.

Если смысл требует нести его и наполнять все, что подлежит заполнению, правота требует идти и истреблять все, ей противоречащее. Вот почему отсутствие смысла неизбежно приводит к агрессии.

Проще говоря, если вам кажется, что для улучшения вашей жизни надо кого-то убить, у вас на месте смысла дырка. И вы отчаянно смертны — вот прямо сейчас.

Вспомнилось вдруг одно из самых регулярных наваждений позднего детства. Это когда окружающий мир вдруг начинает казаться двумерным, а дома (если накрыло на улице) — фанерными декорациями, пальцем толкни, рухнут.

Это было почему-то довольно приятно, совершенно меня завораживало. И казалось чем-то, не знаю даже, как сказать — нехорошим? неприличным? — как будто реальность вдруг стала без трусов. Как будто вот сейчас она и есть «настоящая», какой ее никто не видит.

(Хорошо еще, что мне тогда не был известен целый пласт соответствующей литературы, а то сколько наивных спекуляций насчет майи породил бы на радостях детский ум, подумать страшно.)

И в связи с этим до меня вдруг дошло: с некоторых пор все, что я делаю всеми доступными мне способами — про многомерность мира. Про то, что видимым слоем реальность не ограничивается, с него только начинается восприятие, и если им же заканчивается, это просто ущербность, физический недостаток; впрочем, устранимый.

Быть частью реальности и не ощущать (хотя бы) ее текучесть, быть захваченным потоком времени и не чувствовать (хотя бы) его движение — ну, слушайте, так дело не пойдет. Я так не играю.

Вернее, я играю не так.

Поэтому все, с чем я прихожу к вам под окна, чтобы докричаться и выманить из дома во двор, в открытый всем ветрам мир живых — про другие слои, про глубину, про абсолютно внятные, но не очевидные взаимосвязи всего со всем. И в первую очередь — человека с собственной глубиной.

Вся история модернизма представляется мне следствием того, что дух вдруг с каких-то хренов (скорее всего, просто для

равновесия) решил являть себя уважаемому европейскому человечеству с большей, чем прежде интенсивностью и (вероятно по этой причине) самыми разнообразными способами. Ну, то есть, понятно, что слово «решил» тут неуместно, дух просто стал проявляться через искусство с удесятеренной силой и разнообразными способами, словно бы заговорил с людьми на множестве языков одновременно в расчете, что хоть какой-нибудь, да поймут.

Художники, надо сказать, попали. Потому что когда ты вдруг делаешься мало того что инструментом проведения огромного количества духа, но еще и носителем нового художественного языка, который никто вокруг не понимает и учить, мягко говоря, не то чтобы вот прям все стремятся, в такой ситуации у тебя не так много шансов выжить — в самом простом, бытовом, физическом смысле этого слова. Тут вероятно следует напомнить общеизвестную, но чрезвычайно показательную легенду про Ван Гога, который пытался продать свою работу хозяину лавки художественных товаров по цене чистого холста и получил фигу, потому что холст, по словам хозяина, был «испачкан».

Хотя некоторые художники, в итоге, совсем неплохо устроились. Это называется «счастливая судьба».

Кстати, быть инструментом проведения духа без надлежащей психофизической подготовки — та еще засада. Тело выдерживает с трудом и обычно недолго, хотя и тут, к счастью, бывают исключения.

Апофеозом, не побоюсь этого слова, беспредела является, конечно же бывший немецкий летчик Йозеф Бойс, объявивший искусством все, что лежит под солнцем. Бойс, который формально как бы просто художник, а на деле — шаман, практикующий на глазах у охреневшей от такого дела публики. Просто в Нижнем Мире Бойс не ловил за хвост душу пациента и не договаривался с духами об удачной охоте, а решал вопросы искусства, такая уж у него была специализация.

«Человек нуждается в том, чтобы быть сформированным правильным образом. А это значит, что его следует вылепить. Он должен быть вылеплен абсолютно сверху донизу».

Это Бойс так рассуждал о педагогике. Люблю его за это, как можно любить только за общие заблуждения, потому что мне тоже кажется, что все именно так и есть. Одновременно я понимаю, что подобные упражнения в скульптуре — чужая (уж никак не человеческая) компетенция. Но мое понимание ничего не меняет.

Для меня художественное пространство (мир художественных практик — да как ни назови) очень четко делится на «до Бойса» и

«после Бойса». Мне кажется, после Бойса заниматься искусствами (любыми), не будучи при этом хотя бы отчасти шаманом — бессмысленно. Или ты идешь в Нижний Мир, голый, босой, ни хрена не соображающий, приносишь в жертву духам себя целиком, и если не будешь сочтен слишком легким, получишь место юнги на Летучем Голландце, патрулирующем границу между непостижимым и немыслимым. Или ты сидишь дома и вышиваешь макраме на условиях построчной оплаты, точка.

Ну, то есть. Без этого потустороннего ужаса можно, конечно, быть художником. Все можно, красиво жить не запретишь. Просто совершенно бессмысленно — по большому счету. А по малому — нормально, все как у людей. Можно даже к кормушке какой протолкаться. И задержаться там на неопределенный срок, с чадами и домочадцами.

Потому что если Бойса нет, все дозволено.

Тут, если по уму, надо бы сказать еще и о том, что параллельно с описанным крупномасштабным нисхождением духа происходил не менее крупномасштабный выпендреж, развеселые игры ума и прочее дада, и этак непринужденно перейти к Энди Уорхолу, гению, современнику (почти) и абсолютному антагонисту Бойса.

Бойс объявил искусством весь мир, Уорхол — себя.

Все это было написано потому, что мне вот практически на днях удалось осознать и сформулировать принцип, по которому я оцениваю современное искусство — то есть все, происходящее в художественном пространстве сейчас.

В первую очередь важно: что нам предлагает художник? Весь мир, или так или иначе оформленное «я»?

После Бойса и Уорхола это — единственный работающий принцип. Верьте мне. Я на мировом древе вот прям щас вишу. Или висю. Глагол «висеть», первое лицо, единственное число, настоящее время, короче.

Вход в магическое пространство происходит спокойно и естественно, а не с треском, визгом и экстазом, как учат нас разнообразные сокровища мировой культуры.

Для магического пространства прежде всего характерно полное отсутствие не только страха, но и самой возможности испытывать страх. Если страшно, то это какое-то не то пространство. Морок. Надо плюнуть каку как можно быстрее.

Зато выход из магического пространства почему-то сопровождается приступом эйфории.

Возникает закономерный вопрос: что это за место такое — текущая реальность, если сюда возвращаешься под кайфом? Наркотический бред с галлюцинациями? Или просто луна-парк,

где надо развлекаться, а кто не развлекается, тот дурак?

Или что?

Вчера на улице Траку здоровенная глыба льда рухнула с крыши на землю в метре от моего носа, не вызвав ни намека на привычные эмоциональные внутренние выкрики — ах! смерть была совсем рядом! ах! мне посчастливилось ее избежать! — и далее двигаться в сторону страха, или эйфории, или в обе сразу, в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Честно говоря, вообще никакой реакции не вызвало у меня падение этой глыбы, кроме понимания, что она уже упала не на меня, а значит, и говорить (думать) не о чем, можно идти дальше. Не выскакивая при этом на проезжую часть, подальше от теоретически опасных крыш. И это не залихватский фатализм, а просто спокойное согласие с миропорядком, для которого я больше не заложник, лежать-бояться, лицом в пол, а — коллега.

Я — тоже миропорядок, и это не мания величия, а начальная стадия понимания того, как все устроено. Не теоретического понимания умом, а практического понимания всем существом, так удачно вплетенным во все сущее, что бояться — нечего. Умом понимать, что существуют опасные ситуации, все еще можно, а влипать в них, трепеща нежным ливером — нет. И это уже более-менее похоже на свободу, как я ее себе представляю; строго говоря, это и есть свобода, только пока не очень стабильная. Но и собственная нестабильность не пугает меня совершенно — тоже мне, подумаешь, проблема.

Вообще, все эти рассуждения — принудительный умственный труд, я пока (учитывая нестабильность системы) заставляю себя помнить, как было раньше, восстанавливать обычную для меня когда-то внутреннюю логику — теоретически, не влипая. Сравнивать. Повторять себе: смотри, было так, а стало этак.

И понимать, почему оно стало.

Собственно, только сегодня вечером мне удалось оценить описанное событие как происшествие. Теперь я смотрю на себя и понимаю, что это нечто совсем иное тут сидит. Совсем не то, что было еще недавно. И быть вот этим чем-то совсем другим мне очень нравится.

То есть мне, кажется, впервые с момента рождения искренне нравится быть человеком на этой земле. Существом, словно бы специально созданным для стремительного прижизненного преображения, которое начинается только по его воле и не заканчивается вообще никогда, потому что преображение это — движение в сторону существа, которое не понимает, что такое «заканчиваться». Вообще не ставит вопрос таким образом.

И правильно делает.

Выбирая, чему и кому верить, человек на самом деле выбирает для себя тот вариант реальности, который ему проще принять.

Штука в том, что всякий поверивший (выбравший поверить) злу, тут же становится частью этого зла. И несет персональную ответственность за умножение зла.

Речь не о том, можно ли простить наивную-жертву-обмана. Речь о том, существует ли для каждой из таких жертв возможность спасения.

Теоретически спасение существует для всех. На практике — это очень трудно.

В художественной литературе душа обычно продается за всякие приятные бонусы. Деньги, власть, младые девы и все в таком роде.

Понимаете, чуваки. Художественная литература обманывает нас. Души покупаются много дешевле. За одно только сомнительное удовольствие сохранить привычную картину мира, сколь бы мрачной и унылой она ни была. Вернее, за неосознанное желание, чтобы твоя унылая картина мира стала правдой для всех. Чтобы никто от нее не отвертелся. А то ишь развели романтику.

Возможность и дальше считать свою унылую правоту единственной правотой — стандартная цена за душу живую обычную бессмертную, одна штука. Такая душа попадает в ад немедленно и умножает его силу и полезную площадь — прямо здесь, на этой земле. Потому что другого ада все-таки нет.

Но и данный нам в ощущениях — не сахар. И сколько не обрушивай на этот ад всю «убийственную мощь подвластного огня», стоит пока целехонек — очень уж крепко держатся за него миллионы кровно заинтересованных лиц.

Выйти из дома

Если сидеть вечером дома, приоткрыв окно, внешний мир кажется довольно неприятным, если не вовсе страшным местом.

Воет ветер, с улицы доносится злобный собачий лай и неестественно громкие человеческие голоса — пьяный скандал? или даже драка? А потом кааак грохнет что-то. И автомобильные сигнализации кааак заверещат. Конец света натурально.

А если выйти из дома, окажется, что давешний грохот — это был фейерверк. А громкие голоса — компания студентов, пьяных, разве что, от холодного осеннего воздуха и хохота, то и дело пытаются разойтись по домам, даже делают по несколько шагов в разные стороны, но никак не могут прекратить разговор и расстаться навек, аж до завтра, потому, собственно и орут — просто от избытка. А «злобный собачий лай» — это щенок-

подросток пристает к взрослой собаке, которая снисходительно отражает его атаки одной лапой и терпеливо ждет, пока хозяйка перестанет любезничать с владельцем щенка и можно будет пойти домой. И ветер, который так страшно выл, влетая в мансардное окно, это просто свежий ветер с реки, захочешь не унесет.

И это, если кто не понял, универсальный ключ и рецепт от всех страхов — приблизиться и внимательно посмотреть.

Г

Глупая маленькая белая кошка знает, что такое любовь.

Любовь — это лежать на неудобных скользких коленях неудобного скользкого, постоянно шевелящегося любимого существа, сползать с них каждые несколько минут, но не выпускать отросшие после стрижки когти, не цепляться, а шмякаться на пол, вздыхать, запрыгивать обратно на скользкие неудобные колени, сворачиваться клубком и снова сползать на пол, но не выпускать когти, не цепляться, падать, вздыхать и возвращаться — и так до бесконечности.

Глупый большой скользкий человек тоже знает, что такое любовь. Любовь — это сидеть в неудобной позе, задрав колени, едва касаясь пола кончиками пальцев ног, стараться поменьше шевелиться, чтобы глупая маленькая белая кошка падала и вздыхала как можно реже, и в этом удивительном мире, сотканном из глупости и любви, было чуть больше тишины и покоя.

Говорить (и думать) как бы о важном, как бы правильными словами из книжек уже выучились многие.

Я помню, в начале девяностых, когда все вдруг принялись массово читать свежеизданного Кастанеду, какую только херню не называли «точкой сборки». И какие только гадюшники, знаковые для какой-нибудь тусовки не именовали «местами силы».

А уж сейчас, когда специализированные журналы сообщают заинтересованной публике, например, о соревнованиях по йоге (чистая правда, своими глазами), не молоть чушь на соответствующую тему становится почти неприлично. И мне как живому существу страшно, а как исследователю дико интересно было бы не на словах обсудить, а перечувствовать все те удивительные состояния, которые разные другие мыслящие монады называют красивым книжным словом «медитация». Мы же все о принципиально разных состояниях говорим при этом,

спорю на сто рублей.

Друг мой недавно сказал, что как только появляется представление о «правильном» (поведении, состоянии, образе мыслей и пр.), оно автоматически подразумевает существование «неправильного», наличие которого нас и убивает.

И меня это в очередной раз окрылило, потому что в очередной раз стало можно вообще все в этом мире, сотканном из пузырьков и лучей света. Какие могут быть правила для текущего света, кроме одного — быть светом. А не быть им никак нельзя, мы все с рождения — свет, кто спящий, кто бодрствующий, но в любом состоянии сияющий и текущий, иначе это был бы не свет, а что-нибудь другое.

Однако как деятельный исследователь происходящего, вундеркинд из спецшколы для трехголовых зайчиков и царь мира сего, я дипломатически протестую против полной невозможности совершить роковую ошибку и умными словами из книжек ее обсудить!

Город-сон

Шутливое предположение, будто князь Гедиминас, увидев во сне волка, так и не проснулся, а перевернулся на другой бок и стал видеть во сне город, могло бы забыться на следующий же день, если бы речь шла о любом другом городе. Но поскольку речь о Вильнюсе, эта версия прижилась и уже почти полностью заместила в моем сознании историческую правду. Иначе и быть не могло.

Здесь (я это регулярно говорю, потому что не просто правда, а одна из немногих базовых, фундаментальных правд) несколько потоков реальности, они почти не смешиваются, и можно (теоретически) войти в любой из них и оставаться там сколько душа пожелает, или (так точнее), сколько хватит внимания, намерения и сил.

Причем, если не входить ни в один из потоков намеренно (кто бы объяснил, как это можно сделать намеренно, и о каких «потоках» вообще речь, — думают сейчас многие читатели, и они по-своему правы), велика вероятность, что рано или поздно вы все равно макнетесь во все. Тем и удивителен Вильнюс, что здесь некоторые непростые процессы порой включаются сами, без усилий воспринимающего, и некоторые удивительные штуки тоже показываются сами, не требуя от нас никаких особых метафизических заслуг. Только сиди и смотри.

Один из потоков, в который, мне кажется, почти невозможно не войти, находясь тут, это город-сон. Я имею в виду, здесь происходит множество событий, которым место скорее в сновидениях, чем наяву. События эти сами по себе

незначительны, но именно они создают ту совершенно особую городскую атмосферу, аналогов которой лично мне видеть не доводилось.

Вот сейчас я сижу на уличной веранде очередного «Кофеина» при торговом центре. Теоретически, нет места скучней и обыденней.

И вот просто в качестве эксперимента отрываюсь от компьютера и смотрю по сторонам. Чего происходит?

И вижу:

— Старик сидит в инвалидной коляске. В каждой руке у него по воздушному шарику — синий и белый.

— Ребенок едет в детском автомобильчике с музыкой, которая, как я понимаю, играет от движения. Окрестности оглашаются пронзительным рождественским «Jingle Bells».

— Мать ребенка бежит следом вприпрыжку, размахивает брендовыми пакетами с покупками и подпевает вслух.

— Человек, завернутый в желтый клеенчатый дождевик, за неимением дождя, прыгает вокруг фонтана. Чтобы брызгало! Зря он, что ли, дурацкую клеенку надевал.

— Вокруг того же фонтана бродит девочка с кукольной коляской. В коляску кое-как упихан слишком большой для нее плюшевый динозавр.

По-моему, эксперимент удался.

И вот примерно так случается всякий раз, когда я выныриваю из внутренних потемок и начинаю смотреть и слушать. Ни минуты без странных, нелепых происшествий, бессмысленных с точки зрения здравого смысла, но идеально укладывающихся в логику сновидения.

Вы можете сказать, что дело в смотрящем и слушающем, т. е., во мне. Теоретически, это правда. Но многие люди, побывавшие в Вильнюсе и гулявшие здесь без меня, подтвердят — такой фон городской жизни тут норма. Как, по словам очевидцев, написано на стене одного израильского кафе, ЗДЕСЬ — ТАК.

Д

Даже удивительно, насколько все сводится к совсем простым базовым вещам, которые начали казаться докучливыми банальностями еще в детстве.

Есть два вопроса:

1. Ты можешь обидеть того, кто слабее? (Важное уточнение: нанести ущерб именно в той сфере, где другой слабее. То есть, не только тупо ударить хлипкого, но и подразнить эмоционально

уязвимого, обобрать бесхитростного, напомнить о более низком социальном статусе и т. п.)

2. Тебе это нравится?

Честный ответ на первый вопрос будет утвердительным у каждого, даже с ангелами порой такое случается, потому что иногда просто трудно рассчитать, кто слабее в конкретной ситуации, а иногда, чего уж там, бывает состояние аффекта, и тогда спасайся кто может.

Важная правда о нас, конечно, в ответе на второй вопрос.

Очень страшный, социально одобряемый (даже более одобряемый, чем водка) наркотик это наслаждение иллюзией собственного превосходства. Один из самых простых способов дешево и невыгодно продать душу. И такой прельстительный.

В бездне, которая уготована его жертвам, нет ничего интересного. И вообще ничего. Вот в чем штука.

Два Вильнюса

На самом деле, конечно, гораздо больше чем два. И даже чем уайлдеровские «девять городов». Вильнюс в этом смысле как торт «Наполеон» Мебиуса, если вы хоть примерно представляете, что я имею в виду.

Но простоты ради можно говорить только о крайностях.

В одной из крайностей живу, например, я. И мне регулярно приходится слышать, что к так называемому «реальному» Вильнюсу мое представление об этом городе не имеет никакого отношения. Потому что у нас же тут «БУУУ!» — а не «тру-ля-ля». И даже так: «БУУУУУУУУУУ!» Чтобы проняло.

Это обычное дело — самую скучную, паскудную, подлую интерпретацию происходящего называть «реальностью», а все остальное объявить романтической фантазией, или просто глупостью. Изредка делают наоборот, то есть, «реальностью» объявляют только то, что нам нравится. Так, конечно, гораздо приятней, но тоже довольно глупо.

Правда же состоит в том, что все — реальность. Точнее, реальность — это все вместе. Сумма бесконечного (или почти) числа слагаемых. Сами же слагаемые вполне равнозначны, каждое из них не вся правда, но ее обязательная часть, вот в чем штука.

Да, так вот. Что касается Вильнюса. Вернее, Вильнюсов. Если брать два крайних варианта, это будут мой город-сон и такая унылая херня, что даже описывать словами ее не хочется, вдруг одно из них к небу прилипнет, и как я тогда стану жить.

При этом у настоящего Вильнюса (который есть сумма всех представлений о нем) очень хороший характер. Он легко и охотно соглашается со всеми мнениями о себе. И соглашается не словом,

а делом: чего от него ожидаешь, то и получишь, чего напредставляешь, в том и будешь жить.

Казалось бы, чего проще — замри на пороге в ожидании десерта и наслаждайся потом всю жизнь.

Поэтому, кстати, так хорошо тут счастливым туристам. Среднестатистический турист, приезжая в незнакомый город, ждет все же скорее праздника, чем фуфла. Хотя бывают такие специальные фуфлоискатели, прям с первой минуты так и рыщут в поисках недостатков и проблем, но это все же скорее патология, чем норма.

В общем, среднестатистический турист получает тут свой праздник по полной программе. Турист же несреднестатистический получает здесь такое, что словами не расскажешь. Ну, то есть, расскажешь — кое-что. Одну тысячную примерно часть.

О местных жителях говорить пока не буду вообще, местные жители — это отдельная большая тема, о каком бы городе ни шла речь.

А с приехавшими надолго жить и работать выходит интересно и очень непросто, потому что легко сказать — имей хорошие ожидания. Когда они, негодники, по большей части, вообще бессознательные — ожидания-то. Настороженная готовность к плохому настолько норма для современного человека (особенно когда он не в отпуске), что ее даже не замечают, не выделяют как некоторое особенное состояние. Норма — она норма и есть.

А в таком пластичном городе как Вильнюс настороженная готовность к плохому — это конец всему. В смысле, полный бейт.

Так вот, приехать и поселиться в моем Вильнюсе, прозрачном городе-сне, очень трудно. Но некоторым все-таки удается. Время от времени я слышу истории о разных странных людях — английском профессоре, канадском лесорубе, немецком враче — которые приехали в Вильнюс, влюбились с первого взгляда и живут теперь тут долго и счастливо, палкой не выгонишь.

(Интересно, вот хоть кому-то хоть чуть-чуть понятно, что я стараюсь выразить словами? Потому что, мне кажется, ужасно невнятно получается. То есть, не читатель потенциально тупой, а тема такая неподъемная. О таком вообще человеческими словами обычно не говорят, ох.)

Мне повезло приехать в Вильнюс в состоянии ожидания чуда. То есть, не просто ожидания, а жажды и даже настойчивого требования чудесного, как необходимого условия выживания, Москва меня к тому времени как раз уже приканчивала.

И в том же состоянии мне повезло вернуться сюда во второй

раз. И в третий. А потом…

Потом было всякое, включая нормальные человеческие неприятности. Одни только хождения в департамент миграции чего стоили. Но к тому времени мне удалось просечь фишку и всякий раз сознательным волевым усилием возвращать себя в состояние почти младенческой невинности, широко распахивать рот и застывать в ожидании метафизической конфетки. И конфетки падали в рот одна за другой — это же Вильнюс. Чего ждешь, то и получишь. Практически незамедлительно. Отличный город для тренировки, если вы заинтересованы воспитать в себе полное и безоговорочное доверие к миру, который — удивительное, непостижимое, невероятное место, точка, и слушать больше ничего не желаю. Осознанно и намеренно не желаю. Знали бы вы, как это трудно мне, человеку с самым критическим в мире умом. Ну или почти самым.

Но я продолжаю тренироваться стоять на всех ветрах с наивно распахнутым ртом в ожидании немыслимых чудес.

И это работает.

Две вещи

1. Нужно всегда доверять шефу[2]. Кричать, когда больно, дрожать, когда страшно, грустить, когда фигня творится — это нормально, никто не запретит. Но при этом — безгранично доверять шефу, чьи замыслы и планы нам обычно неведомы и непонятны, просто потому, что не помещаются в нас. Но это ерунда, что не помещаются, главное — доверять ему по большому счету. И даже плача от боли, дрожа от страха, грустя от фигни, не следует маяться глобальным недоверием. Двойным стандартам тут не место.

2. Двойным стандартам не место еще вот в каком вопросе. Всякому, кто верит (или, тем более, знает о бессмертии) следует не забывать о необходимости (в каком-то смысле даже обязанности — перед собой) рассматривать все происходящее с точки зрения бессмертного существа, у которого впереди вечность. Хоть и не очень понятно пока, в каком виде. Но все равно рассматривать все с точки зрения непостижимого существа, каким станешь миллион лет спустя (и при этом — такой парадокс — никогда не перестаешь быть).

Потрясающая переоценка ценностей случается при такой перспективе.

Ну и, в конце концов, это просто красиво.

Дверь в стене

В центре всюду расклеены самодельные, распечатанные на принтере объявления — пропал человек тридцати двух лет, вышел в пять утра из такого-то клуба, в последний раз его видели

в пять десять на такой-то улице.

Такая-то улица — наша. И, кстати, я могу прикинуть расстояние до указанного клуба — как раз десять минут очень быстрым шагом. То есть, на ногах пропавший держался твердо, если что.

Объявление снабжено двумя фотографиями ужасного качества. Ну как ужасного. Любительские цифровые фото, распечатанные на домашнем принтере, по уши влюбленном в свои красные чернила, бывает и хуже. С фотографий смотрит печальное лицо оборотня, давно забывшего, из кого и на кой черт он превратился в человека. Но смутно понимающего, что было еще что-то — когда-то, давно.

Обычно история о пропавшем человеке — скверная история. Но я говорю себе, что на этот раз она хорошая. Потому что я так хочу. И еще потому что в последний раз пропавшего человека видели на нашей улице.

Штука в том, что на нашей улице есть наш дом, а в доме — наш подъезд. А в нашем подъезде — невидимая дверь на втором этаже. То есть, никакой двери в том месте, конечно, нет, но некоторые люди иногда ее видят. Например сосед-аутист, который топчется перед невидимой дверью часами. Уж он-то точно видит ее всегда. Но его туда не пускают.

Мне удалось увидеть эту дверь всего два раза. В первый раз туда вошли две девушки-художницы. Ну, по крайней мере, одна несла холсты на подрамниках, а другая — очень большую картонную папку для графики, уж не знаю, пустую, или полную.

Мы тогда только-только сюда переехали, и мне еще не было известно, что никакой двери на втором этаже нет. Была сделана отметка в памяти — ага, да у нас тут соседки-художницы, на втором, под тринадцатой (на нашей лестничной клетке на соответствующем месте как раз есть совершенно настоящая дверь квартиры номер тринадцать).

И только на следующий день, когда нам в почтовый ящик бросили чужое письмо, при попытке выяснить, какой номер квартиры у художниц, обнаружилось, что двери в том месте нет. И мне стало понятно, что с нашим подъездом все довольно непросто.

И совершенно непонятно все остальное.

Еще какое-то время спустя выяснилось, что перед дверью на втором этаже (то есть перед белой стеной) часто топчется странный сосед. Постепенно до меня дошло, что он-то, в отличие от нас, дверь видит. Однажды мне пришло в голову, что надо попробовать посмотреть на стену его глазами, а не своими, и тогда дверь снова была явлена мне.

Нет, не зеленая. Темно-коричневая. Обычная такая старая входная дверь.

С тех пор сосед-аутист от меня прячется, вернее, просто резко отворачивается от стены, заслышав мои шаги, и у меня нет его глаз, чтобы увидеть дверь.

Впрочем, мне не то чтобы вот прям печет.

Наш подъезд запирается на замок, но замок довольно часто не защелкивается, особенно зимой. Тогда в подъезд может войти кто угодно.

И вот я смотрю на лицо затосковавшего оборотня с самодельных объявлений о пропавшем человеке. Я прекрасно знаю, что в большинстве случаев такие объявления рассказывают о смерти. Иногда — просто о продолжении загула. Если очень повезет.

Я вообще много чего знаю. Моим здравым смыслом стены можно крушить.

Но кроме всего вышеперечисленного я знаю священный принцип: «как скажешь, так и будет». Поэтому по вечерам я вхожу в свой внутренний храм, такой же невидимый, как эта темно-коричневая дверь на втором этаже, ставлю свечу перед иконой святого Лионеля Уоллеса, покровителя странников, и говорю ему: «Позаботься».

И будет по слову моему.

Даже если не будет.

Девочки

— …стал нудить, что я как-то неправильно квашу капусту, и она пропадет, и никакой пользы. А я ему говорю: «Это тебе всегда нужна польза, а мне нужны только радость и любовь».

…вот считается, будто смысл нашей жизни в детях. И я вдруг поняла, это такая глупость! Дети у меня хорошие, но при чем тут смысл? Вот сын недавно приезжал в гости. Я на него смотрю — красивый взрослый мужик. Совсем отдельный человек. Как он может быть смыслом моей жизни? Мой смысл всегда тут (стучит кулачком под ключицей), и когда его вдруг там нет, никакие дети не помогут, даже если все трое сразу приедут и внуков привезут. А когда есть, тогда уж есть, и пусть все будет как будет. Ничего не боюсь.

Сын спрашивает: «Ты чего смеешься?» А я не знаю, что ответить. Не говорить же ребенку, что в нем нет никакого смысла? Вот я и не сказала.

…позвонил человек, который пятьдесят лет назад был… ну, другом. Можно и так сказать. И вдруг он нашел меня, позвонил. И оказалось, что он все-все помнит. И о чем мы разговаривали, и где стояли, и в каком я платье была, и что ответила. Я такая

глупая тогда была и глупости отвечала, а он эти глупости помнит. Серьезный человек, врач, столько лет все это помнит, так странно. Но важно совсем не это! Важно, что он мне потом СМС написал. В стихах. И я подумала, надо тем же ответить. Просто из вежливости. И стала сочинять стихи. Никогда такого не было, даже в юности, когда все про любовь сочиняют. А тут вдруг начала. И мне так понравилось. Уже несколько месяцев прошло, а я хожу, стихи придумываю. Не записываю, ты что. Нет, ну иногда что-то записываю… Но не покажу! Вот умру, тогда читайте. А сейчас не дам. Не хочу. Но это такое счастье оказалось — писать стихи! Все время об этом думаю. В голове раньше разная ерунда крутилась: то сделать, поехать, спросить, позвонить, узнать — ну, как у всех. А теперь там только стихи. Ничего больше не помещается… Что? А, тот человек потом еще звонил. И писал. Но это совсем неважно. Не в нем же дело.

…с детства мечтала о мотоцикле. Ничего на свете так не хотела, как мотоцикл. Думала: вот куплю мотоцикл, сяду и уеду. Не хочу в институт, не хочу замуж, хочу ехать на мотоцикле вокруг света и никогда не приезжать. Всю школу деньги копила, половину скопила, пошла на права учиться, отец узнал, и такой был скандал! Не дали мне права получить. И в институт, конечно, поступила. И замуж потом, почти сразу. До сих пор жалею. Ни о чем больше не жалею, только о мотоцикле. Может, хоть сейчас купить? Скажут: «бабка дура», — а пусть. Я сяду и поеду. И не приеду никогда.

…стакан с томатным соком опрокинула, и он, красный, густой, течет по столу, капает на пол, на ковер, а я не вытираю, смотрю, оторваться не могу. И вдруг понимаю, что совсем не боюсь смерти. Как будто бы знаю, что там. И как будто бы даже это умею.

* * *

Держат их, держат по полвека в черном теле как бесплатную домашнюю обслугу, на каждом углу бубнят об их неполноценности, с сорока лет начинают публично хоронить, как старых-страшных-никомунинужных, а ничем не перешибить.

Девочки-девочки, вечные храбрые связистки Духа, ненадежные с виду, но прочные веревочные лесенки между землей и небом. Никогда вас не пойму. Как вы это делаете?

Ну вот как? А?

Дедушка, папин отец, по долетевшим до меня обрывочным сведениям, был начальником какого-то из участков железной

дороги Варшава — Тифлис. Бабушка родом из какой-то мелкодворянской семьи, обедневшей чуть ли не раньше, чем зародившейся; семья жила где-то возле города Сумы. Никто из них никогда в жизни не был в Одессе.

После революции дедушка и бабушка, взяв троих детей-погодков (папа 1918 года рождения, второй по счету), стали пробираться на дедушкину родину, в Варшаву. По дороге они попали в Одессу и там умерли от тифа. Все.

Выжил только папа; в детдоме каким-то образом сумели разыскать его родственников по матери, и когда детдом разогнали (случалось в те годы и такое), папа сумел добраться до родни, то есть в Сумскую область. Дальше рос там.

В 1944 году во время освобождения Одессы папа получает там второе за всю войну (и, в отличие от первого, серьезное) ранение, попадает в госпиталь. Соседа по палате, одессита, ходят навещать жена и дочки, завязывается роман с сентиментальной перепиской, после демобилизации папа возвращается в Одессу, женится, остается там жить. И умирает в Одессе пятьдесят с лишним лет спустя.

С точки зрения беспристрастного наблюдателя это выглядит следующим образом: «Выбирай, или ты здесь умрешь, или ты все равно умрешь здесь». Завораживающе красиво. Лучший романист, безусловно, заведует Небесной Канцелярией. Имя Его непроизносимо, творческое наследие неисчерпаемо и по большей части неизъяснимо. Но поддающиеся расшифровке фрагменты прекрасны до немоты.

Декабрьская тьма в больших городах — вовсе не ежегодное зло, а просто ежегодная перестановка визуальных акцентов. То есть, темнота — это благоприятный фон для осколков концентрированного света, а значит, почти благодать.

Это конечно не новость, что нет «хороших» и «плохих» вещей, а только глаза смотрящего, и еще деятельный ум смотрящего, приученный к расклеиванию этикеток из скудного, в несколько наименований всего, набора. Однако перемешать этикетки так, чтобы оценивающая сволочь запуталась, сбилась с толку и растерянно умолкла — всякий раз подвиг, совершаемый, понятно, в одиночку, помощников тут не бывает, и даже карикатурный гуру с бамбуковой палкой мимо не пробежит, в наших широтах они не водятся, холодно им тут.

Джокер

Карту-джокер в текущем культурном контексте традиционно романтизируют, так что даже человек, ни разу не игравший в карты, твердо знает, что джокер крут. Чем угодно может быть, тогда как у прочих карт все на лбу написано, раз и навсегда.

Крут-то он крут, не вопрос. Но не следует забывать, что «чем угодно» — вовсе не обязательно означает «тузом». При определенном раскладе (например, в «Рамми») джокера могут выложить за двойку, тройку, или еще какую-нибудь мелочь.

Поэтому тому, кто зачем-то родился джокером, должно быть неведомо чувство иерархии. И чувство собственной значительности заодно. Более того, у джокера не должно быть собственных представлений о том, что он такое. В противном случае, джокер просто не сможет хорошо делать то, ради чего он есть.

А делать все равно придется.

Строго говоря, свобода существа, заключенного в человеческую форму, начинается с безразличия к собственной роли и собственному положению. Все остальное — потом.

Долгие годы более-менее всеобщего атеизма (как искусственно насаждаемого, так и естественного следствия развития науки и ужасов мировых войн) пошли человечеству на пользу. Ну, то есть, качественным его представителям; остальные, впрочем, вообще не в счет, они нам, можно сказать, мерещатся.

То есть, формальная традиционная вера в формального же традиционного бога если не целиком разрушена, то основательно подорвана; при этом потребность в трансцендентных переживаниях никуда не делась. И утрата мифа ощущается как утрата важнейшего из жизненных ресурсов. И так далее.

И в такой драматической ситуации человек (некоторый человек) начинает оглядываться по сторонам в поисках Бога. Согласен на невыразимого, лишь бы живого.

А тот, кто оглядывается по сторонам с таким намерением, получает весь мир и новые коньки в придачу. И еще кучу бонусов (ликование земли, мерцающие нити паутины мира, лестница в небо и Божественный лик под каждым кустом включены в пакет).

А это уже не просто «молиться». Это уже практически «дружить».

Ничего себе, а.

Друг рассказывал, как ездил в Индию, вернее возил туда группу товарищей, которым позарез надо было в какой-то удивительный монастырь с целью чудесного спасения себя от всего сразу. А друг как раз знал, как туда добраться, поэтому был проводником.

И вот едут они в поезде, с юга на север Индии. А что такое индийские поезда, все наверное знают, если не по собственному опыту, то из рассказов знакомых и незнакомых. В индийских поездах нет ни намека не только на комфорт, но и просто на условия, мало-мальски подходящие для глупого белого человека.

А наши белые люди, напоминаю, едут в монастырь, чтобы спасаться. Богатырским здоровьем, стало быть, не обременены. Пока здоровье на месте, индийский монастырь обычно на хрен не нужен.

Поэтому в поезде белые люди стали поспешно готовиться к встрече с кондратием, который явно ехал в соседнем вагоне и уже подумывал о том, чтобы их всех посетить.

Иными словами, у всех наших белых людей тепловой удар, высокая температура, жидкость из организма не выводится, лица и конечности пухнут на глазах. А проводник ничем, кроме доброго совета помочь не может; проблема в том, что его добрые советы хороши для людей более-менее здоровых и выносливых. А не для тех, которые уже и так спасаться поехали.

Короче. Все они едут в индийском поезде и еще не то чтобы помирают, но уже всерьез рассматривают такую перспективу как вполне возможную.

Поезд, тем временем, фигачит через горы, медленно-медленно, так что местный народ входит и выходит не только на станциях, а везде, где захочет.

И в какой-то момент в поезде появляется теплая компания индийских оборванцев — не то монахов, не то просто бродяг, хрен их разберет. Но скорее монахов, потому что очень уж радостные и благостные, смотреть приятно.

Компания неспешно идет по вагонам, где-то останавливается поболтать, где-то получает приглашение перекусить, где-то делает привал, чтобы гимны попеть. И наконец добирается до вагона, где страдают наши путешественники. Присаживаются рядом в проходе и заводят свои гимны. И поют, и поют, а глупые белые люди слушают, распахнув рты, потому что красиво очень, к тому же экзотика, будет о чем дома рассказать, при условии, что они все-таки туда вернутся.

Когда индийские оборванцы все спели и ушли, выяснилось, что:

— оказывается, они пели несколько часов,

— у всех глупых белых людей уже нормальная температура и никаких отеков,

— больше таких проблем у наших паломников не было, хотя ехали еще долго.

До монастыря все они благополучно добрались, а что было с ними там, я не знаю, но предполагаю, чего-нибудь да было.

Эта история — самая простая и наглядная иллюстрация, объясняющая, что такое на самом деле молитва.

И что такое живая вера.

Живая вера — это когда человек ходит по миру, смотрит по

сторонам — все ли в порядке. И если видит, что не в порядке, говорит своему Богу (на понятном Тому языке): «Ну Ты чего ушами хлопаешь, а? Разберись!»

И Бог прекращает хлопать ушами и разбирается. Что ж не разобраться, раз такое дело.

А о том, к каким обрядам и ритуалам приучены попавшие в беду, никто даже не вспоминает. Вообще вопрос так не стоит. Родился на этой земле — значит наш, точка.

Стало быть, будем спасать.

Дружба — это просто частичное разделение опыта.

Ну, то есть, именно это я и называю дружбой, а что называете этим словом вы, не имеет значения для меня, хоть и любопытно было бы узнать формулировки (из любви к искусству формулировки как таковому).

Дружба, собственно, возникает, когда выясняется (обычно такие вещи всплывают довольно быстро), что какая-то часть опыта уже разделена. С нуля в таком деле не стартуют (хотя наличие не-нуля мало кто осознает, конечно же).

От интенсивности разделенного опыта зависит прочность связи. Именно от интенсивности, а не от «важности»/«неважности», потому что «важность» — это вообще придуманная категория, «важности» не бывает, зато бывают интенсивность и фундаментальность, причем последняя — в самом буквальном значении. Фундамент — это то, на чем стоит постройка.

Есть люди, с которыми мы не виделись уже много лет. Да и когда виделись, это случалось не то чтобы часто. Есть люди, с которыми мы виделись только однажды, или раза два-три, например. Но интенсивность разделенного опыта была столь велика, что я (внутри себя) не могу классифицировать произошедшее иначе как дружбу. И совершенно неважно, как они будут вести себя в дальнейшем, и будет ли вообще какое-нибудь «дальнейшее», это ничего не изменит. Разделенный опыт не перечеркивается.

E

Если бы мне вдруг взбрело в голову дать определение магии, чего в здравом уме никто, конечно же, делать не станет, мне пришлось бы сказать, что магия — это осознанные и успешные попытки взаимодействия человека с миром на понятном обоим языке.

Неосознанные, но успешные, равно как осознанные, но

безуспешные попытки магией не считаются.

Осознанные успешные попытки взаимодействия с реальностью без обретения общего языка с ней тоже не считаются магией. А считаются просто чудом.

Вот что пришлось бы сказать, если бы мне вдруг взбрело в голову давать определение магии.

Но я же в своем уме пока!

Если долго жить так, как будто Бога нет, Его и не будет — лично для вас.

Если долго жить так, будто Бог — злобный орангутанг с дубиной, Он таким и будет — лично для вас, опять же.

Подчеркиваю: не «верить», не «утверждать», не «думать», а жить так, как будто. Персональная концепция Бога создается только делами, поступками и прочей линией жизни. Теоретические суждения не учитываются вообще.

Пресловутая свобода воли, о которой так любят порассуждать на досуге все подряд, дана нам именно в таком виде.

Житейский прагматизм больше не рулит. Вот именно с этого момента он ведет в бездну — вообще без вариантов.

Если сесть на берегу реки и сидеть там достаточно долго, то рано или поздно мимо тебя перестанут наконец проплывать какие-то дурацкие трупы.

Если что-то и следует сделать вот прямо сейчас (а лучше бы позавчера) каждому из нас, так это прекратить сеять вокруг себя страх. Ну, хотя бы уменьшить интенсивность посевов — для начала.

Поясняю на простом примере. Однажды один мой знакомый, случайно узнав, что вечером этого дня я куда-то там лечу, тут же сообщил: «А кстати, вот как раз вчера разбился самолет компании Air France, и все пассажиры погибли!»

Прошло много лет, а я до сих пор думаю, зачем он это сказал? Он не был ни родственником, ни близким другом, который испугался за мою жизнь и не смог скрыть тревогу. Он не выдвинул ни одного конструктивного предложения, даже не поинтересовался, возможно ли отменить поездку и связанный с ней риск. Не предложил отвезти меня в пункт назначения на своем автомобиле. Даже не пообещал побежать в какую-нибудь церковь и помолиться о благополучном исходе. Просто выдал пугающую, нервирующую информацию, и все. Честно говоря, подозреваю, он просто так брякнул. К слову пришлось.

Сейчас, когда этот эпизод описан мною — пристрастно, внятно, с подробными разъяснениями, мало кому этот мой знакомый не покажется распоследним гадом.

Это, конечно, не так.

Он в тот день испортил мне настроение (и отчасти всю последующую поездку). Заставил тревожиться понапрасну. Но сомневаюсь, что это действительно было его целью. Мой знакомый вполне добродушен, и падеж соседских коров вовсе не является единственной отрадой его жизни. Он просто болтал, ощущая себя источником ценной информации — чувство, временно приподнимающее самооценку почти всякого современного условно цивилизованного человека.

И все.

Но штука даже не в этом. А в том, что так ведут себя почти все люди. А может быть не «почти», а вообще все, просто некоторые редко и не в моем присутствии. Бездумно распространяют бесполезную пугающую информацию, ощущая себя всеобщими благодетелями.

Интернет, конечно, способствует стремительному распространению заразы. Что ни расскажи в публичном пространстве, непременно найдется добрая душа, которая сообщит о страшных-ужасных последствиях описанного поступка. Выпил стакан кока-колы — вам посулят мгновенное ожирение, сахарный диабет и скорую смерть. Воды из-под крана — просто скорая смерть, возможно без ожирения (какое облегчение). Вышел из дома в майке без рукавов — солнечное излучение, онкология, гибель богов. Отправил ребенка в булочную без охраны? Педофилия, наркотики, тайное пожирание сластей с последующим ожирением и бурным ростом кутикулы — самое меньшее, что ему грозит. Поехал путешествовать — обворуют, нахамят, поселят в сортире с неграми, отравят в кафе, попутно изнасиловав, обвинят в проституции, заразят проказой, смерть неизбежна. Ездите в автомобиле, на велосипеде, мотоцикле, самокате, роликах? Ооооооооо, попались! Вам любезно сообщат статистику аварий, посоветуют надеть шлем, а лучше скафандр, добавят, что это не поможет, все равно смерть неизбежна, ожирение неизбежно, онкология наш рулевой, лисы и ежи разносят бешенство (даже через фотографии), колонии бактерий поработили ваше сознание, смерть неизбежна, неизбежна, неизбежна — лично для вас, прямо сейчас, или в ближайшее время, точка.

Я почти не преувеличиваю.

Так вот, что я хочу сказать. Страшней микробов и кока-колы, страшней отпуска в Барселоне и бешенства, страшней наркотиков, колбасы и полетов в самолетах без шлема — страх. Он изматывает, отупляет, лишает радости и работоспособности, ведет к деградации, убивает раньше времени. Страх — это чума постинформационной эпохи. И каждый распространитель

запугивающей информации — крыса, разносчик чумы. Как вам такая роль?

Завязывайте, короче. Оставьте ближних и дальних самостоятельно разбираться с опасностями. Предоставьте окружающих их судьбе. И себя желательно тоже. Я понимаю, что трудно, но тут ничего не поделаешь, надо стараться.

Ж

Жесткое неприятие традиции равнозначно слепому следованию ей.

Ясно, что традиции, существующие сейчас в окружающей нас культуре, по большей части совершенно бессмысленны, а то и откровенно вредны; впрочем, встречаются приятные исключения и их больше, чем кажется — взять хотя бы ту же подготовку к рождественским-новогодним праздникам, которая превращает самый темный и безнадежный месяц зимы в непрерывный праздник, расцвеченный огнями (что интересно, сама праздничная ночь при этом особой смысловой нагрузки не несет и может быть проведена вообще как угодно).

Что с этим можно сделать в домашних условиях? На самом деле, сделать можно довольно много.

Всякая традиция должна быть выделена, очищена от личного отношения, основанного на личном же опыте (ну, типа «в Новый год мама и папа всегда ссорились, с тех пор я его ненавижу», или «однажды в день рождения собралась лучшая компания в моей жизни, и с тех пор я каждый год праздную и жду того же самого», или «моя бабушка-православная была очень злая, поэтому любая религия говно», — и так далее; надеюсь, примитивность примеров просто сделает смысл очевидным, а не поможет читателю заключить: «Ну, я-то не такой идиот», — и расслабиться навек).

Да, так вот. Традиция должна быть очищена от личного отношения и внимательно осмотрена со всех сторон. После чего следует спокойно решить, насколько эта традиция удобна и полезна лично мне, вот прямо сейчас (а не десять лет назад и не в будущем). Приняв решение, можно следовать традиции, а можно ее игнорировать — желательно, принимая меры, чтобы игнорирование не стало разрушительным для нашей жизни, хотя это далеко не всегда просто.

Что важно знать (и не забывать) об игнорировании.

1. Оно не равно неприятию. Неприятие тождественно следованию традиции, это настолько просто, что было сказано уже в первом предложении.

2. Оно должно быть искренним. Человек, декларирующий отказ от следования той или иной традиции (празднования праздников, заключения браков и т. п.), но втайне страдающий от того, что его не пригласили на соответствующее торжество, традицию не игнорирует, а насильственно выключен из нее. Не стоит усугублять эту (временную) неприятность самообманом.

Самообман — это вообще состояние сознания, в котором невозможно ничего. Кроме продолжения самообмана.

А это утомительно и не очень увлекательно.

3

Задача человеческой жизни на земле состоит в том, чтобы отменять ад. Всеми доступными средствами.

Тут такая хитрая штука получается, что его (ад) вообще-то уже отменили. Но это действие такой сложности и силы, что оставляет эхо. Которое повторяет, повторяет и повторяет. Ада нет, а эхо — есть. И вопрос только в том, что при этом делаем мы.

Каждый живой человек или отменяет ад в меру своих скромных сил, или участвует в какой-то совсем другой игре. Которая, при всей ее (возможной) привлекательности — не о бессмертии. А о небытии. Не надо поэтому в нее играть.

Потому что мы тут, с виду такие глупые пакеты биомассы, сикось-накось перемотанные цветными веревочками, с детства обученные заблуждаться и, кажется, больше почти ничему — чистый свет, радость, движение и сила. Ну или нас вообще нет. Одно из двух, чуваки.

Одно из двух.

Здесь и сейчас, а значит всегда я слушаю реальность, как музыку, и знали бы вы, как, оказывается, мало фальшивых нот в этой симфонии, гораздо меньше, чем кажется, когда она доносится издалека; подозреваю, что когда находишься в самом эпицентре, фальшивых нот вообще нет, ни одной.

Зимняя проповедь

Можно ходить, задрав голову, глазеть на заснеженные, как с рождественской открытки, деревья, изумляться, что еще совсем тепло, украдкой высунув язык, ловить сладкие снежинки, разгрести сугроб на клумбе и увидеть, как таращатся оттуда на белый (как снег) свет любопытные анютины глазки.

А можно, матерясь, чистить машину, клясть на чем свет стоит жидкое хрючево под ногами, сутулиться под дополнительным килограммом одежды. Или даже двумя. Будь они прокляты.

В супермаркете сегодня бушевал хромой алкаш в солдатском

бушлате, из-под опухшей буро-малиновой рожи проступали тонкие острые черты потомственного интеллектуала, потенциального известного публициста, а то и вовсе популярного блоггера, без пяти минут совести нации, все равно какой. Ну, в данном конкретном случае, кириллической, поскольку буянило существо на языке Пушкина, Демьяна Бедного и прочих родных осин.

Алкаш не просто так буянил, а деятельно критиковал окружающую действительность. «Старая корова, а вся в красном», — орал он, увидев пожилую женщину в красном пуховике. «Мужик, а траву жует! Ты же мужик!» — негодовал, глядя, как элегантный джентльмен кладет в корзинку кочанный салат и лук-порей. «Уроды, штаны зашейте!» «Дура, зачем дите в магазин потащила!» «Козлы молодые, вам курить вредно!» «Жирные бляди, куда конфеты жрать!»

И так далее. Критические замечания перемежались рефреном: «Я инвалид!» — как будто быть инвалидом — это какая-то особая заслуга, результат многолетних усилий, недооцененных пока равнодушным обществом.

Прочие покупатели не обращали внимания на вопли, только брезгливо обходили строгого критика стороной, почитая за благо обойтись сегодня без горячей выпечки, возле лотка с которой как раз выступал несостоявшийся модный блогер-публицист.

Этот несчастный алкаш, — осенило меня уже на выходе — натурально персонификация критического ума, угрызающего изнутри всякое бескрылое двуногое органическое существо, обученное хотя бы азам искусства речи (и, следовательно, думания). В любом человеческом сознании скачет такой вот опухший, вечно хмельной от собственной правоты, гордый собой калека, выкрикивая: «зачем эта жирная дура обтягивающие штаны надела?» «что за жлобская харя из аптеки вышла?» «только недоумки путают «тся»-«ться» на письме!» «какой у этого дядьки подбородок безвольный!» «у собаки морда тупая» «какой бездарный козел левой задней ногой этот плакат малевал?» — и это только самые простые примеры, почти безобидные на фоне всеобщего недовольства всем.

В моем сознании он тоже скачет. Мой критический ум — самый злобный и грязный пьяный инвалид на районе. Вам и не снилось.

Я с детства (правда, не раннего, родили меня все-таки ангелом, предоставив счастливую возможность испортиться самостоятельно и, таким образом, дотошно изучить процесс) могу раскритиковать вообще все что угодно. Начиная от любимого мороженого и заканчивая оттенком невидимого света,

непрерывно изливающегося из космоса на мою неблагодарную макушку. Уж будьте покойны, придумаю, к чему придраться: бледненький он какой-то сегодня, этот ваш космический свет, зеленоватенький, как сопля, тьфу.

Если дать ему волю, мир быстро превратится в безбрежный океан яда. Хочешь — барахтайся, хочешь — пей, хочешь — камнем ко дну. Вот и весь выбор.

Именно поэтому, выходя из дома в синий вечерний декабрьский мир, я поднимаю глаза, смотрю на заснеженные, как с рождественской открытки деревья и говорю: «ах». Неважно, насколько искренне, главное — выработать полезную привычку.

Потом украдкой высовываю кончик языка и в очередной раз убеждаюсь, что декабрьские снежинки сладкие на вкус. Тоже дело.

Потом лезу в клумбу с анютиными глазками — как там они? Я их даже фотографировать не стану, просто бескорыстно посмотрю, как они цветут под снегом. Такие хорошие.

Потом я наконец опускаю очи долу, с нежностью гляжу на грязно-бурое хрючево под ногами. Думаю восхищенно: «Надо же, снег, а как тепло!» И, окончательно воспрянув духом, иду чистить от ослепительно белого снега свою прекрасную машину, самой красивой в мире синей щеткой, приплясывая под музыку, специально припасенную для такого случая. Я же, на самом деле, очень люблю танцевать, но вечно об этом забываю, а тут такой повод.

Критический ум мой уже давно лежит на земле, закрыв голову руками, прикидывается мертвым. На самом деле, он, конечно, готовит ответный удар. Сейчас ему не понравится, как маневрирует встречный автомобиль. И как медленно стартует со светофора придурок на ауди. И какая идиотская шапка у той тетки в троллейбусе. И…

Ничего, пусть старается. Все равно его война давным-давно проиграна. Я знаю ему цену. И я всегда начеку.

Знаменитую фразу Бойса «Каждый человек — художник» обычно употребляют, вырвав из контекста. От этого может возникнуть представление, будто речь шла о потенциальных художественных талантах каждого — типа только краски да скрипку в руки дай, и понесется.

На самом деле, штука в том, что Бойс, будучи не только художником-шаманом, но и политиком-романтиком, обычно говорил о вкладе каждого человека в формирование нового общества.

И при этом (справедливо) полагал искусством все происходящее.

То есть, вообще все.

Итак.

Каждый человек художник, хочет он того или нет, просто по факту существования. Так или иначе, а свою лепту в общую симфонию действительно вносит каждый.

И хотя бы уже поэтому следует стараться, чтобы любой жест был вдохновенным и осмысленным. Вообще всякий, включая утреннюю дойку, поездку на городском транспорте, чистку картошки и смену постельного белья. Потому что быть вялым, унылым, бездарным художником, чья фальшь вечно портит песню — прискорбная судьба, врагу такой не пожелаешь.

Кстати, с этой точки зрения особенно забавно выглядят отношения человека с Богом. Верит ли художник в свою аудиторию, и если да, то как он ее себе представляет? И каких плюшек ждет за труды?

И

Иногда среди ночи, часа в два — три, мы идем, или едем на ту улицу, где жили раньше. И смотрим на свои окна: как мы там? Уже спим, или еще нет?

Иногда человеку совершенно необходимо знать о себе такие вещи.

Сегодня мы спали.

Иногда хочется написать о любви.

Такой взаправдашний текст о любви, в которую верят почти все девочки и некоторые (на вес золота) мальчики. То есть, о вожделении, тщательно переработанном разумом и сердцем, так что на выходе получается набор чувств, от которых в глазах темно, и под ногами вместо земли какая-то незнакомая планета, вязкая и шаткая одновременно. И если умирать, то вот прямо сейчас, пока…

Пока.

Вместо этого я всегда пишу о зеркалах.

О том, как изредка в зеркале появляется лицо, почти не похожее на то, которое я (здесь, сейчас) считаю своим. И смотрит на меня. То есть, мы оба смотрим друг на друга. И у меня в глазах темно, и под ногами вместо земли какая-то незнакомая планета, вязкая и шаткая одновременно. И если умирать, то вот прямо сейчас, пока…

Ну, как-то так. Примерно. На этом вашем человеческом русском языке вообще хрен поговоришь о любви. Не для того он придуман.

Мы смотрим друг на друга и думаем: ну да, не в этой жизни. Ну и хрен с ним. Какие наши годы, успеется еще.

Я иногда улыбаюсь до ушей, а иногда почти реву. А мой зазеркальный не-двойник всегда спокоен. Такое уж у него воспитание.

А потом я иду по своим делам — жить жизнь.

Будь благословен этот мир, в котором есть зеркала.

К

…как будто стою на пороге — по-домашнему, в меховых тапках и теплой пижаме, в зубах ванильный сухарик, или куриная котлета, или что там обычно к чаю подают. Но дверь уже открыта, и я вижу там необозримый, прекрасный, сияющий мир, неведомый и знакомый одновременно, пока без подробностей, общую картину, воздух и свет, и стою, затаив дыхание, но скоро, уже вот-вот вдохну, и тогда пути назад мне не будет.

Вот и хорошо, вот и не надо.

Как же я люблю проезжать ночью через чужие города, совершенно пустые, освещенные разноцветными рекламными огнями, тусклыми уличными фонарями и желтым заоконным светом.

Ночной город — это самая честная реальность, где тьма, свет и ветер властвуют безраздельно, а люди знают свое место, не мельтешат, сидят по домам и делают посильный вклад в дело света и тьмы, включая и выключая лампы.

Путешествовать, на самом деле, надо именно так — автомобилями и автобусами, сквозь сотни километров тьмы, света и ветра.

Как «они» побеждают

Взять хотя бы тот же спам, рассылаемый в виде писем и комментариев. На самом деле, совершенно безвредная, хоть и докучливая херня; как мне всегда казалось, практически бесполезная для рассылающих, потому что рассчитана на совсем уж бедных болванов, зачем-то открывающих всякое письмо, присланное с незнакомого адреса, и покорно кликающих на всякую ссылку. Впрочем, говорят, таких довольно много.

Но я не о том.

Я о том, что спам — небольшая проблема, пока сыпется в наши почтовые ящики и комментарии. Увидеть, оценить, удалить — дело доли секунды, не о чем говорить.

Настоящие проблемы начинаются, когда специально обученные борьбе со спамом почтовые сервисы автоматически

отправляют в спам нужные, даже долгожданные письма, иногда просто в голову не приходит там поискать, и так прерывается связь между корреспондентами, случается, навсегда — если они, предположим, не слишком близко знакомы и не имеют возможности прояснить недоразумение.

Я хочу сказать, спамеры побеждают не в тот момент, когда какой-нибудь наивный пользователь идет на их сайт, а когда слишком много нашего времени и усилий уходит на борьбу с последствиями борьбы со спамом. И всем кажется — это нормально, как же еще может быть. Зато мы защищены от спама. Зато мы защищены!

Или, скажем, (внезапно) террористы. Они побеждают вовсе не в тот момент, когда взрывают группу невинных граждан, это совсем не победа, а так — успех одной локальной операции, и не факт, что такой уж большой успех. Победа терроризма наступает, когда работники служб безопасности в разных аэропортах мира начинают «тщательно досматривать» всех пассажиров подряд, кричать на них, понукать, хамить, придираться к бессмысленным мелочам, а пассажиры молчат, как покорное стадо, твердя: «Это ради нашей же безопасности, надо терпеть». Сейчас столь скверное поведение редкость, но сразу после 11 сентября 2001 года оно было вполне повсеместно, я помню, очень неприятно стало тогда куда-то летать.

И еще террористы побеждают в тот момент, когда из-за забытой кем-то в метро газеты поднимается истерический визг, и поезд останавливается в подземелье между станциями, и сотни человек трясутся от страха вместо того чтобы спокойно ехать по своим делам. Зато мы защищены от террористов. Зато мы защищены!

Или, скажем, когда — от чего вы сейчас особенно громко верещите? — о! педофил! — тащит куда-то ребенка, это, конечно, совершенно чудовищное происшествие, но о какой-то победе и речи нет. А вот когда миллионы взрослых людей во всем мире вдруг понимают, что боятся обнять чужого ребенка (да и своего, пожалуй, лучше не надо, целее все будем), поиграть с ним, схватить на руки, подбросить, поймать, закрутить, в этот момент приходится признать, что зло победило.

В мире стало настолько меньше любви и настолько больше страха, что может и ну его к черту совсем — мир, где сосед дядя Жора не станет катать нас с Наташкой на санках, а соседка тетя Валя с криком убегает при всякой моей попытке залезть в ее кресло и обняться, просто так, от полноты чувств, и еще потому что мы ходили сегодня вместе за ежевикой, и это было здорово (но мы, конечно же, никуда не ходили, с чужим ребенком, в

лесопосадки — вы что?!)

Зато мы защищены от педофилов. Зато мы защищены! Даже, знаете, как-то не смешно.

И, кстати, я уже давным-давно понимаю, что, скажем, во Второй Мировой на самом деле победили нацисты — таким причудливым, непонятным им самим способом. Потому что когда каждый второй условно интеллигентный человек считает своим культурным долгом время от времени сложить ротик куриной гузкой, сказать: «Эти немцы такие неприятные фашисты, все как один», — это и есть настоящий нацизм, именно так и устроена голова нациста, а как же еще. Мир прост, понятен и привычно, успокоительно страшен: все немцы — фашисты, русские — пьяницы и скоты, негры, китайцы, арабы, евреи — ну сами что-нибудь обидное про них придумайте, не маленькие, у меня все равно не получится, потому что мой опыт и здравый смысл подсказывают, что все, в общем, разные, сознание формируют язык, культура и прочий общий контекст, а вовсе не национальность, в этом смысле я совершенно не в тренде, у меня, такая трагедия, есть голова на плечах, в голове хлюпает умный мозг, и знали бы вы, как мне — даже не страшно, скорее грустно ходить среди вас, время от времени мякая, как голодный котенок: «Думайте, думайте, думайте, хотя бы несколько секунд думайте перед тем, как выключить голову и завизжать от страха за компанию с уважаемым человечеством, потому что здесь и сейчас носят так».

Но я все равно, конечно, хожу и мякаю, потому что воинский долг никто не отменял.

Как-то вдруг дошло, что у меня нет имени. Уже давно.

То есть произносимого и написуемого — нет. Есть имя-из-паспорта, имя-со-школьных-времен, имя-часть-работы. Не имена — а так, цветные наклейки, чтобы было примерно понятно, о чем речь.

Очень примерно.

Оттого, что настоящего имени нет, служебные имена множатся. Собираясь с кем-то встречаться, я вспоминаю, как этот человек привык меня называть. Чтобы откликаться сразу, а не после того, как трижды обратится по имени и дернет за рукав. Иногда путаю, но, в общем, справляюсь.

Помню, еще летом пришло в голову, что если делать выставку картинок, или, к примеру, книжку-альбом. Это же придется как-то подписывать. Одним из имен, которые не имеют не малейшего отношения к условному «автору» работ.

Сразу прошло желание что-то делать.

Боже, знал бы кто, как задрало врать — не ради смеха, игры,

или, напротив, спасения. А только потому, что у людей, видите ли, принято как-то называться. Положено, точка.

Какая все же невероятная нелепость эти ваши имена. И вообще почти все.

Когда мы в начале 1995-го года по ходатайству галериста Бернхарда Виттенбринка, умницы и красавца, почти точной копии Дункана Маклауда из телесериала «Горец», получили стипендию Мюнхенского магистрата и поселились на вилле Вальберта в городке Фельдафинге, вспоминая о котором я всегда говорю, что градообразующее предприятие там поля для гольфа (и это чистая правда).

— так вот, в ту пору мы были так ошеломлены обрушившимся на нас сочетанием красоты мира, возможности ежедневно вкусно есть, обаяния Бернхарда и приехавшего к нам договариваться о выставке Михеля, который как бы всегда стоял на борту невидимой подводной лодки, и немеряного, нечеловеческого количества работы, которую в связи со всем этим надо было сделать.

— так вот (я когда-нибудь все-таки закончу это самое длинное в мире предложение), в этом состоянии нам было совершенно не до соседей по вилле. Есть и есть, не мешают, и хорошо.

Одновременно с нами там были переводчица Лиля Лунгина с мужем. Мы, конечно, знали, что это та самая переводчица, которая перевела мало того, что Карлсона, так еще и Бориса Виана, чью «Пену дней» мы рвали друг у друга из рук за какое-то количество лет до этой поездки. Мы, конечно, вежливо здоровались, вместе ездили в какой-то дальний супермаркет (смотритель Франк раз в неделю по субботам возил туда желающих постояльцев на своем старом желтом мерседесе). Но, в общем, нам было не до них, а им не до нас. Что естественно.

У Лунгиных были самые крутые апартаменты — двухэтажные. Внизу кухня-гостиная, наверху спальня. Но именно для них это оказался наихудший вариант, они же старенькие уже были, им по закрученной спиралью лестнице с перилами-канатами целый день бегать было неудобно. И в один прекрасный день нам предложили (не они сами, кто-то из администрации) поменяться с ними комнатами. И мы поменялись. Хорошо, что не в первый же день это произошло, а то бы мы с ума сошли, пожалуй, от счастья. Но к моменту обмена уже как-то адаптировались. И кажется, только напились вечером от ужаса, что все это просто сон, и сейчас окажется, что пора просыпаться.

Но я не о том совсем, конечно.

А о другом.

О том, что недавно мне на глаза попалась книга Лунгиной «Подстрочник». И в самом конце книги нашлась история о том, как и почему Лиля Лунгина с мужем попали на виллу Вальберта.

Они, оказывается, получили стипендию по ходатайству Михаэля Энде, автора «Бесконечной истории», с которым Лиля Лунгина вступила в переписку, потому что очень хотела перевести и издать его книгу в России, а денег на это не было. И сперва она получила ответ от издательства, у которого были права, а потом — хлоп! — и приглашение пожить на вилле под Мюнхеном.

Лиля не так хотела эту стипендию, как познакомиться с Михаэлем Энде. Ей все говорили, что это невозможно, он живет затворником, ни с кем не встречается. Но он ей все-таки позвонил, и они встретились. И чувствовали себя так, словно знакомы всю жизнь. Михаэль обещал вскоре позвонить, но надолго пропал, наконец все-таки позвонил — уже из больницы. Сказал — такие дела, но меня можно навестить. Навестили.

А потом Михаэль опять не звонил очень долго, вернее, уже никогда больше не звонил, потому что умер — вот прямо пока Лиля с мужем сидели на вилле и ждали его звонка.

Я теперь знаю, что старики, с которыми мы поменялись комнатами на вилле Вальберта, вот прямо тогда обрели одного из самых близких друзей в своей жизни, два раза с ним встретились, говорили взахлеб обо всем сразу, а потом получили известие о его смерти и уехали.

Это какая-то поразительная штука, когда тебе вдруг рассказывают, в тени каких событий тебе довелось постоять много лет назад.

И о том, что на самом деле произошло в то время и в том месте, где лично для меня по ряду причин (в основном непроговариваемого и почти недоступного аналитической обработке свойства) закончилось изобразительное искусство и начался текст.

Когда человек говорит, что все уже было, он просто жалуется, что ничего еще толком так и не было.

Когда я вырасту, я хочу быть умеренно богатым бездельником, который ничего никому не должен, включая Небесную Канцелярию и самого себя, для которого единственное «надо» — ежедневный душ, да и то, если неохота, можно пропустить. Который может просто бесцельно и почти безмысленно слоняться по улицам города, а как надоест, уехать в лес, или к морю, или в другой город и там продолжить душеполезное свое занятие.

Все это пошло бы мне впрок. Если кто-то из людей и способен

правильно распорядиться бездельем, тишиной и свободой (которая равна не просто одиночеству, но никомуненужности), то этот, условно говоря, человек — я.

Но вместо этого я сижу по самые уши в кошках, друзьях, цветах и дурацких обязательствах, торгую пеплом своего внутреннего молчания (плоховато торгую, но, положа руку на сердце, кто вообще справился бы со столь причудливым товаром), дурацкий падший ангел в поисках метафизической зеленки для разбитой при падении коленки, изо всех сил держу окружающую реальность, как аэрофобы, вцепившись в подлокотники кресел держат самолет, чтобы не рухнуло вотпрямщас, дальше не загадываем.

Поэтому вотпрямщас над городом светит яркое солнце, по натянутому надо мной белому тенту стучит дождь, вдалеке гремит гром, ветер сдувает со столов не только картонные стаканы, но и металлические пепельницы, рядом хохочут укрывшиеся от дождя немецкие туристки, им, как я понимаю, лет триста пятьдесят на четверых, полет нормальный.

Дальше не загадываем, конечно.

Конечно.

Когда я думаю о литературе (гораздо реже, чем могло бы показаться, чего о ней думать, прыгать надо),

так вот, когда я о ней все-таки думаю, я думаю о книгах, которые читают люди в больницах. Особенно в таких непростых, страшных больницах — ну, вы знаете. И дома в кровати. Неважно, на самом деле, где. Что читают люди, когда сильно болеют, точка.

Понятно, что все разное, понятно, что зависит это чаще от того, кто к чему привык, кто как умеет развлекаться (и отвлекаться).

Но все равно, мне очень важно, что читают люди, когда хотят не умереть.

Если бы был хоть какой-то смысл устраивать литературные пузомерки (нет такого смысла), это — единственный критерий, к которому можно прикладывать портновский метр: как часто читают эту книжку люди в больницах? И сколько тех, кто читал эту книжку, остались в живых? А скольким стало немножко меньше страшно? А скольким стало не страшно совсем?

И ведь не то чтобы я такой уж гуманист. Но меня совершенно завораживает победа над смертью. Когда маленький смехотворный комочек нежных, ненадежных кишок — хоп! — и вдруг побеждает смерть. Понятно, что ненадолго. Понятно, что успех хрен закрепишь. Но выиграть всего один раунд у такого тяжеловеса — это уже немыслимо. Невозможно. Невообразимо.

Ради этого, может быть, вообще все. Ну, или многое.

И вот люди в больницах. Слабые, перепуганные вусмерть, в обстановке этой, как будто специально созданной для дополнительных мучений. Читают. Книжки. Дурацкие и не очень, всякие. И некоторые так зачитываются, что забывают, что надо страдать и бояться. А потом даже как-то упускают возможность умереть в страхе и муках. Понятно, что будут потом другие возможности. Но пока — нет.

Для меня это очень важная задача литературы. Возможно, не единственная, но очень важная — именно для меня, сегодня, сейчас, всегда.

Когда-то мне удалось увидеть пьесу «Враги» Яромира Хладика. И мне, помню, совершенно не с кем было ее обсудить, разве только соответствующий рассказ Борхеса, но при чем тут рассказ.

Я с тех пор живу, зная, что я каким-то чудесным образом и есть тот самый тайный зритель, для которого старался драматург, и Борхес наверняка знал, что кто-нибудь из его читателей не просто прочитает рассказ, а увидит пьесу, иначе зачем вообще все.

И то же самое было с романом, описанным в замаскированном под рецензию рассказе Борхеса «Приближение к Альмутасиму». То есть, я огромные фрагменты до сих пор помню — не рассказа, а именно романа. Не наизусть, конечно, а так, в общих чертах. Много позже некоторые страницы «Арабского кошмара»[3] поразили меня сходством, причем стилистическим, как будто один и тот же переводчик… — и только потом до меня дошло, что откуда бы тут взяться переводчику.

Удивительно все-таки, что до сих пор мне как-то в голову не приходило, что об этом можно поговорить. И, тем более, написать. Надо же.

Я не люблю отвечать на дурацкие вопросы из серии «какую книгу ты возьмешь с собой на необитаемый остров», но на практике получается, что я, конечно, возьму туда Борхеса. То есть, книгу-то брать не стану, просто я и без нее никуда не денусь от текста, который живет во мне так долго и так продуктивно, что вряд ли теперь можно отделить одно от другого, определить, где заканчиваюсь я, и где начинается борхесовский текст, который я живу с восемнадцати, что ли лет, непрерывно перечитывая, переосмысливая, пересматривая, осваивая, практикуя. То есть, физически я его перечитываю очень редко, раза три с тех пор, может быть, не больше. Да и это было не обязательно, я и так состою уже из этого вещества.

Борхес использовал литературу не по назначению, вот в чем

дело.

То есть, не так даже. Борхес помог литературе вспомнить ее подлинное назначение — быть мостом из пространства обыденности в пространство мифа, быть пищей, водой и компасом для тех, кого за каким-то чертом занесло на этот мост, и теперь надо идти, вперед ли, назад ли, неважно, да и кто разберет на этом мосту, что в какой стороне.

Я все время невольно сверяю свою жизнь с текстами Борхеса, и это бывает очень забавно — думать: ага, вот, оказывается, каков Алеф. И вот как действует Заир. И прошлое, смотри-ка, действительно пластично, вот это уже изменилось, и вот это, и вот, и свидетели, бедняги, твердят прямо противоположное тому, что говорили десять лет назад.

Я уже знаю, почему человек, прочитавший тайное имя Бога на шкуре ягуара, не стал ничего менять. И почему для придуманного во сне так важно было шагнуть в огонь, чтобы узнать свою природу. И как появляются (действительно ведь появляются!) хрениры. И как весь мир может стать Тленом, хотя на практике это все-таки слишком медленно происходит, и сдувается на полпути, потому что сила инерции велика, и надо больше стараться.

То есть, для меня все это теперь такая документальная проза. Увлекательное научно-популярное чтиво для самых маленьких на тему «Как устроено ВСЕ».

Поразительно все же, насколько мощное влияние на меня оказало то, что выглядит как просто литература.

Кошка поймала птицу. Замучила, заиграла, искалечила, почти убила, прижала к сердцу мягкой, без когтей лапкой и вылизывает.

Этот мир полон любви.

Коэффициент уместности чьего-либо бытия вычисляется так: объем приносимой субъектом радости делится на объем приносимого субъектом горя (скуки, уныния, принуждения, страха и т. п.).

Мне интуитивно всегда это было ясно. Поэтому даже в худшие (особенно в худшие) времена мне удавалось выглядеть так, чтобы вызывать у прохожих хотя бы тень внутренней улыбки. И говорить так, чтобы смешить (с этим пунктом такая беда, что потом говоришь серьезно об очень серьезных вещах, а собеседники все равно ржут; но лучше уж так, чем наоборот).

В моих руках очень страшное оружие, данное мне от природы — дар убеждения. Особенно дар трагического убеждения. Если я буду страстно и вдохновенно рассказывать, что жизнь прекрасна, поверит примерно треть слушателей — те, кому этого вот прямо

сейчас этого хочется. Если же я начну рассказывать, как все ужасно, мы все скоро сдохнем и попадем в ад, там нас съедят, и станет еще хуже, поверят вообще все. Довольно быстро. Самые жизнерадостные продержатся максимум четверть часа. Причем никто даже уши заткнуть не сможет — такова сила моего обаяния рассказчика. Проверено было не раз на самых отборных экземплярах оптимистов; к счастью, я давно в завязке. Вы не представляете, как вам повезло.

И тем более не представляете, как повезло мне. Потому что, похоже, времена, когда мне приходилось держать себя в руках и строго контролировать течение трагических потоков, миновали. Это больше не искушение, а скука смертная, нелепое, бессмысленное занятие — рассказывать, как все ужасно. Тем более, «все ужасно» — это всего лишь малая часть правды о жизни, озвучивать ее, не упоминая о прочих аспектах, еще и интеллектуально несостоятельно, фу.

Ну то есть, в качестве певца экзистенциального ужаса мне боле не блистать. И захочу — уже не получится.

Какое счастье.

Куда ни попаду, довольно быстро выясняется, что в этой куданипопаде я уже сижу, или как-нибудь очень удачно стою с кофе (порой в картонном стакане, но когда это меня останавливало) и сигаретой.

Вероятно, в Бардо все будет выглядеть примерно так же: Гневные Божества пришлют СМС — типа, щас-щас-щас, мы тут задержались, будем буквально через четверть часа, Милосердные Божества позвонят и спросят: а ты где вообще? А это где?.. А?! Ойййй!

И я стану сидеть в пустоте, и в одной руке у меня будет череп с кофе (из местного автомата, мелочь для которого знающие люди всегда старались брать с собой на тот свет, и даже специально сочинили жадину-Харона, чтобы родичи монетки не экономили), а в другой — дымящаяся сигарета. Какое-то время спустя, так никого и не дождавшись, я докурю, допью кофе и, вероятно, воскресну. И уж тогда — берегитесь!

Л

Люди крайне редко, очень эпизодически осознают, что живы.

И даже понятно, почему. Защитный механизм психики не дает условно нормальному человеку задумываться о смерти. Все как бы знают (теоретически), что смертны, но без глубокого осмысления, на поверхности — ну, пока могут себе позволить. То

есть, пока совсем близко не подойдет.

На первый взгляд, очень милосердный механизм.

Но у этой защиты есть обратная сторона: острое ощущение жизни тоже гасится. Тоже становится поверхностным теоретическим знанием — ну жив я, ачотакова, все живы, хочешь жить, умей вертеться, не полижешь — не укусишь etc.

И вот это, конечно, полный крах божественного замысла на отдельно взятом участке.

М

Маленькая белая кошка может часами сидеть на балконных перилах в том месте, где они заканчиваются. И дальше в более-менее доступном пространстве — только гладкая стена. Ни подоконника, ни соседнего балкона, ни дерева — ничего вообще.

Все-таки маленькая белая кошка настоящий художник: сидит на самом краю доступного, смотрит в недоступное. Все бы так.

Я тоже сижу на краю доступного, смотрю в недоступное, чего увижу — записываю, чего не увижу, не записываю, все просто.

А когда не вижу ничего, продвигаюсь еще на шаг вперед. И опять вижу что-нибудь.

Главное, чтобы маленькая белая кошка не пыталась повторить этот фокус в домашних условиях.

Меж тем, совершенно не имеет значения пресловутое «что хотел сказать автор?»

Насколько внятно у него получилось высказаться — это значение имеет, конечно. Но, честно говоря, невеликое.

По большому счету, важно только одно: изменил ли автор мир. И если да, то в какую сторону. Это единственный из «вопросов литературы», который занимает меня.

(Тут следует заметить, что некоторые небольшие перемены происходят всегда, или почти, и фишка, в общем, не столько в масштабах, сколько в векторе.)

Мне в детстве родители подсунули в воспитательных целях чью-то народную сказку про лентяя, который так всех достал своим бездельем, что жители деревни решили от него избавиться и повезли вешать. А навстречу добрая барыня. Спросила, в чем дело, пожалела лентяя, сказала: «не губите живую душу, у меня полный амбар старых сухарей, везите его туда, пусть лежит там, размачивает сухари в воде и ест». «Это что же получается, — сказал лентяй, — каждый божий день сухари в воде размачивать? Нет уж, везите вешать».

Родители почему-то думали, что эта история пробудит во мне совесть, а вместе с нею желание повседневно ишачить по дому и делать другие неинтересные вещи; они, конечно же, ошибались. Вместо этого сказка помогла мне понять природу явления, которое называют ленью. Лентяи — это люди, словно бы специально созданные, чтобы противостоять рутине, просто они не знают, как. Поэтому вообще ничего не делают, или хотя бы стараются делать поменьше. Или же выучиваются применять силу воли и превращают свою жизнь в бесконечное, зато социально

одобряемое страдание.

Фокус же в том, что если разжечь в себе внутренний огонь страшной силы, рутина (вернее, представление о рутине) исчезает практически сразу, и потом уже можно делать все что угодно. А можно продолжать не делать ничего, и тогда из леса притопает енот и начнет свежевать себя, чтобы ради нашего пропитания возлечь на костер, в точности как в истории про Хогбенов.

И я понимаю этого енота.

Обаяние внутреннего огня совершенно неотразимо.

Действительно.

Многим изучающим какое-либо из искусств (думаю, на самом деле, не только искусство, но предпочитаю говорить лишь о том, что знаю твердо) кажется, что главное — ВЫУЧИТЬ ВСЕ ПРАВИЛА и НИКОГДА НЕ ДЕЛАТЬ ОШИБОК. И тогда все будет «хорошо».

А вот фиг.

Соблюдение правил — просто один из инструментов. Равно как нарушение правил — еще один из инструментов. И знать правила нужно только для того, чтобы применять эти инструменты осмысленно.

А так называемое «хорошо», чем бы оно ни было, получится только если повисеть в ветвях на ветру девять долгих ночей[4]. Да и то без гарантий. Инициация — тоже только один из инструментов, а не приговор районного суда к пожизненной гениальности.

Но это уже совсем другая история.

Мне кажется, что человек приходит в жизнь за опытом.

Понятно, что опыт этот нужен нашей бессмертной части. Единственное имущество, которое можно таскать за собой из существования в существование. (Уточнение: сохранить опыт не означает непременно его запомнить; так большинство людей практически не помнит свое раннее детство, но это совершенно не мешает полученному тогда опыту быть фундаментальным и формирующим — простейший, зато наглядный пример.)

Бессмертная часть человека — это не ум. И, тем более, не «душа» — бестелесный призрачный двойник, как на картинках о загробной жизни. Бессмертная часть человека — это та часть сознания, которая осознает себя в момент остановки ума (выключения внутреннего диалога). Она же действует в сновидениях, особенно полно — в тех, которые мы не помним; собственно, потому и не помним, что не можем себя услышать из-за фоновых шумов обыденности.

По большому счету, важно только одно: сколько секунд,

минут, часов, месяцев, лет нашей жизни мы жили целиком. То есть, с активированной, действующей, осознающей себя и все остальное бессмертной частью. Остальное не имеет значения.

И еще более важный вопрос: сколько секунд, минут, часов, месяцев, лет наша бессмертная часть испытывала радость? Потому что радость — тот самый опыт, который нужен бессмертному существу, чтобы формироваться, крепнуть и расти. Потому что радость — вещество, из которого состоит Бог, такие дела.

Если есть в человеческой жизни по-настоящему важные «достижения», они только из этой области. Сколько секунд, минут, часов, месяцев, лет вы испытывали радость? Сколько секунд, минут, часов, месяцев, лет радости ощутили другие люди при вашем участии (благодаря вам)? Это и будет взвешиваться на тех самых весах, где всех нас гарантированно сочтут непростительно легкими и снова отправят пастись на бескрайние поля бытия. Которые мы — вот прямо сейчас — засеваем.

Или не засеваем. Кто как.

Просто следует помнить, что из всей нашей суматошной, избыточной, далеко не всегда осмысленной деятельности только этот результат действительно ценен.

Мне напомнили о (моем же) высказывании: «чтение — искусство сновидения для ленивых». (Мне, собственно, по-прежнему кажется, что так и есть.)

И тут мне в очередной раз стало понятно, что чтение (как, собственно, и сны) всегда были для меня абсолютно равноценной частью жизни. Не способом коротать досуг, а именно что полноценным бытием.

Такой подход сформировал совершенно специфические требования к литературе. И соответствующий круг чтения (в первую очередь, плотные атмосферные тексты, максимально полноценно воссоздающие реальность, в которой мне по тем или иным причинам комфортно находиться, тексты-медитации, определенным образом воздействующие на сознание и даже отчасти останавливающие ум, и тексты-галлюцинации — те, в которых иная реальность ярка, а плотности нет вовсе; хороший пример — записки Марко Поло).

И, конечно, соответствующее намерение при письме.

С точки зрения читателя моего типа, и цели, и задачи литературы (если уж формулировать их человеческими словами) — прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно. И просто больно чтобы тоже не было, потому что боль — иллюзия. Настолько, впрочем, достоверная, что с возрастом начинает казаться, будто боль и есть правда о жизни, более того,

что боль — и есть сама жизнь.

А это вранье.

Многие, я знаю, ищут в литературе именно что боли, полагая ее — кто так называемой «правдой», кто просто целительным лекарством для души. Но в этой палате я совершенно точно не доктор и даже не пациент. В нашем буйном отделении своих забот полно.

Собственно, новость тут только одна: опыт показывает, что читателей моего типа (не разделяющих чтение и деятельную жизнь) совсем мало. И это объясняет мне почти все про вектор развития литературы. И даже отчасти примиряет с ним. Но с толку конечно не собьет.

Молитва о ключах от служебного туалета

Давным-давно, еще при советской власти, когда водка стоила три-шестьдесят-две, добрый мертвый дедушка-Ленин приходил из царства Хель, чтобы спеть колыбельную каждому непослушному октябренку, любая женщина-космонавт имела гордое право стать шпалоукладчицей (сразу после того, как помоет пол и сварит студень), а дикие жители Среднерусской Возвышенности тайно поклонялись изображениям тарабарских идолов в темно-синих штанах — так вот, в те времена одна моя близкая родственница загремела в дурдом.

В смысле, в самый настоящий. На правах психбольной. Не знаю, как принято сейчас, а в те прекрасные стародавние времена в дурдом запирали за клиническую депрессию — всех, кому не хватало образования и житейского опыта так аккуратно сформулировать свои жалобы, чтобы добрый доктор и колеса прописал, и в ад при жизни не отправил. Где в одной палате с дюжиной психов, половина которых ходит под себя, в обществе хорошо воспитанных санитаров, приученных вязать пациента в ответ на любую реплику типа: «Не правда ли сегодня хорошая погода», — клиническую депрессию как рукой снимет.

Ну, то есть, предполагалось, что так.

Короче. Попала эта моя родственница в дурдом. Ей там, конечно, понравилось. Но не очень. Настолько не очень, что когда речь зашла о повторном заключении, ей хватило здравого смысла наложить на себя руки. Так что все для нее закончилось хорошо — насколько это вообще было возможно в сложившихся обстоятельствах.

Но прежде чем наложить на себя руки, благодарная узница советской психиатрии, без пяти минут спасенная от клинической депрессии, успела поделиться впечатлениями с теми немногими, кто соглашался ее слушать. Ну, потому что вообще-то человека, только вышедшего из дурдома, никто особо не слушает. Что тоже

наверное способствует скорейшему исцелению. Хотя бы теоретически.

И вот одна из ее историй.

В дурдомовском туалете нельзя было закрываться. То есть, все кабинки без дверей, а в зрительном зале присутствует санитарка и внимательно наблюдает за процессом. Моя родственница, не привыкшая к сценической славе, сперва страдала запорами и уговаривала, чтобы ей разрешили посещать другой туалет, с дверью. Ей неизменно отвечали, что это невозможно: кто вас знает, мало ли, что вы там за закрытыми дверями будете вытворять.

Пришлось привыкать к публичным дефекациям.

Но ужас, по словам моей родственницы, состоял даже не в этом. А в том, что, вернувшись домой через месяц, она стала бояться запираться в туалете. С формулировкой: «Кто меня знает, мало ли, что я за закрытыми дверями натворю».

Мне кажется, что с большей частью современного человечества ровно та же беда. Поэтому любое новое ограничение свобод воспринимается с тайным облегчением. Запретите нам законодательно жрать кактусы, ругаться матом, курить перед расстрелом, печь яйца в микроволновке, петь ноту «ля», трахаться в позе «дилижанс», носить розовые носки, фотографировать брюнеток в шортах, онанировать по пятницам, смотреть левым глазом на перепелов, пересекать границу своего микрорайона, носить неглаженные трусы, запретите нам всего, да побольше и следите за нами построже, а то кто нас знает, что мы начнем вытворять.

Доктор, если уж мы с вами решили меня пока отсюда не выписывать, дайте хотя бы ключи от служебного тубза. А то чего.

Мы уже много лет подкармливаем птиц зимой, эта привычка сложилась еще с очень бедных времен, когда в душе ощущаешь себя натурально конунгом, рожденным на свет, чтобы ломать и раздавать на удачу серебряные обручья всем, до кого можно дотянуться, а дать при этом нечего — никому, только хлебные крошки можно смести на ладонь и отправить не в рот, а на подоконник, для птиц, смиренная жертва вечно голодного бедняка, покупающим часы и сумки стоимостью в половину человеческой жизни этого не понять, наша радиостанция передает им привет и ставит песню. На выбор.

Да, так вот, привычка подкармливать зимой птиц осталась с незапамятных времен, и у нас всегда кормушки на подоконниках и балконах, где живем, там и кормушки, а в кормушках уже давно не сиротские хлебные крошки, а специально купленное зерно и сало на веревочках для синиц.

Зачем я, собственно, все это рассказываю. Штука в том, что только этой зимой до меня наконец дошло, что пакеты со странными тяжелыми темными шарами, лежащие во всех супермаркетах в отделах «все для сада-огорода» — это специальный зимний корм для птиц. Помещенные в сетку пропитанные жиром мячики из неведомо (мне) чего, обильно насыщенного зерном и шелухой. К шарикам приделаны специальные веревочки, остается только найти, куда их подвесить, никаких хлопот.

Уяснив тайный смысл темных шаров, я теперь невольно обращаю на них внимание. И оказалось, что у нас в Вильнюсе это чуть ли самый ходовой товар. То есть зимой пакет с шариками был чуть ли не в каждой второй корзине.

Очень трогательно было наблюдать очереди у кассы — практически у всех в корзинках пакеты еды для птиц. И висят шарики в сетках всюду — на окнах, в садах, на балконах и просто на карнизах. И птицы всю зиму их клюют. И остаются живы. То есть гораздо более живы, чем могли бы.

А нам того и надо.

И мне, знаете, так нравится постепенно складывающаяся картина мира. Нравится, что наевшееся за мирные годы европейское человечество, устало сыто булькать собственным пищевым трактом и начало понемногу отрываться от семейных телевизоров и оглядываться по сторонам — кого бы еще накормить?

Альтруизм — это просто нормальное состояние психики современного сытого цивилизованного горожанина. А его отсутствие давно уже пора расценивать как душевную болезнь. Которая вряд ли лечится мором, гладом и чумой, сколько раз уже пробовали. Возможно повсеместная мода на кормление птиц станет более действенным лекарством.

Не мир, не меч, я просто дам вам откусить от своего бутерброда.

Два раза.

Мы пили чай из стеклянного чайника, и друг мой удивлялся, что чайник, такой тонкий и прозрачный, прекрасно выдерживает резкие перепады температуры — вымыл ледяной водой из-под крана, плеснул туда кипяток, и ничего.

— Ну, по идее, — говорю, — так и должно быть, в инструкции написано, что чайник огнеупорный.

— Мало ли, что там написано.

— Да, — соглашаюсь, — тоже всегда удивляюсь, когда выясняется, что в инструкции написана правда.

— Оп-па! — хором сказали мы на этом месте, потому что

осознали, до какой степени, оказывается, не доверяем реальности.

Мало ли, что в инструкции написано, действительно. Написать все, что угодно можно.

Вот конкретно это тотальное недоверие к реальности, наверное, самое трудноистребимое следствие опыта проживания в условиях СССР. Если уж даже мы у себя в самом фундаменте его обнаружили.

Это же совершенно уникальная культура — такое невообразимое количество вранья, про которое было вполне общеизвестно. что оно вранье. Начиная с гастрономических отделов под названием «Сыр», где никогда не было сыра, зато продавались какие-то нелепые консервы. И так — вообще все.

То есть человеку аналитически мыслящему очень легко было по малолетству прийти к выводу, что вообще все написанное и сказанное вслух — вранье. Которое надо заучивать наизусть, чтобы избежать неприятностей, но совершенно бессмысленно учитывать при попытках разобраться с мироустройством. Боюсь, даже к учебникам физики отношение у меня было примерно такое же, как ко всему остальному — мало ли, что в них понаписали, это же школьные учебники, а школа — место, где учат правильно врать. И почти невозможно было поверить, что на английском языке, которому нас учили в школе, говорят настоящие живые люди где-то в других странах. (Правильно, кстати, не верилось, на таком английском, который про семейство Стоговых, действительно никто не разговаривает.)

В итоге у меня выработалась предельная (запредельная даже) степень недоверия к реальности. Мало ли, что сказано. Мало ли, что написано. Мало ли, что мои глаза видят. Мало ли, что руки нащупывают. Ничто ничего не значит — вообще! До сих пор трудно бывает поверить, что самолет, поезд, автобус, уедут по расписанию, и что мой билет действительно окажется годным, и что меня в итоге привезут, куда обещали. Всегда кажется — вот повезло! И так — во всем.

Понятно, что я не обдумываю все это с утра до вечера. Строго говоря, вообще почти никогда об этом не думаю, тотальное недоверие просто покоится в моем фундаменте, как радиоактивный отход. Лежит себе и потихоньку портит жизнь.

Самое смешное, что теперь, задним числом, я вижу, что постоянно пишу как раз о состоянии доверия к реальности, как о наиболее эффективном методе ее освоения. Вечно так — только сформулировав что-то совершенно для себя удивительное и неожиданное, можно понять, что уже давным-давно это знаешь и много чего на эту тему делаешь. Жаргонное «догнать» тут гораздо

уместнее, чем его синоним «понять». Потому что вот это и называется — автор догнал собственный текст. Наконец-то.

Н

На старый почтовый адрес регулярно приходит астрологический спам, автор которого по какой-то неведомой причине называет меня «Людмила». Видать, звезды у него так враскоряку стоят.

Письма эти я удаляю, не читая, но самую первую строчку не захочешь, а прочитаешь:

— Людмила, ваша звезда сегодня

— Людмила, счастье возможно

— Людмила, вас ждет

— Людмила, Марс вступает

И вот сегодня: Людмила, какие проблемы

Звезды к неведомой Людмиле ласковы, даже досадно порой, что адресованные ей письма приходят (зачем-то) мне. Живет как дура и ничего не знает, про Марс.

Людмилой звали мою маму, которая умерла так давно, что наверняка успела переродиться во что-нибудь симпатичное неизвестного мне пола, подрасти, повзрослеть и теперь лайкает небось на фейсбуке сообщения своих приятелей: тыц кнопочку, тыц-тыц-тыц. От души ей этого желаю, в прошлой жизни ей было несладко; впрочем, а кому было сладко — в прошлой-то.

Людмила, счастье возможно. Истинно тебе говорю.

Возле дома, где прошла самая качественная часть моего детства, были развалины старой гауптвахты. Мы, дети прапорщиков и старшин, прекрасно знали, что такое «гауптвахта», но свои развалины все равно романтизировали. Говорили друг другу, что там сидели фашисты, и свято в это верили, очень уж хотелось. Фашисты в ту пору казались нам существами мистическими: их же победили, а значит, убили всех, следовательно, они — привидения. Элементарно, Ватсон. Достаточно посмотреть на обшлаг вашего левого рукава.

В детстве мы везде искали призраков, мечтали увидеть хоть одного. Интересно, что мы собирались делать в случае удачи? Понятия не имею. Вроде бы, ничего. Увидеть привидение и умереть, как будто оно — Лондон. Хотя тогда мы, конечно, не знали эту цитату. Да и про Лондон не знали ничего — просто точка на карте, одна из многих, нам еще только предстояло начать учить английский язык, много лет спустя, тогда иностранные языки начинали учить в пятом, кажется, классе —

везде, кроме спецшкол, которые нам, детям прапорщиков и старшин, не светили ни при каких обстоятельствах. Нам светили неопытные училки, университетские двоечницы, пристроенные в школы по блату: «Лысыз зы пхен, дети. Хуйз он дьюты тудэй?»

Тьфу.

Я, получается, несостоявшийся охотник за привидениями. Вся жизнь, можно сказать, прахом. Гады все-таки эти фашисты. Мы так в них верили.

Теперь надо бы как-то красиво вырулить обратно, в сегодняшний день, написать еще один абзац, чтобы в финале его можно было вставить фразу «Людмила, какие проблемы» и таким образом закольцевать текст, но в гробу мы видели законы композиции.

И возможно, нынче ночью нам явится их (законов композиции) призрак. Исполнив, таким образом, невинную детскую мечту.

На улице Дайнавос на временном строительном заборе размашистым почерком написано: «Я люблю жизнь». И в небе над городом, кажется, написано то же самое — невидимыми химическими чернилами, но я знаю, как их проявлять.

В те редкие дни, когда температура поднимается до (почти) тридцати цельсиевых отметин, вдруг (всякий раз это заново «вдруг») становится очевидно, что Вильнюс — самый настоящий южный город. С раскаленными булыжниками старых мостовых, пыльными мальвами в палисадниках, зелеными жалюзи на окнах, простынями и сарафанами, сохнущими на балконах домов, обшарпанных тоже по-южному, не от угрюмой скудости быта, а от счастливой жизнеобразующей расслабленности — зачем что-то менять, когда и так все хорошо. С морем где-то неподалеку, практически за углом, колотым льдом в стаканах, расслабленными загорелыми горожанами, привыкшими покидать дома незадолго до заката и часами протирать ветхие шорты по летним кафе, а работа — помилуйте, какая работа?! — ай, завтра, потом, когда-нибудь.

Я уже почти верю в это знойное, долгое (третий, что ли, день кряду) южное северное лето. Даже сейчас, в два часа пополуночи, когда в темно-синем, густом как вода, ароматном воздухе звенят ледяные струны грядущего октября, который, я заранее знаю, будет так хорош, что остановится сердце, оно всегда останавливается в октябре, потому что по ту сторону октября вполне можно жить без всякого сердца, без него даже лучше, я помню, я всегда одной ногой там.

На улице Пилес во всех витринах и просто окнах первых этажей фотографии людей — цветные, черно-белые, сепия,

взрослые и дети, ослепительно красивые студентки, толстые младенцы, веселые беззубые старики, трагические и комические старухи, все-все-все. И подписи — имя плюс еще какое-нибудь слово, обозначающее род занятий. Милда, студентка; Алена, редактор; Дарюс, школьник, и так далее, и так далее.

Очень хороший, просто отличный проект, первая помощь начинающему бодхисатве, любить этих людей на картинках легче легкого, избавить их от страданий — как синиц покормить, простое, веселое, хоть и хлопотное дело, особенно сегодня, в сочельник, когда оттепель и белый свет, и теплый пахучий ветер с юга, и все мы никогда не умрем, только притворимся на минуточку, а потом кааак подскочим и дальше побежим.

Над холмом парил воздушный змей, красная птица. Я очень люблю смотреть на воздушных змеев, но мне никогда даже в голову не приходило хоть раз запустить свой.

А на холме обнимались влюбленные. Мне нравится смотреть, как обнимаются влюбленные. Даже больше, чем обниматься.

Потому что мой воздушный змей — это был бы всего лишь один воздушный змей. А обниматься — это было бы просто обниматься. Всего с одним человеком, один раз (за один раз).

И еще тут же постоянно работают причинно-следственные связи, а это означает, что со змеем много хлопот (и с кем обнимаешься, с ним, кстати, тоже много хлопот — и до, и после). И все это, конечно, очень мило, но слишком мало и слишком громоздко, целое дело, процесс.

Иное дело — идти мимо и видеть. Воспринимать.

Тогда все — мое. Все воздушные змеи и все объятия. И даже так: я — все парящие змеи, я — все, запустившие змеев, я — все влюбленные, я — все родители, которые ждут их дома, я — все прохожие, косящиеся на влюбленных, кто одобрительно, а кто не очень, я — все и все. Я — весь остальной мир — сколько ухвачу. Без хлопот, без процессов, без причинно-следственных связей. То есть, ничего руками делать не надо, вообще. Какое счастье.

Мне почти ничего не нужно, на самом деле. Только бы воспринимать. И уж тут жадность моя беспредельна. Восприятие — та самая конфетка, которую, при случае, и у сироты отниму. Ну, если вдруг голодный год. Мало ли.

Я не то чтобы вот прям все сущее. Но та его часть, которую удастся ухватить — совершенно точно я.

И побольше бы, побольше.

Надо, оказывается, натянуть себя как лук. И стоять внутри себя — выпрямившись, прицелившись. И стрелять (собой, из себя — стрелять). И сразу брать новую стрелу. Сразу, сразу, я говорю. А не полежав на внутреннем диване под диким, неразумным

предлогом: «отдохнуть».

Потому что натягивать себя как лук, целиться и стрелять — это и есть отдых.

Нам всем рано или поздно предстоит тут умирать. И все что у нас будет в момент смерти — это опыт. Вся совокупность всего, что с нами успело случиться, всего, с чем успели случиться мы, все варианты этого самого «мы», все версии нашего «я», все состояния сознания. Чем богаче опыт, тем лучше мы экипированы для этого путешествия, а все остальное не в счет.

И опыт художника, то есть опыт вдохновенного созидательного акта — одно из самых бесценных сокровищ, которые можно взять с собой, умирая. Потому что в этот момент человек, как бы слаб он ни был, действовал по образу и подобию того самого непознаваемого, на встречу с которым рано или поздно пойдет.

Поэтому обучая вдохновенному бесстрашному созидательному действию, давая повод и возможность пережить этот опыт, одновременно свидетельствуя и подтверждая: «это действительно было, у тебя все получилось», — нас обучают бессмертию. И только ему.

Научиться разгонять облака не очень трудно. Гораздо труднее научиться оставить облака в покое, пусть делают, что хотят. «Пусть делает что хочет» — это и есть формула любви, ее основа; выращенное на другой основе, любовью только притворяется.

Если по-настоящему любить жизнь (то есть, позволить жизни быть такой, какова она есть), переделывать погоду просто не придется. Это, на самом деле, очень важно — не переделывать погоду. Потому что изменять погоду по-настоящему почти никто не умеет, зато бессознательно тратить силы на бессознательные же попытки ее переделать — это умеют все. Вернее, не умеют это прекратить. Да и как, скажите на милость, научиться прекращать то, чего не осознаешь?

Человек — сосуд, наполненный любовью и страхом. Чем больше одного вещества, тем меньше другого. Все остальные чувства — производные от этих двух.

Засада в том, что чувство, которое традиционно называют словом «любовь» — это просто замаскированная разновидность страха (страха упустить свое, страха недополучить и самого страшного страха потерять то, что как бы уже есть).

С любовью к жизни ровно та же фигня. Ровно та же.

Осознанность — единственный инструмент, с помощью которого можно выбраться из этого кошмара. Не нужно бороться с собой, тем более, не нужно бороться с другими (любая борьба —

порождение все того же страха), достаточно просто осознавать — хотя бы одно действие и одно душевное движение из сотни. Для начала.

Не имеет значения, как ты себя ведешь, что говоришь и что делаешь, если все это происходит осознанно. Осознанные действия не бывают «плохими», они — и есть жизнь.

Осознанность — единственный ключ к свободе и одновременно сама свобода в том виде, в каком она доступна человеку на этой земле. Взять ее почти невозможно. Не взять ее — величайшая растрата, какую только можно вообразить.

Некоторые кошки не то чтобы серы

Такая удивительная штука выясняется зимой — то есть, в тот период, когда световой день очень короток.

Ночь — это правда о нас (о нашем восприятии).

Ночью мы все выходим из темноты навстречу друг другу — неизвестные незнакомцы без прошлого и будущего; на месте прошлого и будущего у каждого из нас — тьма, которую можно заполнить по собственному усмотрению, а можно не заполнять вовсе.

И это — правда.

Ночью мы видим только те предметы, на которые падает свет, и это очень точная иллюстрация работы восприятия (в рамках этой иллюстрации свет символизирует внимание).

Ночью улицы, по которым мы ходим днем, выглядят настолько иначе, что это уже совсем другие улицы. И как мы находим знакомую дорогу — это отдельный, очень интересный вопрос.

Обычно, конечно, не задумываясь, на автопилоте (как делается почти все). Но задумываться — это самое интересное, задумавшись, обнаруживаешь у себя в голове две карты города, дневную и ночную (и они далеко не всегда совпадают), или выясняешь, что ходишь, ориентируясь на приметы, которые кажутся неизменными (магазин на углу, гостиница на противоположной стороне улицы, желтые окна аптеки, сияющий купол в просвете между домами, синяя дверь соседней парадной). Или работает своего рода внутренний компас, указывающий направление (обладатели подобных компасов лучше прочих ориентируются на незнакомой местности).

Или еще каким-то способом, отличным от дневного. Или даже не отличным — некоторые люди искренне не видят разницы между дневным и ночным маршрутами, и это тоже удивительная правда об особенностях восприятия, которую каждому лучше знать о себе, чем не знать.

А днем, при ярком свете, мы, конечно, находимся во власти

иллюзий. Кажется, будто мы все видим, знаем и понимаем. Будто все вокруг — действительно такое, каким мстится. И мы, прекрасные, стоим в центре раз и навсегда познанного, приручённого мира со своей алмазной перцепцией наперевес.

Ужасно смешно.

Несколько раз в году (чаще, чем хотелось бы признаваться) я иду к своему дилеру и говорю: «Чувак, у меня опять привыкание к жизни. Надо увеличить дозу».

Он ухмыляется, берет самый большой шприц и со всей дури ширяет реальность по вене — погодой.

И я говорю ему: «Спасибо, Господи», — а он смеется: «Тебе все-таки очень мало надо. Легко мне с тобой».

Ну то есть. Когда я спускаюсь, например, по холму, из верхнего золотого мира в нижний синий, уже подсвеченный оранжевыми фонарями, я сперва думаю, что дома есть кофе, молоко, яблоки, овсянка из «Маркса и Спенсера» и остатки домашней пиццы, и курица для кошек, короче, всего полно, можно не заходить в магазин. А потом я думаю, что надо бы наконец привести в порядок папки со старыми фото и дописать рассказ (честно говоря, целых три — дописать). И что круто было бы как Филип Дик, закинуться амфетаминами и писать на скорости хоть немного приближенной к внутренней, и это каким же надо быть мастером, чтобы в таких условиях писать нечто хотя бы отчасти связное и осмысленное, так что может быть даже к лучшему, что амфетаминов в ближайшей аптеке мне не дадут.

С другой стороны, думаю я, можно же выработать свои в организме — прямо сейчас.

В этот момент мне еще кажется, что я шучу.

«Тыдыц!» — говорит сердце с такой готовностью, словно все эти годы только и ждало команды, и начинает колотиться в ритме, скажем так, отчасти приближенном к моим представлениям о должном, миллион ударов в секунду, продолжительность которой столь исчезающе мала, что можно сказать, никакой секунды нет вовсе, поэтому получаем миллион сердечных ударов в одно никогда, и это уже хоть немного похоже на правду.

И тогда я думаю, что огонь в этом мире всегда приходит снизу и сверху одновременно, а не с какой-то одной стороны, и веселое рыжее пламя лижет мне пятки, а синее, способное испепелить все, чего нет, пляшет на голове, и это тоже похоже на правду.

Жизнь налаживается, думаю я, а потом ничего больше не думаю — если кто пробовал думать со скоростью миллион мыслей в секунду, которая равна одному «никогда», тот поймет,

почему.

А потом я все-таки каким-то образом прихожу домой, и начинается гроза.

Ни просьба о помощи, ни согласие принять предложенную помощь никогда не являются согласием терпеть унижения.

Говорить «нет» в ответ на любую просьбу, которую вы не можете или не хотите выполнять — нормально. Никто не должен расплачиваться за ваше неумение говорить «нет».

Не предлагать помощь, не располагая необходимым для этого ресурсом — нормально. Никто не должен расплачиваться за ваше необдуманное предложение помочь, за которым не стоит ничего кроме так называемого «хорошего воспитания» и так называемого «доброго сердца».

Но если уж вы сказали «да» в ответ на просьбу, или сами предложили помощь и получили согласие ее принять, обращайтесь с человеком, которому помогаете, на равных.

На равных, и только так. А не то проснетесь однажды в пасти Люцифера, который скучным голосом скажет: «О, еще один предавший доверившихся. Расплодилось же вас! Что станется с моей талией?»

Потому что унизить того, кому помогаете, означает предать его доверие.

Мне приходилось видеть довольно много страшных вещей, которые происходят с людьми. Но весь этот опыт пошел мне на пользу. И только одно пошло мне во вред: вынужденная необходимость наблюдать, как на твоих глазах нормальный хороший человек, только что бывший более-менее близким, превращается в чудовище, готовое растоптать тебя за собственный страх, собственную слабость, собственное неумение сказать «нет», собственное «хорошее воспитание».

Потом пройдет время, и на месте звериной хари снова отрастет человеческое лицо, но веры ему уже нет. И не будет никогда. Это обрекает на одиночество. Не потому даже, что не хочется еще раз оказаться в позиции, которая традиционно считается слабой, а вот просто чтобы больше никогда не видеть таких превращений. Они оставляют в моем сердце прорехи недоверия и ненависти.

А оставаться в одиночестве такого рода нельзя. Нельзя замыкаться в себе, нельзя всегда обходиться собственным ресурсом, нельзя не предлагать свой избыток другим. Потому что человек создан для коммуникации с себе подобными, а давать и принимать помощь — одна из важнейших коммуникаций. При выполнении этого упражнения расширяются наши границы, крепнет дух и постигаются чудеса человеческой арифметики,

согласно которой 1 + 1 может быть равно чему угодно. Да хоть миллиону.

Это если без свинства.

О

Об устремлении к недостижимому

В чистом, не замутненном умственными спекуляциями виде это выглядит как деятельная готовность идти по конкретному пути к абстрактному (то есть, не только недостижимому, но и невообразимому) пункту назначения.

Как только пункт назначения обретает конкретные черты, путь искривляется и замусоривается, но это уже совсем другая история.

При этом наличие конкретных промежуточных целей — совершенно нормальное, обычное дело, при условии, что мы осознаем промежуточность (а также необязательность и взаимозаменяемость) этих целей.

Об этом невозможно, да и не нужно писать; об этом совершенно необходимо написать — например, сегодня в половине пятого утра, после долгого дня, который начался относительно рано, и спать теперь хочется так, что со стула уже не встать. Ай, ладно, подумаешь, великое дело — стул.

Давным-давно в Гокарне пестрая толпа пронесла меня мимо какого-то местного святого, или не святого, кто его теперь разберет, но благословления дед раздавал налево и направо, всем, кто под руку подвернется. Местным жителям в праздничных одеждах, туристам в шортах, зимующим дауншифтерам в цветных балахонах из окрестных лавок. А мне вдруг отчетливо и негромко сказал: «Тебе надо не получать благословления, а раздавать их».

(На каком языке он это сказал — отдельный вопрос. Тогда было проще решить, что на английском, а теперь я думаю, что на никаком. То есть, на том языке, ради которого строили Вавилонскую башню, наяву, как известно, не достроили, но мало кто знает, что работа была закончена во сне, и с тех пор мы все говорим на одном языке — в некоторых снах, некоторых видениях и прочих обычных ситуациях, о которых вот прямо сейчас вы, взрослые рациональные люди, читающие все это на работе, чтобы ненадолго отвлечься, слышать не желаете, но это не беда, когда уснем, все вспомним, когда умрем — тем более, поэтому вполне можно позволить себе делать вид, будто мы не понимаем, о чем вообще речь.)

Так вот. У меня в тот момент и мысли не было получать,

какое-то там благословление, меня просто так вынесло к этому деду, звонкому как фонтан, горячему, как солнечный воздух, но в первый момент стало немного обидно, потому что я, конечно, великий герой и добрый конунг, но живой человек, и иногда мне очень хочется, чтобы меня взяли на ручки — хотя бы в метафизическом смысле. То есть, особенно в метафизическом. А тут — шиш тебе, а не благословление, иди вон раздавай, нечего тут примазываться. Ишь!

Но сегодня все это мне вспомнилось в момент пробуждения, прям подбросило, и дошло наконец, что это — метод. Который подходит не только мне, а вообще всем. Раздавать благословления по мере скромных своих сил и возможностей, не заботясь о том, доведется ли получить хоть одно. Творить своими руками маленькие, не противоречащие законам физики чудеса, а не ждать, пока придет добрый волшебник обоего пола, чтобы осчастливить единственных и неповторимых нас.

Ну или ладно, не чудеса. Просто делать разные дела, незначительные, но прекрасные, избыточные, то есть не предназначенные для выживания, бескорыстные, то есть не для того, чтобы понравиться другим людям, бесстрашные — без оглядки на общественное мнение по данному вопросу.

Вообще — без оглядки.

Единственное, на что имеет смысл оглядываться — это на собственное сердце. Потому что очень часто оказывается, что мы убежали от него далеко вперед, а оно осталось где-нибудь в наших пяти годах, оглядывается по сторонам, хочет на ручки. Тоже в метафизическом смысле, как я.

Потому что я и есть дурацкое сердце человечества, безнадежно отставшее от остального организма. Застрявшее в пяти примерно годах, в панамке какой-нибудь на бессмысленной башке, стоит, вертит головой — эй, ты где? Я же тут!

И как же вам повезло, что я умею писать.

На самом деле нас таких у тебя, уважаемое человечество, много. Так что вряд ли ты от нас убежишь достаточно далеко, чтобы можно было спокойно продолжать грести под себя корм, обижать слабых и предаваться общественно одобряемому унынию. То есть, совершенно не сомневаюсь, что именно этому ты себя и посвятишь, но «спокойно» — вот уж фиг. Потому что сердце твое, дорогое мое человечество, занято в этот момент совершенно иными делами. И при этом оно, заметь, остается твоим.

В этом, строго говоря, и состоит благословление в единственной доступной мне на сегодняшний день форме. А там — поглядим. Как пойдет.

Один из кардинальных ужасов моей жизни — эти ваши анекдоты, построенные на как бы общеизвестных аксиомах, которые кажутся мне не просто неочевидными, но абсурдными.

Вот например анекдоты про тещу. Мне как было в детстве непонятно, почему надо смеяться при описании конфликтов каких-то странных людей с матерями их жен, так и до сих пор, честно говоря, не въезжаю. Конфликт — это вообще не смешно, а неприятно. А все женщины-чьи-нибудь-тещи, встречавшиеся мне в жизни, были очень клевые. Начиная с моей бабушки Нади, которая навещала в военном госпитале своего раненого мужа и так понравилась его соседу по палате, что тот твердо решил жениться на одной из ее дочерей, чтобы стать членом семьи, где все называют друг друга «любчик» и не просто называют, а действительно любят — надо же! Так бывает?!

Этот сосед по палате потом, двадцать лет спустя, будет иметь несчастье стать моим отцом. Но это не очень страшно, все остальное у него в жизни сложилось неплохо.

Теща — лучший трофей, который мой папа, осиротевший младенцем в Гражданскую, добыл на Второй мировой. Еще были какие-то китайские сервизы и платья из крепдешина для жены и все той же тещи, но они прошли, как с белых яблонь дым. И бабушка Надя прошла, и обе ее дочки, и папа потом тоже прошел.

Таков круговорот людей в природе.

А с белых яблонь дым у нас как раз вот прямо сейчас. Кроме него имеют место с белых каштанов дым, с белой сирени дым, и с белой черемухи дым. Все они, надо понимать, тоже очень скоро пройдут, как трофейные крепдешиновые платья. Но нам плевать, мы живем одним днем. И сегодняшний, к примеру, был так хорош, что даже если оказался бы последним, то и не жалко совсем.

Но он совершенно точно не последний. Мы проверяли.

«Мы проверяли» — это не то чтобы шутка. У меня вообще довольно хреново с этим вашим юмором. Правда, многие люди смеются, когда читают, что я пишу. И даже когда говорю вслух о чем-то скучном типа погоды, они смеются все равно. Но это не юмор, это гипноз. Чтобы парализовать жертву, а потом съесть. Но я никого не ем, потому что не люблю готовить, так что читатели в безопасности. И слушатели тоже.

Так вот, что касается непоследнего дня.

Штука в том, что иногда человек может развернуться лицом к будущему и увидеть там разные вещи. Некоторые видят апокалипсис и за это их записывают в пророки. А я вижу только длинную сияющую дорогу, белую и дымную, как яблоневый цвет, из которого состоит все.

Все, кроме анекдотов про тещу и еще про мужа-из-командировки. Потому что они состоят из внутричерепного говна. Зато детские анекдоты про грузина-жопарезина и котенка Трусики священны, они — чистый дзен.

Мой папа, кстати, часто просил меня рассказывать дворовые анекдоты (которые про котенка Трусики как раз) и страшно ржал. Он не знал слова «дзен», но был неплохим практиком. В отличие от нас, знающие многие слова и трындящих их всуе.

В промежутках между анекдотами про тещу.

Хуже анекдотов про тещу только эти ваши праздники, потому что они позволяют не думать о важных вещах триста шестьдесят четыре дня в году. Разик отстрелялись, и хватит.

А вот не хватит, ни фига. Каждый день надо вмещать в себя весь мир — с войной, чумой, мором, гладом, яблоневым дымом, черемуховыми холодами, душистыми майскими ночами, необходимостью защищать своих живых и провожать своих мертвых, с этой невыразимой бесконечной любовью, данной нам если не в ощущениях, то хотя бы в крепдешиновых платьях и ванильных сухариках, которые мы не едим в самый голодный день, а кладем в карман и несем кому-нибудь — угостить.

Потому что тот, кто вмещает в себя весь мир и ванильный сухарик в придачу, никогда не пройдет насовсем.

Один человек занимался осознанными сновидениями. Занимался долго и упорно, предположим, тридцать лет и три года. Преуспел, научился всем премудростям, отрастил себе тело сновидения, толстое, розовое и красивое.

После чего человек стал бегать по изводившим его всю жизнь кошмарам, крутить им сочные кукиши и дразниться: «бе-бе-бе!»

Другой человек тоже занимался осознанными сновидениями, долго и упорно, тридцать лет и три года. Научившись же всему, чему следует, в одном из осознанных сновидений устроил себе отличную спальню, притащил подушку с одеялом, каждый день засыпал туда, а уж там дрых себе в свое удовольствие, просто так.

Одно из самых сильных (часто неосознанных) желаний современного человека — оказаться в ситуации, когда он ничего не может испортить. Никакими своими действиями.

Почти недостижимое в рамках текущей культуры ощущение. Пение пьяным хором, секс в наручниках и вхождение во вдохновенный поток — вот первые пришедшие в голову варианты. Наверное есть еще, но их немного.

Окружение — влияет. И изменяет нас, хотим мы того или нет.

Штука даже не в том, что трудно жить среди алкоголиков и сохранять трезвость. Или, скажем, соблюдать строгую диету в

окружении обжор. Штука не в том, что нам станут дружно говорить, как надо жить и какое мнение иметь по всякому вопросу, и мы тут же послушаемся, как глупые дураки.

Окружение изменяет нас на более тонком и глубоком уровне. Постепенно и незаметно.

Есть, конечно, люди с повышенной сопротивляемостью среде. Я как раз из их числа, очень хорошо знаю, как все происходит, и могу сказать: на то, чтобы не поддаться влиянию — не только и не столько социальному, а вот этому глубинному, незаметному — уходит хренова прорва сил. Так много, что некоторые из нас ложатся и умирают молодыми, а некоторые просто больше ничего не делают, и не потому что не хотят, а потому что действительно не могут. Это — ну как сдерживать всем телом напор воды из трубы, которую вы прикрыли собой, и одновременно вышивать бисером. И не пять минут напоказ, а годами.

В юности у меня не было сил почти ни на что. Даже заварить чай или переодеться — это было огромное, очень нежелательное, вынужденное напряжение. Силы были только на те занятия, которые сами приносили силу — искусство, например. Или прогулки. Но это, как понимаем мы, подключение внешнего ресурса, а не задействование собственного.

А те, у кого сопротивляемость не повышенная, просто потихоньку изменяются в направлении, заданном окружением. Которое у почти всякого человека вполне случайно, будем честны.

Поэтому окружение — это очень важно. Причем даже не с точки зрения «любят-ценят-защищают-мучают-не понимают-воспитывают-поддерживают-чешут спинку». Все это, конечно, имеет значение, но на (условной) поверхности.

Штука в том, что мы в это постепенно превращаемся, точка.

Чем раньше человек оглядит свой ближний круг и задаст себе вопрос: «Хочу ли я в это превратиться?» — тем меньшая часть жизнь будет потрачена зря, вот и все.

Искренний ответ «да» свидетельствует, что ответивший — один из самых счастливых людей в мире. В прошлой жизни он, вероятно, спас от буки сто голодных сирот, и теперь заживо вознесен на небеса.

Если же превращаться в такое вам совсем не хочется — что ж, кто предупрежден, вооружен.

И, да. Одиночество — это в большинстве случаев означает «больше свободного времени для своих дел». И при этом оно почти недостижимо, можно заранее не пугаться.

Описывая самые обычные места, я вижу немного больше, чем другие свидетели. Это вовсе не означает, будто я что-то

выдумываю, или, к примеру, бурно галлюцинирую.

Это как если бы два человека описывали одну и ту же комнату, и один ограничился описанием интерьера, а второй порылся бы в шкафах, почитал бы хозяйские письма, нашел бы прадедов клад под половицами, а потом описал все свои впечатления в комплексе. Не забывая, конечно, и об интерьере — он тоже важен.

И в этом смысле я просто гиперреалист.

В моих историях реальность предстает перед читателем — не во всей своей полноте, конечно, во всей полноте ее разве что ангелы, заполняющие каждый день прописи бытия, могут описать. Но я к этому стремлюсь.

Оранжевыми чернилами

Если идти домой по улице, где один за другим загораются оранжевые фонари, можно протягивать руку полуоткрытой ладонью вверх и собирать избыток света, как мандарины — раз, два, еще, еще.

И прикарманивать.

Потом, уже дома, выясняется, что оранжевым фонарным светом можно писать вместо чернил, не закончившихся, конечно, но изрядно загустевших во внутренней авторучке. Свет — те же (внутренние) чернила, только еще лучше.

Можно писать.

От всех этих сентябрьских дождей, хризантем и мокрых каштанов, запахов, свежих, горько-сладких, обморочно звенящих в ушах, обычного набора заключенного (в человеческом теле) строгого осеннего режима, почти невыносимо болит сердце, вынужденное расти, расширяться, чтобы вместить все это предзимнее великолепие мира.

Все равно не дорастет. Не вместит. Но надо стараться. Вернее, не «надо» даже, оно — само.

Накануне всякой зимы я прыгаю в пропасть. Затяжной прыжок, веселый и горький, никогда заранее не знаешь, кто откроет глаза там, на дне, весной.

Ну вот, дальше тянуть некуда. Давай. Прямо сейчас.

Очень просто быть умным пессимистом. Проще вообще ничего не придумаешь: сел на диван, включил гениальный супермозг, обработал жизненный опыт, огляделся вокруг — АААААААА! УЖОСНАХ! Все, дело сделано.

Быть глупым пессимистом ровно так же просто. Послушал в детстве, чего взрослые говорят. Потом вышел во двор, послушал, чего говорят старшие мальчишки и девчонки. Потом получил в рыло, чтобы не подслушивал. Потом вырос большой, еще послушал, еще пару раз в рыло получил, и — voila! Допер

наконец, насколько ужасен человеческий наш удел. Даже гениальный супермозг включать не надо, и так отлично получилось.

Быть глупым оптимистом тоже не очень сложно. Но тут одно из двух — или сразу родился таким счастливчиком, что в рыло ни разу не получил, или так много добрых сказок в детстве читал, что даже «в рыло» не помогло.

А еще можно пойти к первому попавшемуся гуру. Или просто базарную гадалку поймать в хорошем настроении, чтобы счастливую жизнь предсказала — тоже отлично работает, если гениальный супермозг не включать. Гениальный супермозг — он, зараза такая, весь кайф обломает. Но если у нас его нет, все в порядке.

А вот быть умным оптимистом практически невозможно. Невыполнимая задача — со всей этой херней взлететь. Но если кто имел несчастье родиться на свет с гениальным супермозгом, имейте в виду — именно для этого он и выдан. Зараза такая.

Потому что необходимость делать невозможное никто, извините, не отменял. И не отменит. Без делания невозможного жизнь вообще не в зачет.

П

Пауль Клее, чье творчество с равным основанием относят ко всем главным художественным течениям XX века, живописец, график и теоретик искусства, писал: «В былое время люди рисовали вещи, которые можно было увидеть на земле. Вещи, на которые им было приятно смотреть и на которые они хотели бы смотреть. Сейчас, рисуя, мы воссоздаем несомненную реальность видимых вещей и, делая так, выражаем веру, что в отношении к миру в целом видимое — только вырванный из него кусок, а другие истины, в большинстве своем, скрыты».

Пока о «скрытых истинах», то есть, о невидимой части реального мира говорит живописец, зритель остается, так сказать, в безопасности. Какие бы «скрытые истины» ни открылись ему на полотне, зритель, если пожелает, может игнорировать это откровение, списать увиденное на живость художественного воображения автора, и жить, как прежде. В этом случае фундамент его представлений о мире не будет поколеблен. Земля не уйдет из-под ног. Небо не станет ближе.

А значит, чуда (ради которого и дано нам искусство) не случится.

Какая жалость.

Игнорировать художественное высказывание фотографа более затруднительно. Сколько бы теоретических работ о художественной фотографии ни было написано специалистами (и внимательно прочитано нами), непросто избавиться от отношения к фотографии как к документу.

К тому, что можно нарисовать то, чего на самом деле нет, мы давно привыкли. Однако идея сфотографировать то, чего нет, даже сейчас, в эпоху фотошопа, кажется рядовому зрителю вполне абсурдной.

И хорошо что так.

Потому что фотография (та фотография, о которой имеет смысл говорить здесь и сейчас) нужна нам именно в качестве моста между видимой и невидимой составляющими мира. Понятно, что все искусство в целом — такой мост, но традиционное отношение к фотографии как к документу делает ее идеальным инструментом. Фотографу верят как никому другому.

А нам того и надо.

Полное доверие — именно то настроение, в котором следует встречаться лицом к лицу с искусством. Это, я знаю, нелегко. Современному человеку нужно быть очень храбрым, чтобы довериться кому (и чему) бы то ни было. В том числе, художнику.

Но только доверившийся получит то, ради чего было создано искусство — весь мир. Видимый и невидимый. Весь целиком. Все, что лежит под солнцем.

«Все, что лежит под солнцем» — такое определение дал искусству немецкий художник Йозеф Бойс.

Нельзя сказать, будто после его слов мир внезапно изменился. Во всяком случае, с неба не посыпались чудесные этикетки с надписью «Art», не приклеились по собственной воле к чему ни попадя, и случайные прохожие не пали — кто в обморок, кто на колени — ошеломленные официальным открытием выставки Творца.

И все же высказывание Бойса — одно из важнейших культурных событий двадцатого века. Потому что благодаря ему стало возможно говорить об искусстве некоторые простые и важные вещи. Настолько важные, что без них не имела бы смысла не только работа любого художника, но и жизнь человека на этой земле. Настолько простые, что точные формулировки сродни детскому лепету.

Штука в том, что всякий по-настоящему серьезный разговор об искусстве и должен, в идеале, быть детским лепетом. Поскольку искусство само по себе — детский лепет. Или даже крик младенца, впервые в жизни оказавшегося у распахнутого

окна, за которым — весь мир.

Стать таким младенцем, увидеть мир как впервые, осознать себя малой, но совершенно необходимой частью этой мистерии — величайшее счастье, какое может выпасть не только художнику, но и зрителю. Всякая встреча с искусством — шанс пережить подобный опыт. А потом проживать его снова и снова всякий раз, как только нам покажется, будто мы знаем хоть что-то — о мире и о себе.

Писать[5] **имеет смысл** только как в первый день творения, с единственным намерением — чтобы было (то, чего раньше не было).

Все остальные соображения только мешают, а работа, к которой они понуждают, утомляет и изнашивает.

По главной улице с оркестром

Так все и было, по главной улице, то есть, по проспекту имени князя-засони-Гедиминаса шел детский духовой оркестр, дети примерно от девяти до шестнадцати дудели, а девочки-подростки в ярких платьях организованно и ритмично размахивали жезлами, вскидывали ножки в красных и белых башмачках.

И вот эта глупость, конечно, всякий раз прошибает меня до слез — музыканты, дети, девочки, ножки, яркие цвета, ритм, ослепительный блеск меди, торжество всего самого недолговечного: звука, цвета, дыхания, радости, многообещающей незавершенности форм.

Такая очень дурная, совершенно неэффективная, но завораживающая магия эти духовые оркестры, особенно детские. Такой нелогичный, избыточный, стратегически непродуманный вызов смерти — краткая, как выдох, возможность не знать о ней, или даже невозможность о ней знать, пока звучат трубы и взлетают ослепительные ножки, душа устремляется к небу, как йо-йо, мячик на резиночке, сейчас вернется обратно, никуда не денется, ррраз — и снова тут. Не пир, но танцульки во время чумы, которая — всегда. Которая — условие задачи. Которая — почти все.

Не победа над смертью, какая уж тут победа. Но радостное утверждение жизни вопреки очевидному. Глупый самообман, который — священная правда. Целых пять, или сколько там минут, пока играет музыка, никакой другой правды быть не может, вот в чем штука. И какая разница, что было до, и что будет потом.

До слез прошибает, конечно. Хорошо, что милосердный господь специально для таких случаев изобрел солнечные очки и самолично раздал их наиболее вдохновенным придуркам, чтобы

не пугали прочий уличный народ, вприпрыжку бегущий по тротуарам за шествующим по мостовой оркестром. Чтобы не нарушали священный покой всех этих временно, но с полной отдачей бессмертных.

Какой-то такой специальный дурной европейский дзен все это — уличные оркестры, ярмарки, карнавалы. Какой-то наш местный, локальный способ дурковать на радость вселенной. Потому что она явно и недвусмысленно ликует, пока идет по главной улице детский оркестр, видно же, такое шило в мешке не утаишь.

По пунктам

1. Человек создан для летней ночи. По крайней мере, если этот человек я.

2. Лучшее место на земле — автострада, проходящая между миром людей и миром духов. Там очень спокойно. И даже в мир людей оттуда возвращаешься с легким сердцем.

3. Легкое сердце — вот что следует приносить с собой из всякого путешествия. Это сокровище, как водится, охраняет дракон. Но если попросить, он отдаст.

4. Если вечером пытаешься подсчитать число городов, в которых побывал сегодня, и сбиваешься, это означает, что у тебя был очень неплохой день. Один из тех, ради которых придумали жизнь на земле. А не для вот этого всякого мутного хитровыкрученного спама из преисподней.

5. Когда вырасту, я хочу быть ангелом смерти, рядом с которым не страшно.

6. Если такой должности до сих пор нет, я буду требовать и стоять на своем. Потому что это важнее всего для человека — не бояться в самом конце. Хорошо бы научиться не бояться заранее, но с этим мало кто справляется, будем честны.

7. Есть только один способ пребывать в безопасности — не бояться. Остальные способы — ловушки. Внешней безопасности не бывает вообще. Кто вам такую глупость сказал.

8. Бог есть дружба — в актуальном контексте, на фоне утраты значений важнейших из слов это становится все более точным определением. Кто хотя бы раз в жизни принимал участие в высекании искр, которые рождаются из соприкосновения существ, обитающих в нашей глубине, того и Царствие Небесное.

9. Многие из нас — очень хорошие зайцы, хотя вот так на первый взгляд и не скажешь.

По проспекту Гедиминаса, который я ощущаю продолжением своего двора (потому что сперва почти неизбежно выходишь туда, а потом уже думаешь, куда дальше), каждый день ходят кришнаиты. Довольно часто мы с кришнаитами

оказываемся на проспекте одновременно.

Я очень люблю встречать на проспекте Гедиминаса кришнаитов. В первую очередь потому, что я этих самых кришнаитов совершенно не перевариваю.

Во-первых, я вообще не люблю секты. Во-вторых, когда-то много лет назад мне в руки попала «Бхагават Гита» (как она есть) — видимо, в каком-то дебильном изводе, типа «для начинающих». И сперва мне было просто не очень понятно, почему уважаемый автор книги разговаривает со мной как с совсем безнадежным тупым скотом, запугивая меня нехорошими перерождениями (с картинками), ну а странице на шестой, что ли, меня наконец замутило, и на этом мое знакомство с сектантской литературой благополучно закончилось. В-третьих, мне вообще кажется нелепым и несуразным, когда восточные игрушки тянут на Запад, не конвертируя, от этого они обессмысливаются, а жалко, потому что в основе игрушек, под экзотической декоративной мишурой лежат разные годные штуки, докапываться до которых при такой подаче — спасибо, что-то не очень хочется. В-четвертых, у нас в юности был один знакомый — ну вот прям совсем унылый и ужасный, из тех, над кем даже смеяться надоедает почти сразу. Потому что неинтересно. И о нем известно, что он, в итоге, записался в кришнаиты. И теперь мне, конечно же, в глубине души кажется, будто они все должны быть примерно такие же.

Короче. Очень привычно и удобно для меня не любить кришнаитов, так уж все удачно совпало.

И всякий раз когда я вижу, как кришнаиты с песнями и плясками идут по проспекту Гедиминаса, мой опыт говорит: «Это фу!» Мой критический ум говорит: «Это не просто «фу», это ФУ ВАЩЕ!» «И вовсе не «фу», — говорит моя личность. — Добрее надо быть. Терпимее! Это не «фу», а просто одна из разновидностей «ойбля», разницу понимать надо».

«Вы все совершенно правы, — говорю я им. — Спасибо, мои дорогие. А теперь цыц!»

И выключаю эту толпу, как радио. А потом просто слушаю музыку и смотрю на приплясывающих людей в красивой одежде. Как будто вообще понятия не имею, кто они такие, и откуда взялись. Поэтому вижу только то, что вижу, воспринимаю только то, что воспринимаю — развеселый мини-карнавал с песнями посреди пасмурного буднего дня — и от этого на морде лица моего прорастает дебильная улыбка, вечная спутница неизъяснимого блаженства. Даже не потому что сами по себе песни и пляски кришнаитов — вполне духоподъемная штука. Просто очень уж прекрасно и естественно пребывание вне

контекста, пока критический ум, опыт и так называемая «личность» выполняют команду «цыц».

Всякий раз, когда я проделываю это упражнение на твердую «пятерку», проходящие мимо кришнаиты дают мне вкусную конфетку. Из чего, как понимаем мы, следует заключить, что я — хорошая собака.

Подставляя себя под чужое внимание, мы неизбежно становимся объектами, подвергающимися постоянной (обычно совершенно незаметной) трансформации.

Правила техники безопасности такие:

— Не домогаться избыточного внимания к себе. Это наркотик, со всеми вытекающими последствиями (эйфория, ломки, ущерб психике и здоровью).

Минус состоит в том, что исключить дозу не получится, только уменьшить. И даже бегство на необитаемый остров не воспрепятствует оставшимся дома думать о нас все, что они пожелают. Но все равно следует делать в этом направлении, что получится. В смысле, воздерживаться от лишней дозы внимания всегда, когда есть хоть малейший выбор.

— Корректировать направленное на вас внимание. Грубо говоря, выдавать наружу информацию о тех своих качествах и свойствах, усиление которых представляется вам полезным. И скрывать информацию о качествах, развитие которых представляется вам вредным. Простейший пример: человек, которого беспокоит собственный возраст, должен поменьше рассказывать о признаках приближающейся старости и побольше о признаках никуда не девшейся молодости. Когда я говорю «рассказывать», я имею в виду все доступные нам языки, включая язык тела, стиля, поступков и так далее.

Минус тут такой, что человек далеко не всегда правильно понимает, развитие каких качеств ему полезно, а каких вредно. Ну и необходимыми языками мало кто владеет на должном уровне. Но ошибки и неудачи возможны в любом деле, это не означает, что лучше не делать ничего.

— Постоянно осознавать, как влияет на вас чужое внимание. Осознание, собственно, идеальный выход из всех ситуаций, какие только можно вообразить.

Минус тут такой, что термин «осознание» многие автоматически расшифровывают как разновидность думания, а я никак не могу изобрести формулировку, которая позволит почувствовать разницу. Ну, если я скажу, что осознание — это выстраивание внятной дистанции между смертной и бессмертной составляющими человека и одновременно прокладывание коммуникационного канала между ними, это многое объяснит?

То-то же.

Впору объявлять тендер.

Подушки

В детстве мне приходилось часто ездить на поездах. Мы всегда ехали до конечной станции, то в Одессу, то в Берлин. На конечных станциях поезда стоят подолгу. Но родители все равно спешили выйти, говорили, надо торопиться, потому что поезд сейчас поедет в депо. А в депо пассажирам уезжать никак нельзя.

Это загадочное «депо», о котором ничего толком не было известно, казалось мне тогда таинственным заколдованным местом, куда не пускают обычных пассажиров, потому что поезда уезжают туда навсегда. А людям никуда нельзя уезжать навсегда, навсегда только умирают, это мне довольно рано объяснили.

В юности мне нравилось гулять среди запасных путей. Ходить по рельсам, рвать выросшие на шпалах цветы, заглядывать в окна пустых вагонов. В некоторых купе на полках лежали груды подушек, они были похожи на туго набитые мешки.

В юности мне было ясно, что в этих мешках хранятся сны, которые приснились пассажирам в дороге. Эти сны по праву принадлежат поездам, поэтому они остаются в депо — навсегда. А люди быстро забывают, что им приснилось, пока они ехали.

Если совсем честно, я до сих пор хочу пробраться в депо и выкрасть партию этих чертовых подушек.

Пока мифы еще маленькие, их вполне можно кормить одной болтовней. Как младенцев смесями, или чем их там кормят.

Но всегда неизбежно наступает момент, когда надо начинать кормить мифы поступками. И этот момент важно не пропустить. Даже не потому, что голодный миф вполне может захряпать вас без майонеза (а он — может). А просто потому что в хорошем хозяйстве никто не должен голодать.

Пора поговорить о магии текста и о месте текста в магии. Простым и, насколько это вообще в данном случае возможно, понятным языком. Чтобы никому не показалось, будто это у нас тут красивые метафоры, мечтательные иносказания, экзальтированные преувеличения и прочий полет фантазии на крыльях воображения.

Так вот, не обольщайтесь. Речь о той самой магии, которая — смысл и соль бытия, инструмент преображения мира, внутреннего и (как следствие) внешнего. И за разговоры о которой вас засмеют коллеги по работе, а некоторые родные и близкие не на шутку встревожатся, заподозрив неладное и заранее прикинув в уме предстоящие хлопоты и расходы на докторов.

Штука в том, что литература как таковая меня уже какое-то время не интересует вовсе. Точнее, интересует не больше, чем, скажем, сливочные вафли, которые я пару раз в год грызу с чаем — необязательное удовольствие родом из детства, от которого можно вовсе отказаться, но зачем.

Зато меня очень интересует магическая составляющая литературы. Которая или есть, или нет. Мне ее наличие или отсутствие всегда очевидны по умолчанию; как все очевидные вещи объяснять это чрезвычайно трудно. Строго говоря, вовсе невозможно, но когда это меня останавливало.

Сейчас я буду говорить вещи, которые вполне могут выглядеть пафосными банальностями — до тех пор, пока не начнешь деятельно их проживать. Практиковать, иначе говоря. Хотелось бы, конечно, иметь в своем распоряжении менее испорченный дурными ассоциациями, злоупотреблениями и искажениями смыслов язык, но уж — какой есть.

— Творчество (в современном понимании этого слова, т. е. человеческая деятельность, приводящая к появлению новых произведений искусства) появилось когда люди перестали практиковать магию (когда регулярные магические практики перестали быть нормой). Как безопасная подмена, позволяющая прикрыть бездонную голодную дыру, зияющую во всяком человеческом существе, в том самом месте, где прежде у наших предков была магия — непосредственная живая связь с Духом. С немыслимой, неназываемой, непознаваемой силой, пронизывающей все сущее. С силой, естественная часть и естественное следствие которой — мы.

И одновременно — внимание! — как возможность продолжать практиковать магию в условиях, когда ее (магии) как бы временно нет вовсе. То есть, тренировать ту часть себя (и представителей возможной аудитории), которая отвечает за связь с Духом…

— По большому счету, художник имеет смысл лишь в тех случаях, когда ему удается вступить в контакт с Духом. (Смысл художника по малому счету и положенные за этот смысл социально одобряемые таракуцки лично меня не парят, а вы выкручивайтесь, как хотите.)

— Многие (в том числе, я) описывают художника как инструмент, в той или иной степени подходящий Духу для очередного высказывания; кто не спрятался, Он не виноват.

Это, конечно, правда. Но не вся.

— Потому что в идеале художник должен быть не просто инструментом, а полноправным соавтором. Подлинное творчество — всегда игра на двоих.

— Потому что смысл человека в коммуникации с Духом. Иного смысла в нас нет.

— …Когда говорят (я в том числе), что художник в процессе работы должен полностью отказаться от себя, подразумевается отказ от взволнованно якающей составляющей личности, которая хочет нравиться, получать похвалу и благодарность. Для которой занятие творчеством — просто повод получить подтверждение собственной состоятельности, правоты и превосходства над другими.

Так вот, отказываться следует только от этого «ЙАААААААААА!», но уж никак не от персонального опыта, который является главной драгоценностью всякого человека, подарком, без которого в гости к Духу не суются. Да и технически невозможно такое — Дух имеет дело с существом, которое этим персональным опытом сформировано и трансформировано. А с кем же еще. Больше никого нет.

— И вот тут случается самое интересное. Когда художник по-честному отработал свой выход напару с непостижимым Партнером, созданный ими объект искусства (в широчайшем смысле слова, в том числе, текст), становится для аудитории (поскольку мы живем не в идеальном мире, где все устроено так, как мне хотелось бы, не для всей аудитории, а лишь для ее подготовленной части) приглашением в магическую игру, входом в магическое пространство, откуда никто не уйдет мертвым.

А напротив, чуть более живым, чем прежде.

Постмодернистская игра с мифами, или попроще, классическими сюжетами, которой кто только не балуется (и я, и я в первых рядах!) имеет смысл только в одном случае: когда по ходу дела из сюжета извлекается тайный потенциал (явный-то реализовался еще в момент рождения сюжета, в смысле, сюжет и есть следствие реализации своего явного потенциала) и обрабатывается так, чтобы созидательная мощь его многократно возросла.

Если на это нет силы и умения, то лучше отойти и не трогать.

Потому что из любого сюжета можно вырастить новую вселенную, и при таком раскладе выращивать что-то меньшее глупо, хотя искушение бывает велико, особенно когда речь заходит о великих мифах, всех так и тянет уменьшить их в размерах, приручить, приспособить к своим маленьким уютным человечьим нуждам. Это понятно и даже вызывает сочувствие, но нельзя не понимать, что вырастить меньше, чем уже было выращено — натуральное вредительство.

Но, имея в руках зерно, то есть, осознав миф (сюжет) живым, способным к проращиванию зерном, не попробовать его

прорастить — значит сгноить посевной материал. Поэтому лучше все-таки пробовать — тем, кто понимает, что делает. А тех, кто не понимает, а просто забавляется, хворостиной бы с постмодернистского огорода гнать, честно говоря.

Поэтому, кстати, так притягательны мифоложки всех видов — это ж натурально как горох проращивать. Только что были скучные зерна, и вдруг откуда ни возьмись тугие зеленые хвостики, завтра они, может быть, увянут, а может и нет, мы еще не знаем. И пока мы не знаем, с нами происходит интересное.

А самое интересное происходит с тем, кому удается вырастить свой горох до неба, потому что тогда наш огородник станет Джек-В-Стране-Чудес, и это само по себе такая высокая награда, что круче не бывает.

Я знаю, я уже там.

Праздничный похоронный фокстрот для военного оркестра

Когда гладишь кошку — большую, толстую, увесистую — пальцы вдруг нащупывают под густой шерстью тоненькие косточки шейного позвонка, и сердце замирает от ужаса и нежности — такое хрупкое, господи.

Все такое хрупкое. Вообще все.

В моем раннем детстве в семье жила серая полосатая кошка Маркизка. Я довольно плохо ее помню — только что однажды поцарапала мне руку. И еще, как мы с папой кормили ее дыней, и папа смеялся, а я — нет, потому что откуда мне было знать, что кошки обычно дыню не едят.

Потом Маркизка исчезла; говорили, что выпрыгнула с балкона и сбежала. Мне было все равно, потому что мы не успели установить хоть какие-то отношения.

Но безразличие к ее судьбе не избавило меня от обязанности однажды выяснить, как было дело — кошку пнул ногой будущий муж моей старшей сестры. И привет.

Никто не узнал, конечно. Кроме меня — теперь, много лет спустя после его смерти.

Все такое хрупкое.

Я могу вообразить себя практически кем угодно. В смысле, не сидеть-фантазировать, а забраться в, условно говоря, шкуру этого «кого угодно», и им какое-то время побыть. Мне для этого даже руками делать ничего не надо. Врожденный (и развившийся с возрастом, мать его) талант. Замечательно уравновешивает полное неумение (и нежелание) разбираться в людях.

Когда знаешь людей, разбираться в них не обязательно.

Я могу побыть человеком, способным сознательно покалечить или убить кошку. Или, например, щенка. Недолго, секунды две.

Более страшного переживания в моей жизни не было, даже почти двое суток ничем не уменьшаемой боли от защемленного нерва по сравнению с этим — ну, просто не курорт.

Потому что это и есть небытие. Я не преувеличиваю. Скорее наоборот.

И до этого небытия любому из нас один шаг. Было бы не так, не считался бы, к примеру, хорошим, веселым делом троллинг в интернетиках. Который, если называть вещи своими именами, просто осознанное мучительство дурачков (тех, кто кажется нам дурачками). Ни умнее, ни лучше они от этого мучительства не станут, даже вести себя более приемлемо вряд ли выучатся, да и нет такой цели у мучителей. Просто удовольствие, одно из множества безнаказанных удовольствий, которые появились благодаря развитию информационных технологий. Чистое искусство ради искусства, так сказать. Как кошек пинать с размаху.

Все, блин, такое хрупкое.

В детстве у нас была примета — когда видишь «скорую помощь», можно загадать желание. Дурацкая примета, но очень милосердная. Загадывая желание, ребенок полностью поглощен этим занятием, ему некогда задуматься о подлинном смысле и назначении яркого автомобиля, который едет сейчас по улице, включив сирену, только лишь потому, что все такое хрупкое — для всех. Просто не сразу, а по очереди. Каждый узнает об этом в свой срок.

Я уже очень давно знаю. Может, вообще всегда.

Моего ощущения хрупкости всего хватило бы на добрую дюжину могущественных царей — чтобы сидели, запершись в своих покоях, трижды обдумывая каждое свое действие. Потому что могущественному царю даже по собственной спальне лучше ходить в войлочных тапках и бархатных перчатках, руками не размахивать, голос не повышать. Все такое хрупкое тут — если усвоил эту концепцию единожды, больше уже не отвяжется. Хотя временами будет попускать, конечно. В такие светлые дни даже повоевать можно, почему нет.

Я совершенно точно не могущественный царь мира сего. А если и царь, то настолько тайный, что такое положение дел секрет даже для меня. Но скорее всего я все-таки просто умелое трепло. Трепло с большой буквы, способное порой переводить с языка немыслимого на русский, совершенно, кстати, не приспособленный для подобных разговоров.

А вместо крылатых сандалий у меня Чорные Валенки.

Но ежесекундно истекать невидимой кровью, ощущая немыслимую, непоправимую хрупкость всего, валенки не

препятствуют. И я могу об этом рассказать — хоть как-то. Недостаточно хорошо, но лучше, чем большинство специально приглашенных для чтения проповедей профессионалов.

Хотя чем рассказывать словами, лучше посоветовать: добудьте где-нибудь покладистую кошку, возьмите ее на руки и нащупайте под густой шерстью тонкие косточки шейных позвонков. Все, чего вы не хотели знать о реальности, данной нам в ощущениях, будет к вашим услугам.

Я, по крайней мере, точно ничего об этом знать не хочу. Но надо, потому что это знание — один из наиважнейших признаков подлинной жизни.

Поэтому я знаю, какое все хрупкое. И чувствую постоянное напряжение мышц живота от почти бессознательного усилия длить и длить текущий момент, единственный миг, пока все еще цело, пока все еще есть, пока мы есть, пока это — навсегда, вопреки хрупкости и даже (непонятным мне образом) благодаря ей.

Еще какое-то время мы будем длить этот миг все вместе, хотите вы того, или нет.

Признание (читай — понимающее приятие) жизненно необходимо художнику (в самом широком смысле слова). Причем ровно в той форме, которую конкретный художник согласен считать признанием. У всех же свои представления, как это бывает должно быть. Кому-то для полного счастья достаточно скупой, но точной реплики авторитетного коллеги, а до другого без ста миллионов и памятника во весь рост не дойдет, что все получилось.

И дело тут не в тщеславии и не в алчности. А в том, что всякий настоящий большой художник ведет диалог не просто со своей референтной группой, а как бы со всем миром сразу. Отсутствие адекватного отклика (денег, славы, понимающих комментариев, повышенного внимания девочек обоего пола, кому чего) для художника — это не просто отсутствие человеческого понимания и одобрения. Люди в данном случае только часть реальности, небольшая, но подающая самые внятные сигналы, можно сказать — ее язык. И человеческое равнодушие (то, что кажется художнику равнодушием) равносильно молчанию всего мира.

Поэтому отсутствие признания для художника сродни богооставленности; впрочем, в его субъективном восприятии это именно она и есть.

Самое смешное (и одновременно горькое, но по большему счету все же скорее оптимистическое), что художник, будучи включен в великую космическую игру, вообще не знает ее правил

и не понимает языка, на котором с ним говорят.

Художник не в курсе, что люди — это лишь малая часть алфавита. Вглядываясь и вслушиваясь только в них, вместо послания благодарной реальности: «Я тебя люблю», — услышишь, в лучшем случае «бл». Или вообще ничего.

Непризнанный гений скорбно умирает в одиночестве, так и не узнав, что мир принял его работу, оценил на «отлично» и отблагодарил тремя сотнями своих лучших закатов, как-то не сообразив, что гонорар этому работнику следует выдавать хлебом, вином и чемоданами денег. Он, мир (или она, реальность) — тот еще лось в этом вопросе. А часто еще и тормоз. То есть, бывает, что приходит к художнику торжественно, с правильно оформленным гонораром в конверте, но лет на сорок позже, чем требовалось. Все уже вообще умерли давно, вы к кому, дяденька?

Упс.

На этом месте должен был бы быть совет учить язык, избавляться от конкретных представлений о форме выражения признательности и больше доверять реальности, пусть себе благодарит, как хочет. Но совет этот вполне бесполезен. Потому что до столь прекрасного состояния редкий отшельник в горах Лао доходит за долгие годы непрерывного просветления. А с художника какой спрос. Он вообще если и понимает, во что влип, то очень-очень смутно.

Про погоду

Вот я как будто выхожу в город, и у меня там пара мелких дел — в банк заплатить за квартиру, в телефонную компанию, которая забыла прислать счет, с ними иногда случается, не знаю, почему.

И как будто в городе пасмурно, выгодный фон для осенней растительности, все это золотое и медовое, красное и медное отлично смотрится на сером фоне, дизайнеры из Небесной Канцелярии свое дело знают, чего уж там.

И как будто над головой моей отворяются небеса, и отчаянный солнечный свет льется на мою макушку, не с неба даже, а из давно минувшего июля, такой ослепительно-яркий, горячий, по-летнему белый, весь мой.

И как будто я переполняюсь этим светом до краев, а потом через край, и солнце, удовлетворенное результатом, снова прячется за — что там на небе вместо туч, когда оно целиком, равномерно серое? Вот за это и прячется, короче. И кажется, что навсегда (хотя это как раз вряд ли).

И как будто я остаюсь посреди всего этого — не столько человек, сколько сосуд, исполненный последнего летнего света. И

как будто стою растерянно целых десять секунд, не зная, что предпринять. А потом иду и покупаю кепку — единственно верный поступок, совершенный в почти бессознательном состоянии.

Когда ты переполненный сосуд, лучше все-таки завести себе какую-то пробку. Потому что — ну неприлично же ходить по городу, светясь макушкой, особенно если в таком виде в банк вломиться, это хуже, чем просто бестактность, это уже почти хамство, не следует так поступать.

И вот нам итог сегодняшнего сна: теперь у меня есть кепка, а под кепкой солнечный свет, буду его иногда проливать осторожно, когда никто не видит, понемножку, оттепелей ради, в зиме без оттепелей смысла не больше, чем в пустыне без миражей.

Так, глядишь, и доживем до весны.

Р

Разговоры о погоде почему-то считаются необязательной болтовней людей, которым нечего сказать друг другу. В то время как разговоры о погоде — это же практически беседы о самом главном. О том, какова сейчас окружающая нас реальность — та ее составляющая, на которую мы не имеем никакого влияния.

Разговоры о погоде — это разговоры о том, любит ли сейчас Бог землю, на которой мы живем. А значит — подобная трактовка почти неизбежна — любит ли Бог нас. В смысле, конкретного отдельно взятого говорящего.

Вот у нас сейчас, к примеру, минус 2, яркое солнце, ледяной ветер, стремительно чернеющее лиственное золото, зеленая, почти майская трава.

Похоже, Бог меня недолюбливает. Зато уважает.

С

Самый простой способ сделать коммуникацию неэффективной — коммуницировать не с тем, кто перед тобой на самом деле.

Фишка в том, что так поступают почти все, почти всегда. Вместо конкретного мужчины, или конкретной женщины коммуницируют с собственными представлениями о гендере, вместо конкретного старика — с собственными представления о старости, и так далее.

Корень разобщенности — здесь. По сравнению с этой путаницей Вавилонское смешение языков — тьфу, ерунда, вообще не о чем говорить.

Все вышесказанное настолько банально, насколько вообще возможно. Максимально очевидно.

Но кто при этом умеет вовремя переключиться с программы «оцениваем в соответствии с собственным опытом» на программу «непосредственный контакт»?

То-то и оно.

Самый эффективный способ помочь человеку[6] можно описать формулой: «ты делай, а я буду знать, что у тебя получится».

Не «верить», не «надеяться», не «думать», а именно «знать». Это наиважнейший нюанс.

Так почти никто не умеет. Но надо учиться.

Потому что во всех остальных случаях наряду с практической пользой подшефному наносится не фиксируемый приборами, но зримый и осязаемый ущерб. Просто потому что помогающий (почти всегда неосознанно, и это хуже всего) помещает опекаемого в позицию слабого, беспомощного существа. И при этом фиксирует на нем свое внимание.

Надо, во-первых, очень хорошо понимать, что происходит, а во-вторых, обладать немаленькой личной силой, чтобы уйти из-под такого удара.

Натренировать эту технику («я знаю, что у тебя все получится») можно. Многим вообще достаточно бывает понять, что именно надо делать. Многим другим придется постараться, но ничего невыполнимого тут нет. А техника очень полезная для всякого, рядом с кем есть хотя бы одно существо, регулярно нуждающееся в помощи.

То есть, для любого из нас.

Кусок хлеба, сто тысяч денег, ночлег, юридическая консультация, ответ на вопрос, даже экскурсия по городу для впервые приехавшего сюда приятеля — все это должно сопровождаться твердым, без тени сомнения, знанием, что опекаемый объект не только не «слабее» нас, а напротив, настолько крут, что все мироздание (и мы, как его скромная часть) к его услугам.

Если, конечно, мы не хотим быть отравителями колодцев.

Сегодня был такой ветер, знали бы вы.

Мы даже кошек на балкон не выпустили, потому что их вполне могло унести ветром. Да что там кошек! Меня вон тоже едва не унесло, а во мне гораздо больше препятствующих полетам килограммов, чем в кошке.

И еще чуть не унесло одну женщину в костюме цвета очень светлого какао, рыжую и кудрявую. Она шла через пустырь, где среди свежей зеленой травы был довольно большой островок песка.

И вот на этом островке ветер взял ее в оборот.

Это было невероятно красиво: кудрявая женщина в молочно-шоколадном костюме, окруженная пыльно-рыжими, в тон ее волосам, смерчами, маленькими, злыми и очень веселыми. Они заставили свою жертву приподняться на цыпочки и закружиться, придерживая руками не столько разлетающуюся юбку, сколько себя.

И, вы не поверите, на ногах у нее были серебряные башмачки.

А потом она как-то внезапно исчезла — при том, что пустырь большой, открытое пространство, просматривающееся во все стороны сразу. Но уж этому вы не поверите совершенно точно. И действительно легко списать исчезновение кудрявой женщины на рассеянность наблюдателя.

Впрочем, плевать.

Сегодня в подъезде на втором этаже за неплотно закрытой дверью громко кричал сосед-аутист. В странном таком ритме кричал, прерывистом, невыносимом, потому что немного нечеловеческом (или не немного). И мне было ясно, что он кричит о неправильном расположении линий мира, и ритм его крика повторял чертов дерганый неправильный ритм их расположения, который и мне не дает покоя, да чего уж там, жизни почти не дает (а я все равно ее беру). И не кричу, заметим, потому что без толку. (Не кричу, потому что кричать не умею, будем честны.)

В такие моменты вдруг понимаешь, что жизнь твоя — непрерывный подвиг безумца, заигравшегося в условно нормального человека, так привыкшего уже притворяться, что неправильное расположение линий мира его не колышет, и вообще никак не ощущается, а если даже вдруг ощутится внезапно, так мы быстренько все выправим, одной левой, вы чего.

Самое смешное, что я иногда правда что-то там выправляю, а иногда делаю хуже (опять же, будем честны), но это как раз нормальный процесс, а вот все остальное… Впрочем, все остальное тоже нормальный процесс, и я, кстати, тоже вполне умею кричать, просто аккуратно, социальноприемлемо, в письменном виде. Вот сейчас докричу и пойду пить чай, а потом спать, потому что с утра придет сантехник, выправит одну из линий моего мира, и все снова завертится.

Сегодня я весь день думаю о том, как плавно и постепенно заканчивается детство — на каких-то участках оно почти

незаметно переходит в юность, на каких-то резко перескакивает в подобие зрелости (и хорошо если не старости), а на каких-то еще долго остается детством, и как же трудно бывает перепрыгивать с участка на участок даже внутри себя, а ведь есть еще и другие люди — друзья, о которых твердо знаешь, что они навсегда, и вдруг их детство тоже начинает заканчиваться, фрагментарно и непоследовательно замещаясь иными состояниями организма, и эти изменения не совпадают с твоими (бывает, что совпадают, это большое счастье и, увы, скорее исключение, чем правило, не всем так везет).

Один из самых печальных моментов этого переходного периода — нарушение игровых и просто дружеских договоренностей под давлением внешних обстоятельств. Компания друзей, с которыми ходишь кататься на роликах каждый вечер после шести, понемногу редеет — у кого-то занятия по музыке, у кого-то родился младший брат, с которым надо сидеть, у кого-то тренировка, у кого-то мама вышла замуж, и отчим решил, что семья должна собираться вместе за ужином, кто-то переехал в другой район, кого-то позвали в кино новые приятели, кому-то родители велели вымыть пол, а кого-то отец взял с собой в гараж помогать с ремонтом автомобиля, короче, у всех обстоятельства непреодолимой силы, и в один прекрасный день большая дружная компания уменьшается до размеров одного человека, единственного придурка, готового ради ежевечерней встречи убегать из дома без спроса, скандалить с родителями, отказываться от семейного похода на пляж, прогуливать какие-нибудь полезные курсы — тебя.

И вот стоишь посреди пустого чужого двора, дылда в дурацких детских четырехколесных роликах, с мячом под мышкой, а больше никого нет, все заняты своими обстоятельствами непреодолимой силы, приятными и печальными, у кого как, и нет дураков преодолевать их на свой страх и риск, жертвуя будущими благами и сиюминутными удовольствиями. И это, конечно, совсем не трагедия, просто ты — балда, а твои товарищи местами жертвы обстоятельств, а местами баловни судьбы, но все как один — разумные люди, действующие сообразно с необходимостью и возможностями, вместо того чтобы цепляться за несуществующие уже давние детские договоренности, которых, строго говоря, и не было никогда.

И это — начало твоего персонального одиночества, которое со временем принесет куда больше радости и пользы, чем огорчений. Но все это будет потом, а пока хочется реветь, хотя ничего страшного не случилось. Но ты, конечно, сдерживаешься изо всех сил. А потом едешь кататься на роликах в парк. С мячом,

ясное дело, куда его девать.

До меня только сегодня дошло, что вот именно на этом фрагменте детство для меня так и не закончилось. И моя идиотическая верность игровым и дружеским договоренностям, которые превыше всего и отменяют (для меня) любые обстоятельства непреодолимой силы, сколь бы дорого ни пришлось платить потом за эту отмену, никуда не делась. И очень часто это, как ни странно, моя сильная сторона. А иногда — источник бесконечной печали. Которая, наверное, тоже зачем-нибудь нужна.

Например, просто для разнообразия.

Смерть развязывает руки.

Я хочу сказать, в тот день (обычно он наступает еще в детстве), когда окончательно понимаешь, что умирают все люди, без исключения, становится ясно, как следует относиться к чужим указаниям, советам, правилам, мнениям и прочей лабуде.

Главный вопрос: если я проживу свою жизнь, следуя вашим указаниям, вы умрете вместо меня?

Никто почему-то не соглашается.

Еще один вопрос: ваши обычаи и традиции, все это ваше «как положено» делают вас бессмертными? Сколько лет было вашей прабабушке, когда она умерла? А дедушке? Ясно, спасибо. И какой тогда смысл тупо следовать их наработкам?

И заключительный, контрольный вопрос в голову: когда я буду умирать в одиночестве (каждый умирает в одиночестве, кроме тех редких счастливцев, которых ведут в смерть специально обученные проводники) — на что я смогу опереться? Ответ, мне кажется, очевиден: на свой дух, на свое сердце, на свою связь с непознаваемым, на свой прижизненный опыт встреч с ним.

Вот что надо укреплять и выращивать, а не ковыряться в гнилых нитках социальных связей, которыми наскоро сшито все это бесконечное лживое тряпье так называемых «отношений». И прочее фуфло.

Смерть заранее, авансом делает человеку два подарка: страх и свободу от покорного следования бессмысленным требованиям так называемого социума.

Глупо брать первый и игнорировать второй. Очень глупо. Вы чего.

Сначала будет Юнг, он умный, простой и внятный:

Мне часто приходилось видеть, как люди становились невротиками, оттого что довольствовались неполными или неправильными ответами на те вопросы, которые ставила им жизнь. Они искали успеха, положения, удачного брака, славы, а

оставались несчастными и мучились от неврозов, даже достигнув всего, к чему так стремились. Этим людям не хватает духовности, жизнь их обычно бедна содержанием и лишена смысла. Как только они находят путь к духовному развитию и самовыражению, невроз, как правило, исчезает.

…

Среди так называемых невротиков есть много людей, которые, если бы родились раньше, не были бы невротиками, то есть не ощущали бы внутреннюю раздвоенность. Живи они тогда, когда человек был связан с природой и миром своих предков посредством мифа, когда природа являлась для него источником духовного опыта, а не только окружающей средой, у этих людей не было бы внутренних разладов. Я говорю о тех, для кого утрата мифа явилась тяжелым испытанием и кто не может обрести свой путь в этом мире, довольствуясь естественнонаучными представлениями о нем, причудливыми словесными спекуляциями, не имеющими ничего общего с мудростью.

Так вот.

Опираясь на умного и внятного доктора Юнга, довольно легко сказать наконец, что некоторые люди не могут жить без мифа, а некоторые другие могут. И водораздел между человечествами проходит именно здесь. Это просто разные виды, все, точка.

Когда нам навязывают рационализм — это все равно что рыба стала бы навязывать жизнь в воде сухопутному млекопитающему. Ачотакова, для рыбы вода — естественная среда. Пусть все так живут!

Ну да, можно какое-то время в этой воде побарахтаться. Можно научиться плавать. Можно даже начать нырять с аквалангом. Да много чего можно, на самом деле. Но сделать постоянное пребывание под водой нормой жизни при всем желании не получится.

Навязывая нам рационализм, нас просто убивают, причем медленным и мучительным методом утопления в унитазе. И чем раньше осознаешь свое священное право посылать в задницу все, что рациональненько движется, тем большая часть твоей жизни пройдет в естественной среде.

Еще в связи с этим мне, конечно, стало проще понять, какого черта я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Вместо того, чтобы интеллектуально поплевывать на все живое с ледяных вершин запредельного концептуализма, под который, честно говоря, моя голова заточена лучше, чем под все остальное. Но вот прямо сейчас, в текущих обстоятельствах, на этом языке лучшее, что можно сделать — увлекательно рассказывать максимально

достоверные истории о живительном проникновении мифа в так называемую объективную реальность. И я, получается, натурально делаю что должно и не пнявкаю.

Я у нас вообще молодец.

Я, конечно, прекрасно представляю масштабы монстра, против которого пру. И масштабы собственных усилий. И понимаю, что эта арифметика как-то, мягко говоря, недостаточно оптимистична. Большую часть жизни мне это было невыносимо.

Однако арифметика — это как раз привет от нашего доброго друга рационализма. Поэтому спокойно отодвигаем ее в сторону и забываем. Вообще не ставим вопрос таким образом.

Мне больше неважно, получится у меня что-то или нет. То есть, если называть вещи своими именами, у меня просто не может ничего получиться. Эта война проиграна заранее, задолго до начала. Но и это меня больше не трогает. Главное, что война развязана. Она уже сколько-то лет идет. И это само по себе — победа. Больше, чем можно было мечтать.

Поэтому спокойно и расслабленно, как на курорте, продолжаем сражаться с угрюмым миром рационального небытия. До последней капли крови, с любовью и удовольствием.

Снился человек, о котором было сказано, что он еще в юности заранее разрешил себе жить с разбитым сердцем. Точнее, твердо решил для себя, что в этом нет ничего страшного, а даже есть некоторые преимущества.

И с того момента (так было сказано во сне), он стал неуязвим.

Совершенно не важно, что у нас есть, и что с нами было. Важно, что мы с этим делаем.

Стабильность — иллюзия. То есть, стабильности вообще не бывает. В любом процессе всегда есть или развитие, или деградация. Довольно часто динамика происходящего настолько слаба, что ее почти невозможно заметить, но это не означает, будто динамики нет.

Стремление к стабильности и есть стремление к невозможному. Опасное, в первую очередь, потому, что деградация всегда больше похожа на иллюзию стабильности, по крайней мере, на первых порах. А развитие не похоже.

Последствия вполне очевидны.

Строго соблюдать правила, или осознанно отклоняться от них — это всегда вопрос личного выбора. Не самый принципиальный. Часто — вообще ситуативный.

Ужас начинается, когда соблюдающий правила начинает зыркать по сторонам и чувствовать возмущение, обнаружив, что нарушающие правила не наказаны.

Вот ровно на этом месте и разверзаются адовы врата.

Суббота — очень счастливый день в большом городе.

Я имею в виду, что таково среднее по палате настроение — по городу ходят люди, которые, по большей части, выспались, отдохнули и могут делать, что захотят. И знают, что завтра будет так же. Понятно, что есть и другие, но в описанном состоянии пребывает подавляющее большинство.

Пятница могла бы быть очень счастливым днем, даже круче субботы. Но для этого она слишком истерична. I want it all! I want it now! — таково настроение пятницы. На счастье это, прямо скажем, не очень похоже.

А вот воскресенье в большом городе — очень печальный день. Все, конечно, выспались и отдохнули, но точно знают, что скоро-скоро, то есть, прям завтра лафа закончится. И время пошло! И так оно, зараза, бодро пошло, что уже практически пришло. Охохонюшки.

Понедельник, кстати, вполне ничего, особенно после обеда. Все уже все поняли, смирились, вошли в обычный ритм и живут дальше. И во вторник, и в среду.

А потом наступает четверг. Если по уму, самое счастливое время в большом городе — это вечер четверга. Четверг весь, целиком устремлен в будущее, которое кажется определенно счастливым. То есть совсем потом, когда-нибудь нескоро, возможны глад, мор, чума и повышение цен на повидло, а еще потом мы все умрем, черт-черт-черт. Но ближайшее будущее вечером четверга мстится горожанину однозначно лучезарным. Потому что ближайшее будущее — это совершенно точно пятница. Предвкушение слаще обладания, известное дело, поэтому круче вечера четверга в большом городе нет вообще ничего.

Но на втором месте, определенно, суббота.

Хорошая же новость заключается не в том, что сегодня суббота. И даже не в том, что можно жить вовсе без дурацкого расписания, это и без меня всем известно. А в том, что в этом вот общем городском настроении, когда оно счастливое, можно купаться, как в море. А когда нет, можно не купаться, никто не заставляет.

(Вообще на этом уровне чуть-чуть более высокой, чем в среднем по палате, восприимчивости таится бездна наслаждений. И уровень этот доступен каждому, кто готов попробовать — для начала просто обращать внимание на то, что происходит вокруг и внутри, и, что особенно важно, внутри вокруга.)

Т

Те, кто полагается на чужое авторитетное мнение, говоря шире, ищет внешние опоры, непременно будут обмануты.

Далеко не всегда злонамеренно, далеко не всегда явно, но — будут.

Потому что внешняя опора, конечно же, существует, но она не интеллектуального свойства. Не из области суждений.

Единственная подлинная внешняя опора, данная нам в ощущениях — дух. Он, уж извините, нисходит. Или обрушивается. Разными причудливыми способами. Чтобы укрепить внутреннюю опору в том, у кого она крепка. И разрушить внутреннюю опору в том, у кого она хлипкая.

И это все о внешних опорах, прочее — дурная, бессмысленная, хоть и утешительная иллюзия.

Тем, собственно, и прекрасен декабрь, что в нем всегда есть место оттепели и цветущей форзиции, которые в декабре, теоретически, почти невозможны, а потому обретают совершенно особый смысл.

Весь мир — этакий бесконечный, бескрайний декабрь. Темный настолько, что свет здесь добывают волевым усилием. Но как же великолепно сияет здесь всякая ничтожная искра. Как они, как мы все сияем.

И чудо воскресения — как минимум трижды в день. Вместо зарядки.

То, что принято называть реальностью, целиком зависит от нашей интерпретации. Это, конечно, не означает, будто реально все, что мы нафантазируем. Фантазия тут вообще не при чем.

Ум постоянно интерпретирует сигналы, поступающие от органов чувств. Строго говоря, источники сигналов — и есть реальность. Но мы имеем дело не столько с самими сигналами (об источниках и не говорю уже), сколько с результатами собственной обработки их.

Реальность (то, что мы называем реальностью) — это осознанная часть воспринятой нами информации. Именно поэтому она у каждого своя. Но поскольку общий контекст сформировал у нас примерно одни и те же методы обработки, индивидуальные реальности похожи настолько, что нам кажется, будто она одна на всех.

Но мало ли, что кажется.

Хотя бы поэтому не стоит принимать на веру готовые чужие версии того, как здесь все устроено.

И поэтому же в процессе обработки поступающей информации следует опираться не на фантазию (умение свободно оперировать ранее усвоенными знаниями), а на воображение (способность сознания принимать и вмещать в себя еще

непознанное и даже в принципе непознаваемое).

Требуя реализма в искусстве (в первую очередь, изобразительном, но не только), человек изо всех сил отстаивает собственное право на антропоморфность (на первый взгляд, это вообще не право, а обязанность, точнее, данность, часть условий задачи, но не станем забывать о недолговечности этой формы).

Или еще точнее. Отстаивает свою антропоморфность как отстаивают правоту. Ну скажите, ну подтвердите же, что быть человеком (с более чем ограниченным человеческим аппаратом восприятия) — это единственно правильное! это самое лучшее! самое-пресамое разумное решение! Ну скажите же мне «да»!

Трагикомизм ситуации в том, что это не просто не так, а ровно наоборот. И все мы это знаем, но подавляющее большинство вполне успешно делает вид, что не. Тяжелый, неблагодарный и бессмысленный, в сущности, (хоть и полезный для биологического существования) труд.

Туман в нашем городе бывает подземный и небесный.

С первым все ясно, он поднимается снизу, окутывает землю, траву, потом древесные стволы, но не всегда достигает верхних ветвей и последних этажей даже совсем невысоких домов. Подземный туман красив, но нрав у него тяжелый, поладить с ним не всегда бывает просто. Однажды он гнался за мной по трассе, выползая из канав по обеим сторонам дороги, почти догнал на пороге дома, но как заблудшая в Бардо душа, испугался яркого белого света садовых фонарей и сбежал. Не знаю, куда.

Со вторым тоже все ясно, он всегда приходит сверху, сползает вниз с дальних холмов или просто проливается с неба, как манна, разбавленная водой до состояния сияющего киселя. Первыми исчезают последние этажи небоскребов и храмовые купола, потом все остальное, но примерно в паре метров над самой землей воздух остается прозрачным, и можно спокойно ехать ночью в автомобиле, не включая противотуманные фары, тем более, что от небесного тумана всегда делается светло, даже на улице Тауро, где дорога огибает высокий холм, а фонари почему-то никогда не горят.

А иногда бывает такой туман, о котором никак не можешь понять, откуда он пришел — сверху или снизу, потому что он пришел отовсюду сразу. Он окутывает избранные фрагменты реальности, клочьями лежит на дороге, проносится над самой головой как облака в горах. А потом приходишь домой, садишься в кресло, опускаешь глаза и видишь, как туман стелется по полу, ползет по ветхому хозяйскому ковру, стекает по стенам прямо тебе за шиворот, клубится вокруг головы, и уже не разобрать, где заканчивается туман и начинаюсь я; впрочем, это не к спеху.

Завтра проснусь и пойму.

У

У меня совершенно точно нет имени, а есть только несколько наборов звуков, на которые я контекстуально откликаюсь, проанализировав ситуацию и сообразив, что это обращаются ко мне. Когда-то тот набор, который записан в паспорте, меня раздражал, а прочие казались годной альтернативой, теперь же все они абсолютно равноценны в своей бессмысленности и практической полезности.

Ужасно интересно было бы узнать свое настоящее имя, если оно у меня каким-то образом есть. Что вообще-то не факт.

Утро вчерашнего вечера

Минувшей ночью был такой густой туман, что казалось — ничего не осталось на свете, кроме дома, в котором я нахожусь, и еще одного соседнего. Часам к двум он, впрочем, тоже понемногу исчез, и тогда во всем мире не осталось ничего, кроме меня. В качестве подтверждения исчезла телефонная связь. Интернет, впрочем, остался. Но кто же нынче всерьез верит в интернет.

И как же сладко и спокойно спалось мне при таком раскладе, знали бы вы.

Обнаружить все на месте, проснувшись, было не то чтобы удивительно. Напротив, ожидаемо и закономерно. Оно всегда оказывается на месте. Еще ни разу так не было, чтобы проснуться, а вокруг — вообще ничего.

Только у меня нет уверенности, что вчера реальность выглядела именно так. Впрочем, такой уверенности у меня нет вообще никогда. Без всякого тумана. Час — два после пробуждения — странное время, когда реальность как бы формируется заново, и знание об этом — опыт, который невозможно разделить ни с кем. Туман, вроде вчерашнего — это просто дополнительная надежда, что не померещилось. Впрочем, микроскопическая. Все это мы проходили уже не раз, сколько было таких густых ночных и предрассветных туманов, а наутро мир возвращался на место, как миленький.

Как дурак.

С другой (третьей, восемнадцатой, еще какой-нибудь) стороны, какая разница.

Х

Хоттабыч

Худощавый старичок шел по проспекту Гедиминаса и вдруг каааааак подпрыгнул. На метр, не меньше. А потом продолжал идти дальше, как ни в чем не бывало.

Длинная ухоженная борода прыгуна позволяет предположить, что старик Хоттабыч:

— жив и здравствует,

— не утратил вкус к путешествиям и приключениям.

Это, по-моему, прекрасная новость. Очень его люблю с тех пор, как чтением сказки про старика Хоттабыча папа отвлек меня от занимательного температурного бреда и не дал стать жертвой одесской холеры семидесятого года. Ну потому что какой идиот станет помирать, не дослушав сказку. Которая, прорвавшись сквозь жар и бред, стала, разумеется, частью собственной жизни; мне, честно говоря, до сих пор кажется, что впервые попасть в Италию мне удалось именно тогда, с Хоттабычем и мальчиками. О чем все время хотелось честно написать во всех соответствующих анкетах. Но я умею держать себя в руках.

С тех пор я очень хорошо знаю, зачем нужна литература. И как она должна происходить с читателем.

Ч

Человек состоит из двух частей, бессмертной и смертной. Первую очень условно назовем «осознанием», вторую столь же условно «умом».

(«Условно» — потому, что тут надо сводить словари; не сомневаюсь, что каждый называет этими словами что-то свое.)

И бессмертная часть человека всегда знает о своем бессмертии и смысле. А смертная точно так же всегда знает о своей смертности (и уже поверх этого знания громоздит всякие теории, кто во что горазд).

Обе правы.

Штука в том, на кого из них следует делать ставки. За кого цепляться, кого ощущать «собой».

Ответ, по-моему, очевиден.

Поскольку изначально человек отождествляет себя именно с умом, понятно, что из этой позиции следует уходить. Это очень трудно, но не невозможно; техник много, выбор очень индивидуален, заочно ничего не присоветуешь, кроме: пробуй, пробуй. Если работает, значит годится, как бы дико ни выглядело.

Теперь — внимание! — говорим не о мыслях, а об ощущениях.

Вот если есть ощущение смысла, внутренней логики всего сущего, общего течения и свечения, это означает, что нам удалось (хотя бы иногда удается) отождествлять себя с бессмертной частью. Перенести в нее все сознание целиком при жизни — и значит обрести бессмертие.

А состояние богооставленности во всех видах означает, что мы отождествляем себя со смертной частью (для большинства людей большую часть жизни это совершенно неизбежно, если ничего специально с этим не делать). И, следовательно, смертны и бессмысленны, все правда.

Сделать сознательный выбор в пользу бессмертия — вовсе не означает, что оно гарантировано. Но без этого шага не будет вообще ничего.

Зато после него — бесконечный эксперимент, подлинное приключение духа.

Человек средних лет в скучном хорошем костюме, со скучным лицом и даже сложения какого-то скучного, благонамеренного, плотно-спортивного, стоит у светофора в ожидании зеленого света и читает книжку. Приглядевшись, обнаруживаю, что это сочинения Бакунина.

Неожиданно вздрогнув, скучный человек оглядывается по сторонам, видит, что автомобилей нигде нет, и бежит через дорогу на красный свет, пружинисто подпрыгивая, как мальчишка.

Чем трудней дается мне работа над текстом, тем больше обнаруживается в нем счастья бытия — потом, задним числом, когда все уже написано. Легкого такого естественного счастья, совершенно на самом деле мне не свойственного в быту. Да и вообще вряд ли возможного в условиях текущей Кали-юги для кого-то кроме детей из очень любящих семей и сумасшедших, свихнувшихся в верном направлении.

Трудность, как понимаю я, и заключается собственно в добыче этого счастья из неиссякаемого, но очень глубоко запрятанного источника. Видимо из другой какой-нибудь Вселенной, где сейчас какая-нибудь другая Юга по расписанию. И приходится за ценным сырьем в какую-то хитрую шахту лазать и выносить оттуда хорошо если по ведру зараз. Обычно по фляжке.

Я — знатный добытчик, герой труда.

Чтение — это просто разновидность дружбы. Которая или складывается, или нет.

Книги, на самом деле, довольно редко чему-то учат. Зато очень часто дают подсказку, поддерживают, подставляют локоть, прикрывают спину, придают сил, помогают дожить до лучших дней. Но чтобы получить от книг все это, надо, во-первых, найти

то, что тебе подходит, и крепко за это держаться. И во-вторых, прикладывать усилия, восприятие текста — это всегда работа, хотим мы того или нет.

В дружбе все очень похоже, на самом деле. Один в один.

Чтобы пустить в дело формулу: «да не убоюсь я зла», — вовсе не обязательно ждать, пока черти с рогатками в ад потащат. Она прекрасно работает в обычных условиях, когда «зло» — это просто что-то недостаточно комфортное для наших нежных задниц. Например, зима в северных краях, или лето в южных. (Или пьяный сосед, или экзамен на курсах вождения, или — ну сами подставьте что-нибудь.)

Выходить из дома с заклинанием наперевес, как минимум, смешно. А это значит, что мы уже победили.

Ш

Штука в том, что большинство людей подсознательно полагают, будто за всяким принуждением стоят гарантии. В первую очередь, гарантии безопасности. И потому не только соглашаются на принуждение, но и хотят его, добиваются, ищут и находят, а получив вожделенное принуждение для себя, начинают требовать (как минимум пассивно желать) его для всех.

Понятно, что заблуждение это родом из младенчества, когда в роли принуждающих выступали родители и прочие взрослые, которые одновременно отвечали за систему жизнеобеспечения и худо-бедно справлялись с этой задачей.

Непонятно, почему это простенькое заблуждение имеет власть над таким количеством взрослых, условно вменяемых людей. Оно же с полпинка вычисляется и того же полупинка разоблачается, потому что — ну какие вообще могут быть гарантии с точки зрения мыслящей монады, включающей голову хотя бы на пять минут в сутки, вы что.

Непонятно также, почему всякому индивиду, достаточно разумному, чтобы передвигаться по улице без посторонней помощи, доносить ложку до рта и даже время от времени получать необходимые справки, не очевидно, что за принуждением может стоять только одно: интересы принуждающего, кем бы (чем бы) оно ни было. То есть, возможность сожрать принуждаемую особь максимально вкусно, комфортно и в удобный для принуждающего момент. Ну просто чтобы даже не искать и не гоняться.

Здесь вообще всех едят, вы что не знали?

Нет, правда, не знали?

Ну вы даете.

Э

Электричка от главного Мюнхенского вокзала едет до Фельдафинга все те же сорок с небольшим минут, что и раньше, ресторан возле станции все еще работает, и это по-прежнему единственное место в городке, где можно выпить кофе после полудня; до одиннадцати утра работает еще кондитерская, а потом — все.

В ресторане полно народу, в ожидании заказов они поют песни — на трезвую голову, не сомневайтесь. Да и с чего бы им не петь, обитателям райских кущей, золотых и огненных по случаю октября. «Тэ мит рум?» — спрашивает меня старый кельнер.

Чай с ромом, о господи. Мы жили здесь пятнадцать лет назад, и он до сих пор помнит мой последний заказ, точнее, три моих последних заказа. Времени, похоже, действительно не существует, по крайней мере, в Фельдафинге, вот и дед этот не изменился, не постарел, да и с чего бы ему стареть, если чай с ромом он подавал мне максимум позавчера.

«Кафе мит мильх», — говорю я, потому что все-таки очень нужно выпить кофе, беру огромную пузатую чашку и иду на веранду. «Цу кальт! — кричит мне вслед старик. — Цу кальт!»

Очень холодно им в плюс десять, понимаете ли. Изнеженный народ, что с них взять. Потом, четверть часа и сигарету спустя, несу чашку обратно, чтобы не выскакивал бедняга на лютый мороз. Певучие клиенты дождались заказа, жуют молча, только один совсем уж древний бородач в углу выводит рулады, чтобы народу без музыки не скучать.

Небесная Лестница, ведущая с Хохштрассе вниз, к озеру Шторнберг, и примыкавшая раньше к территории виллы Вальберта — мне ли не помнить, как лазали мы через ограду — все еще существует, только отделена теперь от виллы двумя чужими палисадниками.

Нет занятия увлекательней, чем подглядывать, как меняется этот не самый пластичный из миров, восклицая про себя: не безнадежен! Все-таки не безнадежен!

Эпоха документальной правды закончилась для человечества навсегда.

Документальной правды больше нет. По техническим причинам.

Не то чтобы это случилось вот прям вчера. Документальной

правды и за тысячи лет до изобретения первого фотошопа было, прямо скажем, гораздо меньше, чем принято полагать.

Просто сейчас невозможность документальной правды демонстрируется с беспрецедентной наивной простотой телепередачи моего детства «Абэвэгэдэйка», где взрослые, переодетые клоунами, из года в год, от сезона к сезону учили один и тот же алфавит. И никак не могли доучить, потому что сезон заканчивался, дети-зрители вырастали, шли мотать первый год школьной каторги, и все начиналось сначала. Мне, кстати, именно тогда стало ясно, что взрослые — совсем дебилы. Как ни странно, это оказалось правдой. Так неверные наблюдения приводят порой к безошибочным выводам.

Но не будем отвлекаться.

Так вот, времена, когда взрослый ответственный человек мог позволить себе расслабиться и поверить документальной съемке или, прости господи, фоточке, или так называемым свидетельствам так называемых очевидцев, или подписям на каких-нибудь бумагах — эти времена безвозвратно ушли. На самом деле, они давным-давно ушли, просто мало до кого это доходило. Но если и теперь не дойдет, то я и не знаю даже какой еще палкой надо молотить людей по башкам для полного просветления. Наверное уже и никакой. Чего палку зря мучить, не поможет.

Документальной правды больше нет, и к этому надо привыкать. На практике это означает, в частности, что в любой момент в интернетиках может появиться неограниченное количество видеоматериалов, изображающих, как человек с лицом любого из нас, на выбор, трахает коз и сирот, убивает старушек, танцует тайный мистический гопак в синагоге, с бомбой крадется к посольству республики Кирибати, зверски отнимает корм у детенышей панды, в костюме Гитлера возглавляет гей-парад. И так далее. Наличие подобных порочащих документов вообще никак не зависит от нашего поведения. А только от наличия в нашей жизни людей с соответствующими техническими навыками, которым по какой-то причине нравится так развлекаться. И все.

Вот о чем надо помнить, рассматривая так называемые документальные кадры с участием других людей: у любого участника любого документально зафиксированного события может оказаться твое лицо. Это легко сделать.

И все остальное тоже не очень сложно. Было бы желание.

Интересно, на самом деле, не кричать: «Ужас-ужас!» — а подумать, что из этого следует.

А вот что.

Ситуация хороша тем, что наглядно демонстрирует простую, но почему-то не общеизвестную пока аксиому: внешней правды вообще нет. И никогда не было. Есть только внутренняя правда — та, о которой так много, глубоко и невнятно говорили китайские товарищи в лице Лао нашего Цзы.

И те, кто не научится опираться на одну только внутреннюю правду, погибнут под лавиной лжи.

А кто научится, сделает немалую часть домашней работы, ради которой рождается на земле человек.

Еще интересней вот что. На самом деле мы обычно автоматически верим тому, во что поверить проще и приятней всего — именно нам, таким, каковы мы есть. Любая вера (и ее отсутствие) — просто оптимальные условия функционирования конкретной психики данного носителя веры. Разрушь веру — получишь кризис; дальше — по обстоятельствам. Это понятно.

И сейчас как никогда важно сделать процесс выбора веры осмысленным. Благо так называемых документальных фактов всегда наберется достаточно для любой версии. Но ответственность за веру лежит на том, кто ее выбрал. Доверчивость больше не признак невинности, а результат волевого акта.

Это, на самом деле, всегда было так. Но сейчас внешние обстоятельства делают все возможное для того, чтобы до нас это наконец-то доперло.

Спасибо им за это.

Эта разновидность одиночества знакома многим. Когда человек окружен семьей и друзьями, но поговорить о том, что иногда видит, как ткань бытия выворачивается наизнанку, швами наружу, как летит мимо густое чужое прошедшее время, как реальность трескается подобно разбитому стеклу, и из трещин льется невидимый глазу, но физически ощущаемый свет — не с кем.

А если бы не было художников, было бы не с кем обо всем этом даже молчать.

Я

Я думаю, что снег, который идет и сразу же тает, потому что очень тепло (например, +4, как было у нас нынче вечером), немедленно попадает в рай — в ту его часть, где обитают ушедшие от нас собаки и все наши хорошие кошки. И может быть, всякое другое зверье. Например уж, который когда-то жил у нас дома и не отвечал нам взаимностью на любовь, но каким-то

удивительным образом будил ее в сердце, хотя, казалось бы, что там было любить. И те из людей, о которых при жизни одни раздраженно говорили, что они никак не расстанутся с детством, а другие любили их той самой любовью, которая обычно достается собакам и кошкам. Звучит довольно пренебрежительно, а на самом деле такая любовь — лучшее, что у нас получается в непростой науке любить.

Так вот, снег, который идет и сразу же тает, немедленно возрождается в той области рая, где кошки, собаки и некоторые люди радуются ему, носятся как угорелые, ловят снежинки кто руками, а кто языком, а потом люди непременно затеют лепить снеговика, а собаки и кошки будут им в этом деле мешать — не критично, а немножко, для смеха. А ангелы, которых, ясное дело, в любой части рая полно, сперва стоят смущенно в сторонке, а потом присоединяются к общему веселью. Говорят: «У нас тут где-то были спрятаны санки, кажется, лежат под Господним престолом, подождите, не расходитесь, сейчас будем кататься с горы».

Вот куда девается этот снег, имеющий неосторожность падать на землю в теплую зимнюю ночь и сразу же таять бесследно.

А если кто-то скажет мне, что рая нет, а уж тем более, такой его части, где все наши кошки, собаки и вечные дети счастливы друг с другом — ну и что с того, что без нас — это будет всего лишь ваше слово против моего, и я вам заранее не завидую, потому что мое слово крепко, от него и синяк может остаться, со мной лучше не спорить, по крайней мере, в столь важных вопросах, как этот: что случается со снегом после того, как он растаял?

Я открываю рот, чтобы сказать: «а», — и тут же захлопываю, потому что мое «а» будет опять про погоду, про изумительные ноябрьские бархатные плюс девять с тонкой шелковой морозной прокладкой воспоминаний о будущих холодах. С тех пор как ангелы Небесной Канцелярии взяли на себя заботу о хризантемах на моем балконе, которые распускают бутон за бутоном, забив на календарь, мне неловко писать о погоде, это совсем уж запредельное хвастовство.

Совесть надо иметь.

Но самое важное это, конечно, не хризантемы, а запах. Теперь всюду в городе устойчиво пахнет берлинским мартом тысяча девятьсот семьдесят третьего года, когда я иду из школы по улице Рейнских камней, в конце которой живу, и где-то далеко кричит горлица, а я по малолетству не знаю, что горлица, думаю почему-то, кукушка, и считаю, сколько мне суждено жить, а она все кричит, а я все считаю, за квартал от дома останавливаюсь,

продолжаю считать, и дохожу примерно до пятисот, когда мне навстречу выскакивает мама, озабоченная тем, что все соседские дети уже давно вернулись из школы, а я еще нет, орет, тянет меня домой, а я думаю, что ее вопли невысокая плата за грядущее бессмертие, молчу, ничего не говорю, о таких вещах родителям не рассказывают. И вообще ни о чем важном, взрослые важного боятся, ну их совсем.

Сейчас, когда я точно знаю, что это была горлица, смешно думать, что вместо бессмертия она сулила мне блаженное отставание в развитии, вечное «жизнь только начинается», подростковую погоню за смыслом бытия (не догоню, так согреюсь), готовность жить дальше на любых условиях только потому, что вот прямо сейчас в небе летит самолет, а в самолете — летчики, и я не я буду, если не заберусь однажды в их шкуры, чтобы узнать, как выглядит полет с их точки зрения, и даже чем был для них вот этот конкретный заход на посадку шестого ноября две тысячи одиннадцатого года в семнадцать тридцать по восточноевропейскому времени, каким был запах этого мгновения, его цвет, звук, смысл.

Я очень люблю подростков.

Всех и каждого, глупых и агрессивных, самодовольных, прыщавых, робких, сексуально озабоченных, садистов и подлецов, трусов и снобов — просто за то, что они живы. Как увижу их на улице, смотрю и радуюсь — ух!

Потому что подростки — это и есть весна. Так выглядит цветение в человеческом исполнении — дикая, невыносимая, животворящая мука.

Я помню, как это. И преклоняюсь перед мужеством подростков, хоть и понимаю, что оно вынужденное, выхода другого нет, кроме смерти, которая в это время всегда настолько рядом, что многих эта близость калечит на всю оставшуюся жизнь.

Все эти мелкие, глупые, прекрасные — есть. Всегда рядом. Ничем не хуже цветущих яблонь, на самом деле. Местами даже пронзительней. Весна, стало быть, вообще не прекращается, только смотри по сторонам.

«Я так вижу» — достойный и честный аргумент в устах любого художника, вне зависимости от того, нравится нам результат его работы, или нет.

То, что аргумент этот в, условно говоря, общественном сознании превращен в посмешище, представляется мне симптомом куда более опасным, чем, скажем, уровень бездарности работ, авторы которых любят говорить эту фразу. Бездарность — дело житейское, кто только не бездарен в той или

иной области. Когда бездарный художник говорит: «я так вижу», — он, по крайней мере, честен. Отстаньте от него, играет, как умеет. А дальше или ощутит внутреннюю потребность учиться и тогда уж, будьте покойны, выучится, или не ощутит, и станет прахом. Но это не наше собачье дело.

Способность к обучению (и сопутствующая ей настоятельная потребность учиться) сама по себе дар, который или есть, или нет. А если нет, может проявиться, или не проявиться. Нас это, в любом случае, не касается.

Наличие счастливой способности обучаться совершенно не зависит от желания окружающих учительствовать. Которое, как всякую недостойную страсть, следует обуздывать и не демонстрировать публично. Лучше уж кур драть прилюдно. Мало что выглядит со стороны так жалко и нелепо, как непрошенное учительствование, будь вы хоть главный в мире специалист по теме.

Хотя главный специалист обычно по уши занят делом, такого еще поди уговори, чтобы научил.

Абсолютно обо всем, что делаю, я с чистой совестью могу сказать: я так вижу. И не представляю себе иной позиции честного художника.

Я так нагло вру самим фактом своего существования, что во всех остальных случаях не могу говорить ничего кроме правды.

Ясно же, что все — сосуществует. Тошный ужас органического бытия и «жизнь-как-чудо». Правда состоит в том, что есть и то, и другое.

Мне кажется, среднестатистический человек чувствует себя Очень Умным, когда (обычно в подростковом возрасте) открывает для себя Ужас. И всякий раз, разглагольствуя об Ужасе, снова и снова ощущает себя Очень Умным.

Это, как догадываюсь я, очень приятно. Так приятно, что множат и множат болтовню об Ужасе, которая по сути — такая же глупость, как младенческое лепетание о добре. Только лепетание о добре невинно, а глупая болтовня об Ужасе преступна (незнание законов силы слова не освобождает от ответственности).

На самом деле Очень Умный — это тот, кто видит целую картину, тошный ужас и чудо, все вперемешку, одним комком. Но и на этом останавливаться не следует. Быть умным приятно первые пять минут, но не всю же жизнь этим наслаждаться.

И вот тогда начинается самое интересное. Когда мы включаем волю и внимание, отделяем устраивающее нас от не устраивающего. И говорим: «будет по слову моему».

Можно, конечно, и в лоб получить за такую постановку

вопроса. И часто получаешь! Ну и подумаешь — в лоб. Учишься на ошибках, копишь силу, идешь дальше. Будет по слову моему, и точка. Потому что исцелять мир своей волей и славить его — повседневная обязанность человека на этой земле. Всякого человека, не только писателя. Но уж для писателей это вообще должно стать общим местом. Или ты исцеляешь, или ты враг рода человеческого, предатель доверившихся твоему слову, и Люцифер жует тебя вот прямо сейчас, от начала времен, морщась и плюясь всеми ненасытными пастями.

НаперSники синея

— А у меня вопрос про вашу книжку «Наперсники синея»… — сказал читатель.

— ЧТО?!

В конце концов выяснили, что он имел в виду книжку «Няпиzдинг сэнсэ». Теперь ясно, как должен называться второй няпиzдинг (у нас были нелепые, негодные версии: «Няпиzдинг-2», «Няпиzдинг всегда с тобой», «Возвращение кровавого няпиzдинга»). Но читатель Максим Логунов спас нас от позора и великодушно разрешил использовать его вариант в своих негодяйских целях. За что ему огромное спасибо.

N

Now I know

W.H.

— Все-таки ничего волчьего[7] я в этом городе не вижу.

— Я тоже.

— Наверное, мы чего-то важного не знаем о волках.

— Да ну… Нет, слушайте! До меня только что дошло. Это был не волк. Князю приснился койот. Тогда все сходится: койот же у индейцев проводник в мир духов, главный культурный герой и вообще божество. Князю совершенно точно приснился койот! Тогда понятно, почему такой город получился.

— Да, тогда понятно.

— Просто князь же никогда не видел койотов. И про индейцев не читал. Подумал — волк. Ну, мелкий, да, рыжий, хлипкий какой-то.

— Но все равно похож.

— Ну! И тут приходит жрец, спрашивает, что приснилось. И князь ему честно говорит: волк! А что слишком мелкий, так о том жрецу знать не обязательно. Неловко же вот так сразу признаваться, что тебе, великому князю, приснился какой-то несерьезный волк. Он наоборот, решил прихвастнуть. Сказал: «Волк был железный!»

— Точно. Это компенсаторное.

— Ну и пошли сразу строить город. Раз уж такое дело, железный волк приснился. Хоть и койот.

A

А потом пришли домой и сели ужинать

На стене на улице Скапо висят бумажки с вопросом: «Чего ты ждешь?» И чистое поле для ответа. На некоторых бумажках ответы уже есть: «Путешествия», «Любви», «Когда сдам экзамен», — и так далее.

Достаю из кармана карандаш и пишу правду: «Себя». Потому что действительно жду не дождусь. Вечно я где-то шляюсь.

Я живу сейчас таким интересным образом, что дорога в Старый город и прочий центр неизбежно пролегает через весь Ужупис. Мне всегда казалось, что Ужупис слишком прекрасен, чтобы там как-то специально гулять, через него надо бегать по делам, как минимум, дважды в день. Можно чаще.

Ну вот, бегаю теперь. От порога до ангела — пятнадцать минут обычным, не медленным, но и не стремительным шагом. Надеюсь, еще долго не надоест.

Район, где я живу, похож на Карлсхорст моего детства

больше, чем любое другое место на земле. Возможно, даже больше, чем современный Карлсхорст. Здесь на невысоких холмах стоят редкие условно новые пятиэтажки вперемешку с частными домами, окруженными невысокими заборами и палисадниками. И куда ни посмотришь, всюду лес (на самом деле это парки, но наши виленские парки — это просто куски леса, через который пророс город, так что все сходится).

И запах, божечки. Тот самый запах близкого леса, смешанный с запахом близкого неба. Вы знаете, как пахнет небо? Я знаю с детства. Но описать, конечно, не могу. Нет нужных слов. Немножко влагой, как море, только без соли и водорослей, немножко свежеиспеченным хлебом неизвестного мне сорта, немножко снегом, немножко разогретым камнем, что совершенно логично: небесная твердь постоянно, даже зимой нагревается от близости звезд. Остальные компоненты непостижимы и неопределенны, как все самое интересное, увы.

И когда я вечером иду домой через Ужупис, глазею по сторонам, мне, как в детстве, кажется, что за каждым окном живут очень счастливые люди. И что у них очень интересная жизнь.

В детстве думать так было для меня не просто легко, а естественно. Я по природе сокрушительный, неубиваемый оптимист, который портил книжки, дописывая после каждой сказки, заканчивающейся словами: «Они жили долго и счастливо и умерли в один день», — «А ПОТОМ ПРИШЛИ ДОМОЙ И СЕЛИ УЖИНАТЬ». Мне это казалось естественным развитием событий после смерти, о которой доподлинно известно (было мне тогда), что она — просто путь домой, очень долгий и трудный путь, как из дальнего леса с полными корзинами грибов — час пешком до станции, час на электричке, еще пятнадцать минут по своей улице, немножко на горку, вверх. После такой прогулки надо сразу идти на кухню, пить чай с тем самым хлебом, которым пахнут небеса. И только потом раздеваться и в ванную.

Взрослый человек, который получился из этого нелепого оптимистического ребенка, к несчастью своему, обладал недюжинной способностью наблюдать факты и делать из них выводы, по большей части, скорее верные, чем нет. И очень быстро просек, что за светящимися в ночи леденцовыми окнами скрываются, в основном, бедные зайцы, чтобы не сказать, несчастные мудаки. И жизнь у них, в лучшем случае, просто неинтересная. Какая она в худшем случае — ничего не хочу об этом знать. Унесите. Спасибо.

Этот взрослый человек никуда не делся. Будем честны, он — это я.

Но я — не только он, вот в чем штука. Этот мрачный взрослый человек с аналитическим умом и беспощадным сердцем наперевес — очень небольшая часть меня. Чуть больше перчатки, но гораздо меньше самого куцего пальто, не о чем говорить.

И когда сегодня этот взрослый человек, шел домой через Ужупис, он (она, оно) смотрел на светящиеся в темноте окна и думал, что за этими окнами живут очень счастливые люди. И что у них очень интересная жизнь.

Сам думал, никто его не заставлял.

И это означает, что бумажки на улице Скапо, вопрошающие: «Чего ты ждешь?» — работают не только эффективно, но и быстро. Очень быстро, примерно за десять минут срабатывают.

Очень рекомендую.

Адвокат Д.

— Вызовите, пожалуйста, скорую помощь.

Старик говорит по-русски, опирается на два костыля, выглядит, как бездомный пьянчужка, однако совершенно трезв. Узкое, как ребро ладони, темное лицо, перебитый (не сейчас, давным-давно) нос, васильково-синие глаза.

— Вызовите, пожалуйста, скорую помощь.

Выглядит он при этом явно не умирающим. И передвигается бодро — насколько это возможно для человека на костылях.

В «Кофеине» у входа в торговый центр «Европа» еще не убрали уличные столики. И правильно сделали, сегодня, например, плюс десять. Очень теплый у нас нынче ноябрь. Почти все места заняты, но вызывать скорую помощь никто не хочет. Отворачиваются, пожимают плечами, отводят глаза. Я смотрю на них с такой же надеждой, как синеглазый дед. То есть с гораздо большей надеждой, потому что — помните, бродила одно время по интернетам карикатура: «Земля сейчас взорвется, но вы можете предотвратить взрыв. — Что надо делать? — Всего лишь позвонить по этому телефону. — Позвонить по телефону? Ой… я… ну ладно… а может быть?.. — Бабах!» Так это про меня. Я не просто не люблю, я НЕНАВИЖУ звонить по телефону. Друзьям еще ладно, знакомым — туда-сюда, а в справочную например, или в ту же скорую помощь — проще умереть.

Но если надо, звоню, конечно. Фобии фобиями, а надо — значит надо.

Ну и вот сейчас мне бы конечно хотелось убедиться, что в скорую помощь позвонил кто-нибудь другой, и пойти по своим делам. Но нет, елки, никто не хочет связываться с непонятным дедом, все отворачиваются, ладно, убейте меня пожалуйста кто-нибудь, все, все, 911, экстренный вызов, звоню, объясняю ситуацию, говорят: «Сейчас приедем». Спрашиваю: «Мне

подождать?» — «Да, обязательно».

Ну йопта, блин.

Дед тем временем понял, что никто ему помогать не собирается и побрел прочь. Пришлось догонять.

— Эй, — говорю, — стойте. Вы теперь моя добыча! Даже не вздумайте удирать.

— Что?!

— Скорая помощь сейчас сюда приедет, — говорю я. — Если вы к тому моменту уйдете, они мне голову оторвут. И сделают укол. Знаете, как я боюсь уколов? Уууу!

Дед смотрит на меня, как на психа, а потом наконец понимает, что я шучу. И расплывается в улыбке.

— Так что, вы правда скорую помощь вызвали? — спрашивает он.

— Ну да. Вы же просили.

— Спасибо, — говорит дед. — Хоть один хороший человек нашелся. Хоть один человек! А эти все вообще как не люди.

— Да ладно вам, — говорю я. — Они все вполне себе люди. Нормальные, не злые. Просто жизнь сейчас такая дурацкая, все очень устают. И не хотят никаких новых проблем. Своих выше крыши. И они все не кончаются. На чужие проблемы просто нет сил.

— Ну позвонить-то нетрудно, — говорит дед. — И даже бесплатно.

— Понимаете, — говорю я. — Позвонить нетрудно. Но это же ответственность. Вот если вы, например, сейчас уйдете, меня оштрафуют за ложный вызов — и привет. Люди боятся ответственности, штрафов, наказаний. Да они вообще всего нафиг боятся и постоянно друг друга пугают, а потом еще больше боятся, такая у них жизнь.

Дед недоверчиво качает головой.

— А что, правда оштрафовать могут?

— За ложный вызов? Да запросто, — говорю я, хотя на самом деле точно не знаю. Просто предполагаю. Должно же быть какое-то разумное объяснение, почему из пары десятков человек, тусивших у входа в торговый центр, никто не захотел сделать бесплатный звонок в службу экстренной помощи и вызвать врача.

— И еще тот, кто вызвал скорую помощь, должен ее дождаться, — говорю я. — А неизвестно же, сколько они будут ехать. У меня просто время есть, я никуда не опаздываю. А люди, наверное, с работы на десять минут выскочили кофе выпить, им задерживаться нельзя. Они поэтому не захотели звонить. А не со зла.

— Ну да, — соглашается дед. — Если надо ждать, тогда

понятно. Я думал, можно просто позвонить и уйти. А оно вон как.

— А оно так, — говорю я. — Все в общем нормальные люди. Просто устали, спешат и боятся. А так — вполне ничего.

А про себя вдруг думаю: хорошо, если это ангел небесный к нам с проверкой явился. Очень удачно, что он на меня напоролся. Я любому ангелу могу объяснить, какие у нас нынче проблемы самые актуальные: страх и усталость, усталость и страх. И если в этом месте немножко подкрутить гайки, в смысле наоборот, раскрутить, то все может и ничего будет. Ну, то есть у меня такая версия, а как на самом деле, экспериментальным путем надо проверять.

— Здесь раньше было пусто, — вдруг говорит дед, простирая руку над площадью Европы.

А я думаю, надо же, как здорово это у него получилось — вроде про площадь сказал, здесь и правда раньше был пустырь. А вроде и про весь мир. Который тоже когда-то был пустынен, если верить некоторым источникам.

— Мне об этом рассказывали, — осторожно соглашаюсь я, так, чтобы получилось и про площадь, и про весь мир. — Но меня тогда здесь не было. Я тут сравнительно недавно живу.

— Издалека? — понимающе ухмыляется дед.

— Издалека, — соглашаюсь я.

Что во всех смыслах вполне себе правда.

Некоторое время мы умиротворенно молчим. Наконец на площадь перед торговым центром выруливает скорая помощь, из машины выскакивает молоденький врач.

— Я могу идти?

— Да, конечно, — отмахивается он.

— Выздоравливайте, — говорю я старику. И на всякий случай — а вдруг все-таки ангел-инспектор? — торопливо добавляю: — И не сердитесь на всех остальных. Они устали, у них нет времени, им страшно. А то были бы вполне ничего.

И поспешно низвергаюсь под землю, во тьму подземного перехода, где адвокатам-любителям вроде меня самое место.

Алфизика нетвердого тела

Некоторые необратимые, роковые поступки, когда их совершают люди сильные, страстные, необузданные и исполненные любви, могут дать очень интересный эффект. Пространство вокруг совершившего роковой поступок постепенно становится магическим. Потому что сила его желания отменить случившееся неописуемо велика, однако ее обычно не хватает на то чтобы его действительно отменить — это самое невозможное из невозможного, никому не по зубам.

В результате мы получаем источник невероятной силы,

которая не может быть использована по прямому назначению, и в итоге творит что заблагорассудится — не ее страдающему от непоправимого источнику, а миру вокруг.

Ясно при этом, что от необратимых поступков бездушных негодяев никакой практической пользы. Равно как от необратимых поступков добрых и совестливых, но недостаточно сильных духом людей.

Ангел Дживз

На самом деле следовало бы просто записать в дневнике: «Кормили ангелов сахаром». Или: «Дали ангелу божьему две конфетки». Это была бы чистая правда — в той самой любимой мною форме, когда сухие факты похожи на фрагменты чужого сна.

Тем не менее.

Когда-то давно мне про этот Холм Ангелов рассказывала знакомая, у которой подружка живет под Тракаем. Ну как — рассказывала, просто мельком упомянула: «Она живет возле Холма Ангелов». И мне так понравилось, как это звучит, что не захотелось уточнять.

Прошло несколько лет, и вчера гость города Х. вдруг спросила: «А вот знаете ли вы Холм Ангелов где-то возле Тракая и как туда добраться?»

Пришлось пообещать, что обязательно узнаю дорогу. Но обещание, каюсь, вылетело из дырявой моей головы.

Но кого остановит чужая дырявая голова. Ангелы сами позаботились, чтобы мы узнали о них.

Сегодня с другим гостем города Н. внезапно поехали в Тракай. Ехали моей любимой длинной дорогой, уже почти приехали, как вдруг Н. спросила: «А что это там за ангелы справа от дороги?»

Ну и оказалось, что рядом с дорогой, по которой я езжу примерно пару десятков раз в год, на самом виду красуется этот самый Холм Ангелов (настолько пологий, что холмом я соглашаюсь считать его только условно, для красоты звучания фразы), густо покрытый деревянными ангелами.

Нет, вру. На самом деле не очень густо. У них там необъятный простор.

Ангелы бывают такие:

— Ангелы скамеек. Это ангелы, просто сидящие на скамейках. Рядом с каждым ангелом много свободного места, так что можно сесть рядом.

— Ангелы-скамейки. В отличие от первых, которые антропоморфны (ангеломорфны), эти выглядят именно как скамейки. Но крылатые! Я думаю, это просто скамейки, которые

при жизни достигли просветления. И теперь доживают в таком виде.

— Ангелы-специалисты. Это, конечно, самое интересное. Специализация у каждого ангела своя. Есть ангел любви, ангел здоровья, ангел надежды (очень, очень печальный), ангел хороших новостей (этот стоит далеко-далеко на отшибе, к нему нужно брести через поле, где цветут редкие маки и васильки; подозреваю, кроме нас никто до него еще не добирался, поэтому хороших новостей так мало). И еще много разных хороших ангельских специальностей, все не упомнишь. Среди ангелов разных общегуманитарных ценностей выделяются ангел самоуправления Тракайского района, ангел какого-то кооператива, ангел соседней школы — стоят среди прочих, никто их не дразнит и не задирает, все профессии почетны.

— А еще есть ангел божий. Вот просто Dievo angelas, и все, так и написано. Он самый большой, самый красивый и самый мрачный. Практически в отчаянии. И явно очень устал. Мы сразу поняли, что он состоит при Господе, как Дживз при Вустере. Не позавидуешь! Очень трудная жизнь.

Штука еще и в том, что возле всех ангелов-специалистов (кроме ответственных за конкретные организации) стоят специальные ритуальные железные деревья для подарков. Ну, то есть такие штуки, на которые подарки удобно вешать. И больше всего подарков у ангела любви — ничего не поделаешь, всем женихов надо. На втором месте ангел здоровья. У остальных — понемножку, или вовсе никаких подарков нет. Очень за них обидно!

Дарят же ангелам в основном… Правильно, ангелов! Сувенирных и самодельных, керамических и вязаных крючком. Какие есть, таких и дарят, короче. Видимо, чтобы ангелам было с кем дружить.

Когда мы увидели, что ангелу дружбы не принесли ни единого подарка, мы возмутились окончательно и решили исправить положение. Но ангелов у нас при себе не было. Зато был сахар из кафе. Пришлось дать ангелу дружбы сахар.

А божьему ангелу Дживзу мы отдали две конфетки, тоже из кафе. Которые прилагаются к кофе, а мы не съели, припрятали. И правильно сделали, как выяснилось. Когда мы уходили, оставив конфеты, он больше не выглядел мрачным. Просто задумчивым и усталым. Но это в его положении неизбежно.

Ангел, которым меня родили, стал совсем-настоящим-обыкновенным-человеком в возрасте пяти с небольшим лет.

Совсем-настоящий-обыкновенный-человек начинается со страха. Мне и так было это понятно, но теоретически. Теперь

знаю точно.

У меня было очень счастливое детство, мне удалось прожить без страха (без представления о том, что такое страх) очень долго. Целых пять с лишним лет. Царский подарок на самом деле. Потому что до своего пятилетнего сознания дотянуться гораздо легче, чем до младенческого. Может и дотянусь.

Утрата невинности (а впустить в себя страх — это и есть утрата невинности) совершенно необходима для того, чтобы потом к этой невинности вернуться осознанно, вопреки опыту и вообще всему. Ясно, что совершенно невозможно, ну так а зачем еще мы здесь собрались? Это прекрасное упражнение развивает прямые мышцы сознания и косые мышцы кармы.

Армагеддон онлайн

Похоже, что стремительное развитие именно информационных технологий — это, в первую очередь, создание безупречного инструмента эскалации страха и ненависти в среднеарифметической тушке среднеарифметического же пользователя.

Мало что упрощает сознание так эффективно, как страх и ненависть.

Поэтому страх и ненависть — чувства, испытывать которые нельзя себе позволять. Как нельзя пограничнику в военное время пропускать врага на охраняемую им территорию. Потому что время уже давно военное. Последняя Битва, о которой так много говорили товарищи Вельвы, просто растянулась на очень-очень много лет. И внешне далеко не всегда похожа на битву.

Есть, грубо говоря, две культурные парадигмы. Одна направлена на развитие сознания, другая — на упрощение и скотоморфирование его. Проявляться это может сколь угодно разнообразно, принимать самые неожиданные формы, но суть всегда в общем очевидна. И где на этой войне наши, а где нет, тоже видно сразу.

Им (не нашим), кстати, тоже сразу видно.

Хитрая фишка тут в том, что когда ты боишься и/или ненавидишь врага, автоматически начинаешь играть на его стороне. Сколь бы оправданным ни был страх и сколь бы справедливой ни была ненависть, они упрощают сознание. Такая засада.

Предпринимать действия против врага при этом можно и нужно. Просто без страха и ненависти. Это возможно (строго говоря, только так и возможно) для развитого сознания, белив ми.

И еще одну штуку скажу, совсем простую. В этой затяжной последней битве победит или парадигма развития сознания, или

никто. Потому что в качестве еще одной породы обезьян человек на этой планете на хрен не нужен. Он для другого придумывался. Или будет работать на свое высшее предназначение (быть полигоном для выращивания и тренировки духа), или спокойной ночи, малыши.

Б

Божественная фамильярность

Цыганский Симфонический оркестр Будапешта — это когда примерно полсотни развеселых божеств приходят на землю, как в кабак, вселяются в примерно полсотни человеческих тел и пересотворяют мир заново — не потому что прежняя версия была неудачной, а просто ради бесконечного счастья еще раз его сотворить.

Цыганский Симфонический оркестр Будапешта вообще, в первую очередь, про бесконечное счастье. В том виде, в каком оно доступно прямо здесь и сейчас, на этой земле — в те редкие моменты, когда слабый и глупый, из костей, мяса и повседневных забот слепленный человек становится вратами в небо. И все, кто оказался поблизости, в эти врата неизбежно входят. Потому что это не вопрос выбора, никогда не вопрос выбора. А только возможности, которая или есть, или нет.

Когда играет Цыганский Симфонический оркестр Будапешта, она есть, я точно знаю. Врата отворились, и мы вошли. На небесах было хорошо. Но и вернуться потом обратно на землю — тоже ничего себе. Путешествие можно считать по-настоящему удавшимся, когда возвращение не приносит разочарования, вы это знали? Я, кажется, нет. До сегодняшнего дня — нет. Теперь-то, конечно, знаю.

Они, эти венгерские симфонические цыгане, играют, сияя от счастья. От той его простой и чистой разновидности, которая — следствие полноты, целостности и уместности человеческого существа. Они адресуют друг другу и за компанию залу легкомысленные, как бы ни к чему не обязывающие улыбки, они играют без нот, с божественной фамильярностью небожителей, без тени старания и тем более опасения совершить ошибку. Не может быть никакой ошибки, когда музыка — это и есть ты.

Бытие определяет сознание лишь отчасти, степень влияния условий и обстоятельств на формирование сознания всегда очень индивидуальный вопрос. Зато сознание целиком определяет бытие. Речь не столько о персональном сознании каждого, сколько о сумме сознаний всех нас, одновременно

живущих сейчас, здесь, на этой земле.

И тут, к сожалению, действительно работает принцип демократии, которую я ненавижу. То есть большинство всегда побеждает. Так устроено, ничего не попишешь. В этом, собственно, и состоит пиздец.

Я имею в виду, что сумма человеческих сознаний создает картину мира. А потом уже всякое сознание в индивидуальном порядке воспринимает созданное коллективным трудом.

Я хочу сказать, что каждую секунду своей жизни мы, сами того не осознавая, утверждаем и закрепляем текущую реальность своими представлениями о ней. «Сами того не осознавая» — ключевой момент. И еще один из слонов, на которых стоит упомянутый выше пиздец.

(«Один из слонов пиздеца» — это я, конечно, прекрасно формулирую. Но кому от этого легче.)

На неосознанное поддержание картины мира уходят почти все силы всякого отдельного человека. Сил этих на самом деле до хрена, но все мы в положении рантье, живущего, скажем, на 2 процента годовых. Причем в условиях постоянной инфляции, которая делает наше состояние с каждым годом все меньше.

Работа по поддержанию реальности, повседневный результат которой, замечу, не устраивает никого (или почти никого) из нас — это, скажем так, наша с вами пожизненная каторга. Вопрос, конечно, как с этой каторги сбежать; впрочем, честный ответ «умереть» мало кого устроит. Зато от каторги можно время от времени отлынивать. Самый верный способ — медитация и сходные практики, приводящие к внутреннему молчанию (не путать с размышлениями на высокодуховные темы, которые почему-то считают «медитацией» многие современные читатели брошюр и посетители семинаров «Йога для похудения и карьеры»).

Одновременно чрезвычайно полезны любые практики, позволяющие увеличить капитал, на условные два процента с которого мы живем. В смысле личную силу. То есть (извините) энергию, о которой написано уже столько ужасающих глупостей, что никто уже толком не понимает, о чем речь. Но что теперь поделаешь.

Теперь немного подробней о том, как работает «демократия». Штука в том, что один человек с огромной, немыслимой личной силой может переделать сообразно своим представлениям небольшую часть реальности. Если он называется «гуру» и вокруг него вьются ученики, в некотором радиусе от этой группы реальность будет работать по другим законам. В смысле зимой расцветут подснежники, злодеи станут покаянно рыдать,

мучимые приступами эмпатии, а старики в соседней деревне внезапно доживут до ста пятидесяти лет, ничего специально для этого не предпринимая.

Однако никто не может изменить реальность всего человеческого мира сразу. Просветление Будды — событие его персональной реальности. И (возможно) персональных реальностей некоторых его учеников. Место происшествия, возможно, станет священным (то есть местом, где действуют немного иные законы и причинно-следственные связи, чем на других территориях). Но для человечества в целом ничего не изменится. В каких-нибудь ста километрах от священного места, люди продолжат страдать от неисполнимых желаний, чихать от простуды, убивать и скучно по-житейски мучить друг друга — просто по привычке, потому что так делали деды. И даже на секунду не ощутят течение потоков невиданной божественной силы в своих искореженных собственными и чужими представлениями о так называемой «реальности» телах. Через какие-нибудь сто лет, слова, сказанные Буддой, станут для большинства последователей его учения просто «правильными» словами, которые следует произносить в определенных случаях и, конечно же, обдумывать.

Е-мое.

(Я конечно немного утрирую — просто для того, чтобы вышло как можно более наглядно. То есть я думаю, что утрирую, а на самом деле даже это не факт.)

Все вышеописанное происходит не потому что Будда что-то сделал не так. А только потому, что ни один святой и просветленный, даже ни одно божество, спустившееся на землю в человеческой форме, не может перевесить весь мир и в одиночку изменить общее бытие, созданное совместными неосознанными усилиями всего человечества.

Дело именно в этом, ни в чем другом.

Поэтому тщетность усилий каждого из нас, носящих в себе иные, то есть отличные от общих и несколько более близкие к совершенству представления о реальности, неизбежна и очевидна.

Но с этим ничего не поделаешь. Кроме не менее неизбежного и очевидного вывода: просветительство рулит.

Все, что можно тут сделать, — стараться говорить на как можно более понятном как можно большему числу людей. И расшатывать эту их чертову, им самим ненавистную картину мира, на поддержание которой уходят все силы — их и наши.

Но наши все-таки не всегда.

Тщетность, данная нам в ощущениях, ходит рука об руку не с

надеждой даже, а с уже свершившейся победой. Свершившейся когда-нибудь потом. Не при нас и не для нас. Но при нашем непосредственном участии.

В

В гараже нашлась лопата

Одно из самых жалких зрелищ на свете — это когда кто-то кого-то (что-то) любит и молчать о своей любви по каким-то причинам не хочет, но больше всего на свете боится показаться восторженным идиотом и потому говорит осторожно, с оглядкой на строгих скептически настроенных знакомых, буквально через слово оправдываясь — да, я и сам понимаю, что объект моей любви ничего особенного собой не представляет, и многим он кажется полным говном, причем, наверное, заслуженно, зря говном называть не станут, да и не любовь у меня к этому объекту, а так, слабость, по-человечески вполне простительная, весна на дворе, в конце концов, в общем, я тут шел мимо этого заурядного, как всем умным людям понятно, объекта и, знаете, в каком-то таком ракурсе его вдруг увидел, что он показался мне не особенно отвратительным, даже симпатичным, но завтра это, конечно, пройдет.

И беда тут не в том, что, услышав в очередной раз все вот это вот, хочется уебать говорящего лопатой. Желание уебать лопатой — чувство приятное, полезное, освежающее и свидетельствующее о крепости психики, обеспеченности организма витаминами и общем задорном настрое. Ну и найденную в гараже старую лопату сразу понятно куда применить, чтобы без дела место не занимала.

Штука, понимаете, в том, что тот, кто боится показаться дураком, когда говорит о любви, теряет способность любить. Храбрость — обычный входной билет на эту счастливую карусель. Сами не заметите, как станете сварливыми старикашками (молодежь, не расслабляйтесь, это удивительное мистическое состояние и в первом классе достижимо), с которыми никогда ничего интересного не случается.

Когда мы самозабвенно восхищаемся (все равно чем), мы растим свое сердце. А ему надо, очень надо расти. Даже больше, чем гениальному супермозгу, гордо плещущемуся в сосудах наших черепов.

В городе днем было тепло, и даже солнца нам выписали, как положено. И можно, бегая по разным мелким делам, перекладывать лежащие на земле сухие ветки, чтобы получались

руны. Чтобы всякому, кто внимательно смотрит под ноги и умеет читать рунический алфавит, был добрый знак.

Забавно бывает обнаружить в какой-то момент, что это теперь — твоя работа. И занимаясь ею, ощущаешь вовсе не возвышенный мистический трепет, а мирное дворницкое удовлетворение от наведенного порядка.

В дюнах отец и сын лет семи-восьми развлекаются, гоняясь друг за другом по крутым песчаным склонам. «Папа, — кричит мальчик, — смотри! Я сейчас научу тебя быстро падать!»

Призрак Ницше появляется у него за спиной и аплодирует.

В кармане давно не надеванной куртки нашелся старый блокнот с записями. Разрозненные фрагменты текущих событий и фрагменты будущих (теперь-то уже прошлых) рассказов. В хозяйстве уже не пригодится, все давно переписано (или отвергнуто). Можно выбросить или сжечь этот бумажный хлам.

А можно вырвать из блокнота исписанные страницы, свернуть их аккуратно трубочками и разнести по всему городу, подсовывать потихоньку в разные щели, в замки, висящие на мостах, подклеивать к афишам на тумбах, оборачивать ими ветки деревьев, прикапывать в речной песок, чтобы у случайного прохожего появился крошечный шанс заметить бумажку, взять, развернуть и прочитать (если, конечно, понимает по-русски, но у нас многие понимают): «Один серьезный постоялец пожелал, чтобы я пошла к черту, и я отлично провела там время, даже в Барселоне так не развлекалась». Или: «Риелтору Марии благоприятна стойкость» — или: «Блондинка, слишком красивая для 7 часов утра» — или просто: «Заметили».

И еще несколько дюжин вариантов.

На моем внутреннем языке подобные действия называются: «внести хоть немного здравого смысла в окружающее человеческое безумие». Потому что мой смысл — самый здравый смысл на этой прекрасной земле (из более-менее выражаемых словами, конечно, с абсолютно невыразимыми смыслами мне пока тягаться рановато).

Насте

В машине слушали «Vacanze Romane» Matia Bazar. Все остальное мне у них вообще никакое, не раздражает и на том спасибо, а вот «Римские каникулы» выворачивают меня наизнанку, глупым сердцем наружу, лучшая музыка для короткой поездки лунной летней ночью, трепетный такой винтаж.

Перед этим пили розовый берлинский лимонад из ревеня, сидя в «Кофеине» на Вильняус, сперва на стульях, потом пересели на подоконник, потому что в полночь «Кофеин» на Вильняус

превращается в тыкву, а из стульев его строят вавилонскую башню. И сегодня построили, прямо у нас на глазах.

Еще перед этим видели вечеринку светлячков-оборотней на задворках Ужупского инкубатора.

Проходили потом по Кафедральной площади, и я говорю: «У нас же тут плитка с надписью «stebuklas», а ну давай становись, загадывай желание, да вот хотя бы мир во всем мире… черт, еще недавно это звучало как надоевшая шутка».

А теперь только ночь, луна, profumo tuo di vacanze romane и прочая дольчевита. И насекомое золотоглазка деловито ползет по экрану моего компьютера. Оно, наверное, слышало краем уха (крыла? лапки? задней части брюшка?) про ослепительно-белый божественный свет и радо, что может слиться с ним прямо при жизни, не откладывая на потом.

В начале улицы Чюрлене кто-то нетерпеливый и страстный украсил голые еще по-зимнему кусты бледно-сиреневыми искусственными цветами, спасибо ему за обман.

Текущая совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений милосердна — не столько ко мне, сколько к моей работе, стойко несет караул в районе нулевой отметки, иногда кидает в серый суп дня щепоть холодных осадков — если и сбегу от письменного стола, далеко не уйду, вернут.

Все же у меня довольно странная жизнь. В детстве мне хотелось путешествовать; меня очень мучило понимание, что мне, наверное, не понравится в космическом корабле, как-то там все-таки стремно — но как же тогда отправляться на Марс и тем более в другую галактику?! Время показало, что страх обосраться в космическом корабле так и останется умозрительным, на практике его захочешь — не воплотишь, и мне даже как-то полегчало. Впрочем, вместо того, чтобы путешествовать, я все равно сижу за письменным столом и занимаюсь полной ерундой — ну, правда, по велению сердца. Из чего, вероятно, следует, что мое сердце — псих. И хочет совсем не того, чего на самом деле хочет, вот я о чем.

В начале улицы Чюрлене кто-то разрисовал мелом двери подъездов, такие четкие поспешные профили, как на пушкинских черновиках, только носы все больше картошкой. Есть на что поглядеть!

Это, как понимаем мы, были путевые заметки из единственно доступного мне сейчас далекого путешествия через весь Старый Город, с одного холма на другой холм.

В новостях пишут, что рождественский поезд будет ездить по городу аж до 31 января.

То есть прикиньте. Конец января. В городе давным-давно убрали не только рождественские украшения, но даже жалкие их остатки. Трупы невинно убиенных елок вывезли со всех помоек. Витрины переделали под день Валентина или какой там у нас следующий праздник незамутненного шопинга. Народ, уставший от зимы, оказавшейся не такой милой, как на открытках, раскорячившись, бредет по гололеду с полными авоськами свиных ушей и шоколадных сердец. Троллейбусы томно подползают к остановкам, из офисов выскакивают покурить усталые менеджеры среднего звена. В общем, суровые будни. И посреди всего этого, сверкая огнями и бренча колокольцами, синий рождественский поезд. Невинный, как в первый день творения, прекрасный, как горячечный бред. Усталые менеджеры среднего звена выбрасывают сигареты, хозяйки роняют авоськи с шоколадными сердцами и свиными ушами, все дружно запрыгивают в вагончики, вытаскивают из кошельков последние два евро и уезжают навсегда. Больше их никто не увидит.

Все как я люблю, короче. Так и будет.

В парке две вороны вцепились в газету и сражались за право ею обладать. Думают, что информация — это власть. Многие почему-то так думают, тогда как потребление информации давно уже стало принудительной повинностью.

В том месте, где у нормальных людей сердце, у меня дует ветер.

В южных городах легко перестать беспокоиться из-за пустяков. Сколько мусора на тротуары ни накидай, какую вонищу ни разведи в отдельно взятых местах, какой смертный ужас ни устрой в витринах, все это кажется, как минимум, уместным, а на самом деле, конечно, прекрасным, как сама жизнь.

Надо бы мне пожить на юге подольше. Северные города активизируют во мне не просто зануду, а целый клуб любителей орднунга, члены которого непрерывно судачат у меня в голове о мировом несовершенстве. Но стоит мне попасть на юг, как вся эта бригада отправляется на свой вечный внутренний пляж; сильно подозреваю, что они там ныряют с пирса с гиканьем и без трусов. А я от них отдыхаю.

Ваше счастье, что я сейчас не художник, в смысле не рисовальщик. Поэтому вы не увидите цикл живописных полотен «Страх, пожирающий заживо». Если учесть, что в душе я ласковый немецкий экспрессионист типа Отто Дикса, всем повезло втройне.

Я уже далеко не в первый раз сталкиваюсь с тем, что любой самый невинный разговор о необходимости отмены каких-нибудь глупых (или просто излишних) запретов большой частью аудитории воспринимается как покушение на их личную

безопасность.

Как будто, к примеру, отмена запрета ездить без ремней безопасности равносильна запрету этими ремнями пользоваться. А, скажем, отмена запрета на употребление наркотиков тождественна принудительному кормлению этими самыми наркотиками — и не отвертишься! А эвтаназия — натурально легализация убийства, или даже обязанность умирать, достигнув пенсионного возраста. И тогда нас уж точно не спасти.

До меня только сейчас дошло, на что это похоже. Многие (далеко не все, но случай очень распространенный) люди, испытывающие страх высоты, описывают его как почти непреодолимое желание прыгнуть вниз. То есть боятся они, получается, не столько самой высоты, сколько своей неспособности удержаться от рокового прыжка в бездну.

Тогда становится понятно, почему люди так любят законодательные запреты. И позволяют обществу делать с собой практически что угодно, лишь бы помогло удержаться на краю пропасти, куда неодолимо тянет. И все, дураки такие, попрыгают в эту пропасть вотпрямщас, увлекая за собой остальных.

Непонятно другое — какую ценность имеет жизнь, исполненная столь дикого, неконтролируемого страха перед собой, что без хозяина, ошейника, палача и веревки невыносимо? Ну, разве что, биологическую, размножения никто не отменял. Если у нас тут скотоферма и план по производству мяса, тогда вопросов больше не имею.

Но не хотелось бы вот так сразу угадать. Поэтому вопросы все-таки остаются.

Пожирая людей заживо, страх вполне предсказуемо начинает с мозгов (они, наверное, вкусные только пока свежие). Это можно было бы очень смешно изобразить — такой цикл портретов, каждый гражданин со своим страхом на голове. У кого-то страх похож на черную папаху, у кого-то — на футуристическую конструкцию, у кого-то — на голую Бабу-ягу без трусов, зато с большим уполовником. Но с чувством юмора у меня, как известно, беда. Мне не кажутся смешными чужие страдания.

В общем, хорошо, что можно все это не рисовать.

Когда я думаю, что эти несчастные, не контролирующие себя, даже минимально не осознающие происходящее люди ходят по улицам без смирительных рубашек, исполняют какие-то профессиональные обязанности, растят детей, мне становится настолько не смешно, что слов нет. Это в раннем школьном детстве мы беззаботно ржали, выкрикивая: «Дурдом на каникулах!» Но, кстати, гулять возле настоящего дурдома даже в ту счастливую пору остерегались. Вдруг психи оттуда кааак

выпрыгнут?

Мы были идеалистами, как и положено нормальным детям. Мы не догадывались, что все психи уже выпрыгнули давным-давно. И ходят по улицам. Строго говоря, кроме них на улицах почти никого.

Весна идет

В городе дует южный ветер такой силы, будто принес нам не грядущее индейское (бабье?) лето, обещанное синоптиками, а настоящий апрель с цветением вишен и прочим таким совершенно бессмысленным накануне Дня Всех Святых.

Одновременно с южным ветром дует северный, зимний, ледяной, пока совсем слабый, прикинулся тонкой шелковой подкладкой в одном из рукавов бархатного теплого кафтана и тихим шепотом напоминает о себе.

Мы все знаем, чем это закончится, это кино нам крутят ежегодно, мы уже столько раз видели финал, что выучили его наизусть, но сегодня, пока южный ветер так нерасчетливо щедр, так обескураживающе силен, можно несколько минут в день побыть глупыми счастливыми дураками и поверить, что герой наконец победит.

Иногда мне кажется, что человек так пронзительно скоротечен специально для того, чтобы было кому не просто говорить о бессмертии по всякому поводу, но и утверждать его каждым вдохом своим.

И плевать на финал. В этой войне жизни и смерти на самом деле не бывает проигравших. Просто некоторые трофеи нам пока не под силу оценить. Но они все равно есть, лежат в наших солдатских ранцах, ждут своего часа.

Взросление подобно смерти, и вся оставшаяся жизнь должна бы (сама себе должна) быть посвящена воскрешению, медленному и мучительному.

Влачил унылое существование

В городе жарко.

В связи с жарой спешно наступил август.

В крошечном «Кофеине» возле Филармонии нынче днем звучала одновременно английская, немецкая, испанская и польская речь. Ну и литовская тоже, куда без нее. Говорить с бариста по-литовски пришлось мне — просто для равновесия. Чтобы она наконец-то почувствовала себя как дома.

Потом мы сидели там под белыми тентами, дети разных культур, нежные, расслабленные, блаженно поглупевшие от жары и пырились кто в небо, кто в свои стаканы со льдом, а кто в небо — через стаканы. Медитация наша была прервана звонким, хорошо поставленным женским голосом. Для всех

присутствующих это был просто голос, несколько чересчур громкий и четкий для такого жаркого летнего дня, а для меня — натурально гром небесный, ибо голос сказал: «…влачил унылое существование автор «Полонеза Огинского».

Мимо низко (на низкие уличные диваны) павших нас процокала на высоченных каблучищах небольшая дамская экскурсия под предводительством строгой барыни на каблучищах еще более высоченных, натурально персонификация русской духовности. Как орали носильщики на вокзалах моего детства: «ПАААБИРИГИСЬ!»

Влачил! Унылое! Существование!

Каково, а.

Пришлось отрывать свое унылое существование от мягкого дивана и влачить его в направлении дома.

По дороге, впрочем, мне встретилась местная богема в лице друга А. Мы очень обрадовались и повлачили свои унылые существования в ближайший бар, как и положено настоящей богеме. В баре мы напоили друг друга горьким апероль-шприцем. Духовности у нас обоих от этого дела сразу прибавилось, и мы обсудили важнейшие проблемы человечества. Все две!

Но я не расскажу какие, потому что это чужой (человечества то есть) секрет.

Возвращение джедая

У христианского праздника Рождество мог бы быть подзаголовок «Новая надежда», а у христианского праздника Пасхи, конечно же, «Возвращение джедая». К этим двум праздникам я питаю большую слабость, потому что Рождество вот всеми этими своими огнями и ярмарками помогает пережить темное дно зимы, а Пасха — это торжество жизни в чистом виде, на всех смысловых уровнях, во всех слоях бытия.

Пасха — это напоминание, что Бог жив, и поэтому все позволено. Только поэтому. И действительно — все.

Времена меняются

Это вообще самая сложная штука в мире — объяснить, как я чувствую, что «меняются времена», а на самом деле никакие, конечно, не времена, а направления (и намерения) несущих нас потоков. И еще сила нашего сопротивления этим потокам, и качество электричества, которое вырабатывается в процессе. И вообще все.

Самое досадное, что мало кто такие штуки чувствует, а без сходного опыта понять, о чем речь, вообще невозможно! Только что-нибудь свое придумать взамен — такая подмена вообще худшая разновидность лжи, поскольку неразоблачаема. Даже вопрос таким образом никогда не будет поставлен — все же ясно,

чего.

Но времена все равно меняются, не дожидаясь, пока мы научимся об этом говорить.

Все мы, хотим того или нет, воспитаны в рамках определенной культурной традиции; впрочем, «воспитаны» — ладно бы, наши базовые представления о мире сформированы соответствующей традицией, которая, конечно, хорошая, но чрезвычайно дурацкая, как и все тут.

В частности культурная традиция обещает нам (причем европейские и восточные в данном вопросе вполне единодушны), что в один прекрасный день перед достойным разверзаются врата, и появляется Учитель. Умный и красивый, ну или хотя бы фотогеничный. Ладно, как минимум просто антропоморфный! Он знает, чего делать, сейчас побьет палкой и объяснит.

Так даже бывает иногда. Чего только не бывает.

С такими представлениями о мире очень трудно обходиться без умного антропоморфного Учителя с палкой! Даже когда слепишь пару-тройку годных экземпляров из подвернувшихся под щупальце обломков хаоса, все равно иногда очень не хватает величественной фигуры Старшего из книжек и кино. Ну ничего страшного, значит, надо жить с этим чувством нехватки. Оно, собственно, тоже учитель. Великий учитель, щас палкой кааак даст!

Все сходится

Общеизвестно, что причиной строительства Вильнюса стал сон утомленного охотой князя Гедимина.

А из книги Томаса Венцловы «Вильнюс город в Европе» мы внезапно узнаем (ну, то есть я внезапно, а вы — как хотите) о письмах Гедимина с пометками «in civitate nostra Vilna»; по дате самого раннего письма принято определять год рождения Вильнюса — 1323. «Ни на одной карте такого города еще не было», — пишет Венцлова. И есть у меня подозрение, что никакого намека на город не было в тот момент не только на картах, но и по факту. Максимум — гнездо на дереве, в гнезде сидел жрец Лиздейка, славный не только умением причудливо интерпретировать чужие сны о волках, но и происхождением из орлиного гнезда. Под деревом сидели князь и его личный секретарь, обученный писать письма на латыни.

Жрец и князь были очень заняты. Они проводили интереснейший алхимический эксперимент: сколько писем с пометкой «написано в городе Вильнюсе» надо написать и разослать адресатам прежде, чем город появится сам, рожденный не усилиями строителей, но верой далеких читателей княжьих писем.

Подпись, пометки — это же такие пустяки. На них не обращают особого внимания, а значит, не подвергают сомнению. Написал Гедимин, сидя в какой-то там Вильне — ладно, как скажет, ему виднее, где он там сидит. Читаем дальше.

Адресатами Гедимина были люди, скажем так, непростые. Папа, разнообразные епископы, коллеги-короли. Люди, стало быть, огромной личной силы (по тем временам обязательное условие для любого, самого мелкого начальника). Заставить их создать город из текста (писем), одной только силой своего убеждения, что такой город уже есть (если уж письма оттуда пишут) — это была гениальная идея.

Вечная история: два друга (царь и жрец, но могут быть и другие роли) сидят на дереве, хулиганят, ржут, как кони, и из этого их безответственного хохота рождаются новые миры, или меняются старые, ну или хотя бы города растут — самые лучшие, пограничные, все как мы любим.

Все такое важное, такое незначительное, такое драгоценное, слишком простое, чтобы быть правильно понятым. А непонимание искажает суть и даже портит описанное. Далеко не всегда, но бывает и так.

Вот, например, в центре города Вильнюса на Лукишской площади колосится рожь. Когда-то сразу после наступления Независимости, друг А. предлагал посадить на Лукишской площади картошку. Вот просто перепахать там все, посадить картошку, каждый год собирать урожай, чтобы вылечить место от памяти о том, чем ему пришлось быть. О расстрелах, о памятнике-ленину, о прочем таком, чего не должно происходить, а происходило.

Картошку на Лукишской площади, конечно, никто не посадил, разбили сквер, и все.

Но прошло какое-то время, и место взялось лечить себя само. Туда стали приходить люди с мыльными пузырями. Потом там, возле летней кофеиновой будки стали регулярно собираться танцоры линди-хопа. По средам, что ли? Или по вторникам? Или когда бог на душу положит? Никак не могу вычислить, есть ли какая-то закономерность в их появлениях.

А потом посадили рожь. Засеяли ею не всю площадь, а только небольшую часть, типа клумбу разбили. Но плевать, рожь колосится, и, по-моему, пора уже собирать урожай. Август все-таки.

Друг А. в свое время придумал отличный метод расколдовать плохое место. Люди его, конечно, слушать не стали. Ну и плевать: место, набравшись сил, этот метод усовершенствовало и само запустило процесс, используя двуногих бескрылых балбесов в

качестве инструментов. Самых лучших из них (из нас), конечно. Потому что годные инструменты получаются только из лучших. Ну, это и так понятно.

Я очень надеюсь, что весь мир сумеет действовать не менее эффективно, чем Лукишская площадь. И сумеет исцелить себя от воспоминаний о глупости и злобе. Он, строго говоря, так уже и действует на некоторых своих территориях. Хотя не столь активно, как хотелось бы мне, но я всегда хочу невозможного.

А на некоторых других территориях он не действует пока. Или все-таки действует, но очень слабо, невооруженным глазом не заметишь.

И хорошо бы ему (миру) собраться, мобилизовать все силы и приниматься за крупномасштабное, интенсивное исцеление себя вот прямо сейчас. Пока еще живы те лучшие, из кого получаются годные инструменты. Пока их (нас) относительно много, и есть на кого положиться.

Я думаю, ему (миру) надо очень, очень спешить. Потому что — сколько можно тянуть? Я хочу успеть посмотреть, как у него все получится.

Всякий раз, когда вижу вот эти озера сумеречного бирюзового света в полуночном небе, вдыхаю холодный воздух, густой от аромата жасмина (в жопу «чубушник», жасмина!) и диких северных роз, мне кажется, что я недостаточно остро все это чувствую, слишком слабая реакция, не соответствующая происходящему вокруг северному летнему полуночному миру, с веселым птичьим щебетом, подпрыгивая на кочках, летящему в самый солнцеворот. Потому что нормальной реакцией, соответствующей происходящему, было бы взорваться сердцем и умереть вот прямо сейчас, пока бирюзовые окна рая открыты нараспашку, и оттуда громко, не стесняясь щебечущих птиц и орущих котов, уже зовут домой, ужинать.

Но я еще погуляю, конечно. У нас тут шиповник, качели, чай в термокружке и еще костер.

И этот костер — я.

Какой может быть ужин.

Вчера мы стояли на берегу речки Вильняле, которая совсем слетела с катушек, возомнила себя настоящей бурной горной рекой, и по ней на бешеной скорости, с ревом и грохотом летела вся вот эта дурацкая ледяная каша, вся эта ваша осязаемая материя, данная нам в сильных ощущениях — бум! — ой!

Если долго сидеть на берегу такой взбесившейся реки, задница примерзнет, несмотря на бодрый вчерашний плюс один. Зато если долго стоять на берегу реки, можно увидеть, как ледяная каша несется в обе стороны сразу — очень быстро вниз

по течению и гораздо медленней — вверх. Если стоять еще дольше, крепко держась за перила ограды, потому что иначе просто не устоишь, можно наконец понять, вернее, увидеть, что оба эти потока, быстрый и медленный, на самом деле один поток, во всех направлениях сразу. Реки даны нам в качестве учителей, чтобы наглядно демонстрировать действующую модель времени: «сейчас» — это и есть всегда. И одновременно везде, хотя кажется, будто категория «везде» — это уже о пространстве.

А пространство — это же просто одно из измерений времени. «Всегда» без «везде» не бывает, равно как и никакого «сейчас» не может быть без «здесь».

Но штука даже не в этом. А в том, что, если в первый день оттепели стоять на берегу быстротечной реки долго-долго, минуту или полторы, можно ощутить, с какой скоростью несется наша планета. Это очень приятная штука — ощущать вращение Земли. Только за прутья ограды нужно держаться очень крепко, чтобы не улететь насовсем.

Г

Где твои деньги?

Самая гнусная, подлая, лживая разновидность материализма выражается формулой: «Если ты такой умный, где твои деньги?»

Я хочу сказать, что, пока мы оцениваем себя и ближних, прибавляя к подлинным или мнимым (в данном случае совершенно неважно, оценка всегда субъективна) достоинствам способность обеспечивать себя кормом или вычитая неспособность это сделать, мы — слоны, несущие на своих спинах безрадостный ад материалистической концепции, в рамках которой жизнь — это питание, размножение, выкармливание потомства и быстрая смерть ради освобождения кормовых площадок для нового поколения. И индивидуальные особенности нецелевого использования теплых сортиров, известные под названием «личностный рост», ничего не меняют. Мало ли о чем таком возвышенном думает слон, пока он честно держит на своей спине ад, чертям это не особо мешает.

Способность зарабатывать деньги сама по себе не «хороша» и не «плоха», наличие этой опции — вопрос удачи в гораздо большей степени, чем принято думать. В разные времена и в разных культурах хорошо оплачиваются разные способности, склонности и свойства характера; в итоге вопрос всегда стоит так: насколько удачно ты прицелился, выбирая место рождения. Вот и все.

А когда прицелился неудачно, ради прокорма приходится задвигать себя в сторону. Есть устойчивое убеждение, будто способность прокормиться — сверхценность. Строго говоря, это и есть материализм. А вовсе не решительный отказ истово креститься на Мачу-Пикчу.

Способность задвинуть в сторону всего себя, со своими особенностями, страстями, желаниями, интересами ради прокорма все еще почитается добродетелью, а на самом деле она — просто разновидность готовности капитулировать, покориться материальности мира, данной нам в ощущениях, довольно острых и неприятных, когда доходит до недостачи корма. Понятная слабость, в той или иной степени свойственная всем, кроме лучших из лучших, для которых, впрочем придуман универсальный выход: умирай молодым. И возмущенный вой социума: «Как это — нет?» — в тех редких случаях, когда эти суки отказываются. И еще какое-то время живут среди нас, подъедая жалкие крошки, упавшие со столов честных добытчиков корма, хором вопрошающих: «Если ты такой умный, где твои деньги?»

Где-где.

Мало что я ненавижу так сильно, как эту вашу самодельную мясорубку.

Городские новости

На Кафедральной площади поставили елку. С окнами и балконами. С нетерпением жду, когда на балконах повесят сушиться белье.

Белье пока не повесили, зато вокруг елки нынче вечером водили хоровод войска НАТО (не в полном составе, только некоторые представители) с оркестрами.

У этого города чувство комического, пожалуй, даже более причудливое, чем у меня.

Д

Две прехорошенькие девицы идут по улице, катят велосипеды, что-то обсуждают. Обгоняя их, слышу, как одна говорит: «А потом все закончится, и я стану, как мама».

Альгирдасу

Диалоги о художниках

— Мне в Барселоне рассказали, что Гауди все время по городу с бутылкой восьмидесятиградусного абсента ходил, такой был пьянчужка. Это многое объясняет.

— В смысле он все эти годы пытался сделать ровненько и

аккуратненько?!

* * *

— Такая сначала была хорошая затея — сюрреализм. Вдруг какие-то художники решают, что пора начать говорить о невидимом, непостижимом и непроизносимом. О таком, что в человеческий ум не помещается вообще, но в целого человека более-менее помещается. Вот как сон, который вспомнить невозможно, но он же был! И если как-то пытаться о нем говорить, то только языком искусства. Вот какой должен был быть сюрреализм! И вдруг внезапно на сцене появляется Сальвадор Дали, и начинается эстрада.

— Все эти циферблаты стекающие, да?

— И прочее такое же — в лоб. Вернее даже, что в лоб, что по лбу. Но цветное, красивенькое. Ровно та степень странности, которая помещается в человеческую голову маленькую, твердую, одна штука, второй сорт. И теперь считается, что это и есть сюрреализм. Даже у меня со словом «сюрреализм» первая ассоциация — Дали. Ужас!

— Пустили бы его делать театральные декорации. Задники для сцены. У него отличные задники получались бы. И времени ни на что больше не оставалось бы. И всем было бы хорошо.

— Точно! Ты тоже не любишь Дали? Дай я тебя обниму немедленно!

— Вот за это меня еще никто никогда не обнимал.

— Я тебя еще и за Гауди не побью теперь!

— Очень жаль. Потому что за Гауди меня тоже еще никогда не били.

* * *

— …вот некоторые художники умеют делать, а некоторые просто умеют найти мецената.

— Ха! Найти мецената — это такой талант, что нам всем и не снилось.

— Да. Вот я не нашел. Двадцать лет зарабатывал деньги, потом пришел сам к себе, сказал: давай я тебя издавать буду. И стал издавать книги (имеются в виду альбомы фотографий), одну за другой. Если бы не было денег, ничего бы не издал. И никто бы сейчас меня не вспомнил. И на Биеннале не позвали бы. И Национальную премию не получил бы. Хотя художник все тот же

— я. Но без денег ничего бы не было. Сам себе меценат.

— Это еще ничего. Могло быть хуже. Вот прикинь, заработал ты все эти деньги. Приходишь потом сам к себе, говоришь: «Давай ты будешь меня издавать!» И сам себе: «Да ну, иди в жопу, фуфло ты, а не художник, я лучше самолет куплю».

— Какой самолет?! Там было максимум на пол-крыла.

— Ничего. Настоящего мецената, не желающего давать деньги гению, такие пустяки не останавливают.

* * *

— Нет никакой справедливости. Попасть в историю искусства — просто выигрыш в лотерее.

— А если ты очень крутой, сто пудов ни в какую историю не попадешь. Потому что настоящая тайна сама себя бережет. Ты, например, гений, а человечество — не гений. И ему пока такое искусство рано показывать, не переварит. Тогда тебя вообще никто не заметит. Ну или заметят, но в первый ряд точно не поставят.

— Вот как Клее, например.

— Да! Вот смотрит Вселенский разум с небесей: «Чо это там у нас друг Пауль затеял? Ой-ой-ой, куды ж он поперед батьки в пекло? Нельзя такое пока! Ой, чо делать, чо делать? Так. Выпускаем Дали. Щас он шум поднимет, внимание отвлечет, и все будет путем». Ну и выскакивает такой Дали — оп-па! И пляшет канкан. И все вокруг: «Ах, гений! Ах, сюрреализьм!» А Клее себе дальше тихонько свое херачит, ему-то пофигу.

— Или вот мы, например, свое тихонько херачим. А там на небесах…

— Вселенский разум уже задолбался эту эстраду на землю поставлять. У него бедного уже мозоли на тех местах, которыми сальвадордалей лепят! Но ничего не поделаешь, надо.

* * *

— Я был у нее дома один раз, помог пакет с вещами занести. Такая стандартная двухкомнатная квартира в панельном доме. В одной комнате все обычно, простенькая такая обстановка. Она говорит: «Брось пакет в другой комнате». Я открываю дверь, а там войти невозможно, вся комната заставлена…

— Картинами?

— Нет, всяким говном. Она его оттуда понемножку вынимала

и на холсты клеила. Но сколько там наклеишь. Комната была заставлена так, что пакет некуда положить. А она мне кричит: «Наверх швыряй!» Я забросил пакет куда-то наверх кучи и быстро-быстро дверь закрыл, чтобы он обратно не вывалился.

— Вот удивительно. У меня в последней книжке ровно такая же ситуация с художником. Тоже дом так хламом завален, что дверь открыть невозможно…

— Вот! Теперь ты понимаешь, как у нее было много хлама? Я дверь-то всего на полминуты приоткрыл, а хлам оттуда в твою книжку вывалился!

Дитя из преисподней

Внезапно нас замело, и установились лютые морозы. Минус два, если не все четыре. Поэтому весь выпавший снег пока лежит — до завтрашней оттепели.

При такой небольшой отрицательной температуре запах снега становится очень сильным. Эссенция, концентрат, абсолют снега. Вторая, не менее яркая нота — абсолют печного дыма. Вокруг много частных домов с печами.

Эта смесь — один из запахов моего детства. Снег в Берлине выпадал редко, оставался лежать еще реже. Обычно сразу таял. Но если не таял, лежал целый день или два. Или даже три. Иногда такое случалось аж дважды за зиму. А иногда, для равновесия, не случалось вовсе. За шесть лет, что мы там прожили, совершенно точно были две зимы, когда на санках покататься так и не удалось. Это значит, четыре зимы были снежные. Ну как снежные — дня два или три были наши, а большего никто и не ждал.

В те редкие бесконечно счастливые морозные (минус два, если не все четыре) дни запах снега смешивался с запахом дыма из труб придомовых котельных. У нас во дворе было два двухэтажных многоквартирных дома, при каждом своя котельная. Топили углем.

Топила, собственно, моя мама. То есть не только она, еще три тетки. Работали сутки через трое. Но, конечно, не сидели в котельной сутки напролет, а бегали туда раз в пару часов посмотреть, как дела, подбросить угля. Потом снова возвращались домой. Два раза в сутки там надо было производить какие-то сложные действия, кажется, чистить печь, но тут на помощь хрупким женщинам-кочегарам приходили мужья — с утра перед службой и вечером перед сном.

Поэтому работа в кочегарке считалась — не бей лежачего.

Впрочем, даже если бы она считалась трудной, это ничего бы не изменило. За работу платили гэдээровские марки, а марок ощутимо не хватало. Там какие-то сложности были с этими

марками — их военным (по крайней мере, прапорщикам и старшинам) платили мало, далеко не всю зарплату, а только часть. Другая часть оседала в рублевой форме на сберкнижке и обмену на марки не подлежала. Поэтому все жены пытались найти работу на месте, все равно какую, кочегарка — это еще отличный был вариант. Сутки через трое, раз в два часа угля в печь подбросить, и за это марки дают. Невообразимо повезло.

Меня в кочегарку особо не пускали, но иногда все-таки удавалось пробраться. В кочегарке царил красноватый огненный полумрак, было очень тепло, пахло подвальной сыростью. Как выглядели сами отопительные агрегаты, я, конечно, толком не помню. Только багровое пламя, вырывающееся из печи, когда открывают заслонку, и темные тени огромных котлов.

Ничего удивительного, что когда мне в руки попала книжка с картинками про чертей и пекло (впрочем, есть у меня подозрение, что это была даже не книжка, а просто карикатура в журнале «Крокодил»), узнавание произошло мгновенно. Да это же наша кочегарка!

За первым радостным открытием последовало второе, еще более радостное: если моя мама топит печку в пекле, значит она — черт!

Ну и папа, наверное, тоже черт, если ходит ей помогать. И тетя Шура, и тетя Римма, и третья тетя, не помню, как ее звали — черти, определенно. Меня окружают настоящие черти из пекла. Вот это, братцы, жизнь!

Это открытие совершенно меня окрылило. И вовсе не потому, что меня с младенчества терзала неодолимая тяга к сатанизму. Не терзала! Мне просто хотелось интересного. Интересного вокруг было много, но не очень. Были мы с родителями, были другие люди, подозрительно на нас похожие, были немцы, тоже похожие на нас, но с другим языком, были монголы, самые прекрасные существа на земле, нечеловечески раскосые, плосколицые и в красивых одеждах. И все! Никакого разнообразия, никаких волшебных существ.

И тут вдруг внезапно выясняется, что мы только с виду люди, а на самом деле — черти. А черти — крутые чуваки, про них сказки пишут. А значит, и про нас. Мы — те, с кем происходит все самое интересное. Какое счастье!

Хотя выглядели мама с папой и все эти тети-кочегары все-таки неподобающим образом. Где рога? Где, спрашиваю вас, хвосты?! Как — нет? И у меня, что ли, не отрастут с возрастом? Ну нет, я так не играю.

Мои осторожные вопросы про рога, копыта и хвосты явно испугали родителей, так что расследование пришлось

прекратить. Тем более, что ничего путного допрашиваемые не сообщили. Тогда пришлось привлечь собственный аналитический ум и создать очень логичную и правдоподобную версию, что мы маскируемся. Что мы черти из пекла — это тайна. Чего-чего, а шпионских романов в библиотеке, куда родители ходили за книжками, хватало, так что теоретическая база у меня была уже к пяти годам. И ясно было, что тайну надо хранить и не признаваться.

Пришлось взять себя в руки и не хвастаться нашим удивительным чертовским статусом во дворе. И даже соседка тетя Валя, с которой у меня были очень доверительные отношения, так ничего и не узнала.

Но не могу же я всю жизнь терпеть и не сознаваться! Тем более, столько лет прошло. Родителей уже на этом свете нет, маминых коллег — не знаю, но подозреваю, что тоже. А если и есть, я же их паспортные данные не разглашаю. Авось обойдется.

Для души

Некоторые граждане рассуждают про сортировку информации по принципу «полезно-опасно для души»; неважно по какому поводу.

Важно, что я уже сутки ору на своей внутренней кухне, стуча внутренним кулаком по внутреннему столу, заставленному пустыми бутылками из-под внутренней, какой же еще, водки.

«Опасно для души! Опасно! Для души!» — примерно вот так я ору.

Подразумевая, конечно же, что все самое так называемое опасное для так называемой души уже случилось в момент опрометчивого рождения этой самой души на планете Земля, а теперь поздняк метаться, хуже уже не бывает, следовательно, будет только лучше. Ну или вообще никак.

Донкихотство как выгодная долгосрочная стратегия

1. В детстве мы вынуждены быть идеалистами — просто вследствие нехватки информации об окружающем мире. Все лакуны мы заполняем самостоятельно. И, естественным образом, заполняем их так, чтобы результат нравился нам. В итоге получаем идеалистическую картину мира, более-менее устраивающую нас, особенно в местах самостоятельно заполненных лакун.

(Тут следует уточнить, что идеалистическая картина мира вовсе не обязательно предлагает всеобщую доброту, рыцарство и прочий сказочный героизм с хорошим концом. Она вполне может предполагать возможность счастливо бездельничать, поедая бутерброды! Мало ли кто как представляет себе идеальный гармоничный мир, в котором хочется жить.)

2. Всякое взросление почти неизбежно сопровождается увеличением объема информации об окружающем мире и почти неизбежным же крушением наших идеалов. Потому что какими бы умными детками мы ни росли, а додуматься до более-менее реалистичной картины мира шансов у нас немного. И случайное совпадение детских идеалов с истинным положением дел тоже, мягко говоря, маловероятно.

3. Можно сколько угодно объяснять сложности подросткового возраста биологически — дескать, в это время детям пора уходить из стаи и начинать самостоятельную жизнь. Однако наиболее интересная часть правды заключается в том, что именно в этом возрасте происходит крах идеализма, сопровождаемый как справедливым негодованием по поводу взрослых, умудрившихся так хуево все устроить, так и естественным желанием построить свою прекрасную реальность с блэкджеком и феями. Или вампирами. Кому чего.

4. Построить свою прекрасную реальность человеку оказывается слабо. Это нормально вообще — обнаружить, что хрен ты ее сам себе построишь. И существующую не отменишь. Такая беда.

5. Суицид (быстрый или медленное саморазрушение, кому как больше по сердцу) — самая честная реакция на крушение идеалов. Но люди довольно редко бывают настолько честны, поэтому большинство выходит из этого кризиса живыми. И тут встает самый интересный вопрос: что дальше?

6. Вопрос интересный, но ответы на него довольно однообразны. Большинство переживших крушение идеализма выбирает сдаться и перейти на сторону врага. То есть стать естественной, органичной частью той самой реальности, об которую расхуячились их идеалы. Зоологический инстинкт самосохранения подсказывает, что так больше шансов выжить, дать потомство и выкормить его.

Это, кстати, правда. Действительно гораздо больше.

7. Штука в том, что каждый человек знает, что идеалы (любые, самые дурацкие, но идеалы) — это хорошо. А отказ от них — плохо. Но «знает» не означает «осознает». С осознанием этого факта (и вообще с осознанием) у уважаемого человечества на данном этапе развития довольно хреново обстоят дела. Поэтому недовольство своим поражением и переходом на сторону противника остается неосознаваемой внутренней болью, которая не мешает сладко питаться, активно размножаться и откусывать головы потенциальным конкурентам, но при этом постепенно разрушает психику и вообще не дает жить.

8. Потому что идеалы — это область духа. Следствие нашей

активной коммуникации с ним. Наши идеалистические представления — это личные письма, написанные духом для каждого из нас. На непонятном, конечно, языке написанные, окончательно превращенные в бред сивой кобылы нашей неумелой интерпретацией, но изначально содержавшие смысл, важный для нас, как само бессмертие. Потому что он и есть бессмертие, этот смысл. И от неправильной интерпретации никуда не девается, просто отступает на задний план. Но остается с нами.

9. И крушение идеалов при столкновении с реальностью выглядит как капитуляция бессмертного духа перед инертной смертной материей. То, чего быть не должно и вообще не может. Но оно случилось! С нами, не с кем-нибудь. Мы стали свидетелями и даже деятельными участниками этого поражения. Так крушение идеалов превращается в трагедию богооставленности. И принимая реальность такой, каковой она нам кажется (потому что разобраться, какова она есть, ни одному человеку инструментария, в смысле восприятия не дали), соглашаясь играть на таких условиях, мы как бы одновременно подписываемся под актом капитуляции.

10. И остаемся в руинах рухнувшего смысла. Нам, строго говоря, пиздец.

11. В этом состоянии пиздеца человек способен питаться и размножаться, и даже по мере сил бороться за повышение качества этих приятных процессов, не вопрос. Поэтому ему довольно легко объяснять себе, что все в порядке.

12. Но какое там, в жопу, «в порядке», когда бессмертный дух капитулировал при нашем участии. Хотя мы, конечно, этого не осознаем. И довольно редко рассуждаем в таких категориях.

13. Но на бессознательном уровне всем ясно, что пиздец.

14. Самое разумное, что можно сделать, оказавшись в руинах — это начать отстраивать разрушенное заново. С учетом наработанного опыта, конечно. Но это должно быть настоящее здание смысла, а не имитация его. Настоящий первосортный идеализм, настоящие идеальные идеалы — как мы их себе представляем.

15. Плюс тут такой, что строить можно действительно по своему вкусу. То, что подходит нам. А чтобы определиться с чертежами, придется достать и заново расшифровать те письма, которые мы когда-то получали, ни хрена не поняли и все перепутали, но держали их в руках, и теперь держим снова, а это главное.

16. Трудность в том, что? отстроив заново свой идеализм, придется жить так, словно он — единственная правда. Потому что

он и есть правда, когда подтвержден — делом, не разговорами. Поступками, образом жизни, а не болтовней. Иными словами, когда мы решили, что в нашем идеальном мире ветряные мельницы — это злые великаны, нам придется кидаться на них с копьем всякий раз, когда они покажутся на горизонте. Потому что честное действие — единственный раствор, на котором может держаться созданный нами мир.

17. Шансов выжить при таком раскладе у нас, будем честны, не очень много. Но они есть. Иначе некому было бы это все писать. А я пишу.

18. Такое безумное и непрактичное поведение имеет смысл ровно по одной причине. Богооставленность лечится только решением жить так, словно Бог никогда тебя не оставлял. И вообще никого. Верить не обязательно, обязательно знать. Ну или просто действовать так, словно мы знаем. Потому что мы действительно знаем, даже если не осознаем. «Не осознаем» — это временное состояние, пройдет.

19. Пока мы живем так, как будто Бог есть и с нами, он есть и с нами. Пока мы живем так, словно дух победил, он победил. Пока мы делаем ставку на бессмертие, мы бессмертны. Даже если в начальных условиях задачи это было не так.

20. Реальность создается созидательной волей. То есть целым хором созидательных воль. Очень трудно противостоять целому хору. Но тут ничего не поделаешь, надо противостоять. Потому что осознанный и осмысленный идеализм — единственный путь к торжеству духа и бессмертия здесь, на этой прекрасной земле.

21. Отступать некуда, позади Мировая Бездна. Поэтому хрен мы отступим. И именно поэтому все будет хорошо.

22. Уже так есть.

Допельгангер

В Ниде рабочие ремонтировали тротуар, и от этой их деятельности все вокруг было затянуто густым белым дымом. Как реагирует на густой белый дым человек с хоть каким-то подобием камеры, известно, человек с подобием камеры вообще прост и понятен, он живет примитивными инстинктами, на любой раздражитель реакция одна: щелк, щелк.

Вот и я так.

Мимо шли разумные люди без камер, белый дым был им до фени. Они только осторожно обходили его источник, в то время как неосторожный, движимый инстинктом человек с камерой в моем лице медленно к этому источнику приближался: щелк, щелк. Дым становился все гуще, остановиться невозможно, щелк.

Постепенно в густом белом дыму стал вырисовываться другой человеческий силуэт. Он тоже медленно приближался к

источнику. То есть к рабочим с инструментами. И отлично выглядел в этом белом дыму, грех такое не сфотографировать. Щелк, щелк, все дела.

В конце концов мы с силуэтом практически столкнулись в этом белом дыму — не лбами, но к тому шло. Конечно, он тоже оказался человеком с камерой. И уставился на камеру в моих руках. А я — на его камеру, постепенно осознавая, что с его точки зрения, я — силуэт, который отлично смотрится в этом белом дыму и так удачно приближается, щелк, щелк. Он в это время осознавал ровно то же самое. В какой-то момент мы переглянулись, заржали и разошлись — два психа, два маньяка, два совершенно одинаковых (на протяжении одной минуты нашей жизни) существа, одержимых бессмысленной красотой белого дыма, который лично у меня ни хрена не получился, все фотки пришлось выкинуть кроме двух, первая вроде ничего, а вторая — просто на память о счастливой встрече с двойником, в смысле таким же прекрасным придурком, как я.

Щелк.

Дошло наконец-то, почему так популярно чувство вины, особенно коллективной, но не только, конечно. Речь в данном случае о необоснованном чувстве вины, за которым не стоят конкретные дурные поступки.

Так вот. Виноватым может быть только тот, у кого, есть выбор, как действовать. Еще точнее: виноватым может быть только тот, кто не беспомощен. Вина — своего рода алиби, если уж она есть, значит о беспомощности и речи нет.

И тут неожиданно выясняется, что (с точки зрения почти любого человеческого ума) виноватый — это более сильная позиция, виноватый — более важная персона, чем беспомощный. А человеку хочется быть важной персоной, и хоть ты тресни. Так чувство вины становится самообманом для тысяч и тысяч бедных зайцев, беспомощных перед некоторыми неумолимыми обстоятельствами (вроде войны и чумы), как почти любой (извините уж мою солдатскую прямоту) человек.

Беда, строго говоря, не в том, что каждый отдельно взятый бедный заяц может почувствовать себя важной персоной, виновной чуть ли не во всех бедах людских. А в том, что этими вратами в человека входит зло — и не с целью натворить еще каких-нибудь бед его руками, как с энтузиазмом подсказывает нам чувство собственной значительности, а с целью сожрать его заживо. И не поперхнуться.

Друг отличную лекцию про искусство прочитал. Взял в одну руку одну винную пробку, сказал: «Это не искусство». В другую руку взял вторую винную пробку, сказал: «И это тоже не

искусство». А потом стал сближать руки, в которых держал пробки. И сказал: «А вот теперь, когда между ними начинается взаимодействие и возникает напряжение, это может стать искусством».

И это чистая правда. Искусство — это напряжение, возникающее от взаимодействия, в высшей октаве — понятно с Чем. Но и взаимодействие между пробками вполне подойдет (как напоминание о самой возможности взаимодействия хотя бы).

Из всего этого следует, кстати, что я — тоже искусство, а вовсе не художник, как мне всю жизнь почему-то казалось. Потому что живу исключительно за счет энергии взаимодействия. Причем, какое взаимодействие, такое получаюсь я, всякий раз разное, сюрприз-сюрприз (если я вам нравлюсь, значит вы хороший соавтор моего творца, а если нет, значит вы — тупица и бездарь, отличный, по-моему, тест; слышал бы кто, как я сейчас ржу, но это же действительно правда).

Мне поэтому очень важно, чтобы весь человеческий мир вел себя хорошо — мне же с ним приходится взаимодействовать! То есть вообще весь мир, но его нечеловеческая часть и без моих подсказок ведет себя просто отлично, а человеческая периодически тупит и озадаченно чешет алеющую жопу.

E

Единственное, чего мне не хватает прямо сейчас — это живого Бойса. Он мне нужен с корыстной целью — дружить. Чтобы сидел в «Кофеине» в этой своей дурацкой шляпе, пил что-нибудь тоже дурацкое (например, чайлатте), и чтобы можно было подойти сзади, обнять, сказать: «Привет». Спросить: «Ты понимаешь вообще, что творится?» Предложить: «Пошли сделаем еще что-нибудь, чтобы мир доизменялся уже поскорей». И получить в ответ дохлым зайцем по лбу.

Вот дохлым зайцем по лбу — этого мне особенно не хватает.

А так все хорошо.

Если достаточно долго сидеть на ярмарочной площади города Франкфурта с бокалом вишневого секта, можно стать свидетелем пришествия безумного барабанщика с невидимым барабаном, но видимыми барабанными палочками. Барабанщик азартно молотит палочками по невидимому барабану, подыгрывая ярмарочным рок-н-рольщикам, которые только затем и нужны на площади, чтобы дать безумцу повод материализоваться.

Мы, все остальные, простодушная ярмарочная толпа,

праздные поедатели сосисок, беспечные поглотители глинтвейна, нужны ровно для того же. Мы свидетельствуем пришествие барабанщика, иного смысла в нас нет.

У барабанщика лицо хищной птицы, безвольная дурковатая улыбка и внимательный, настороженный, цепкий взгляд. Когда он стучит по невидимому барабану, ясно, что он делает очень важную работу. Настолько важную, что нам, свидетелям, ее смысла не понять. Он в нас просто не поместится.

Боги приходят в человеческий мир для мелких ремонтных работ, используя юродивых, как рабочую одежду. В нормальных людей боги просто не помещаются, факт. На ярмарочной площади города Франкфурта это (в очередной раз) делается очевидно.

Если уснуть в самолете еще до взлета, проснуться перед самой посадкой, увидеть в иллюминаторе невозможную какую-то розовую церковь на невозможном же высоком холме, окруженном лесами и маленькими деревенскими домиками, вполне можно успеть сообразить, что тебя привезли в какую-то левую параллельную реальность, где все похоже, но немножко не так. Я имею в виду, можно успеть врубиться прежде, чем наивный организм примет новую реальность за чистую монету и вспомнит, что так было всегда. И розовая церковь эта в одиночестве на холме вообще всегда стояла.

Короче. Кто первый встал, того и тапки. На этот раз тапки мои.

Ж

Жверинас

Жверинас — район контрастов, где гнилые деревянные хатки, худо-бедно поддерживаемые высоченными штокрозами, соседствуют с буржуйскими особняками за сто миллионов миллиардов — увы, без штокроз.

Бобровая улица выводит путника к двум маленьким прудам, разделенным узкой, от силы метров двадцать, полоской суши.

В одном пруду плавают утки, другие утки гуляют по берегу. Вместе с утками там гуляют красивые улыбчивые люди с красивыми улыбчивыми детьми, все в ярких куртках и жилетах, все вежливо здороваются друг с другом, терпеливо отвечают на вопросы детей и кормят уток. Звучит преимущественно английская речь, местами внезапно переходящая в русскую и литовскую.

В соседнем пруду нет ни единой утки, берег его пуст и

мрачен. Даже деревья как-то зловеще нависают над водой, и стволы у них готически темные, и кроны уже поредели.

На берегу стоят два нетрезвых человека средних лет, высокой степени изношенности. Один стягивает свитер, явно намереваясь упокоиться в темных водах. Ну или просто туда нырнуть. Второй просит:

— Не надо, Повилас!

Товарищ вдумчиво глядит на него исподлобья:

— Аргументируй.

Над обоими прудами повисает неловкое молчание, не нарушаемое даже утиным кряком.

З

Забавно, что умственно человечество развивается гораздо быстрее, чем физически. То есть, мы уже радостно читаем всякую дерриду и медитируем на цветки лотоса (кому что). А тело с инстинктами и системой интерпретаций еще из древнего полуживотного мира. Нам уже и пора бы завести модель поновей, чтобы воспринимало побольше, но пока не выдали. И из этого трагикомического противоречия рождается удивительное, невиданное чудесное чудо: интеллектуал-материалист. Чей ум способен (теоретически) вместить в себя очень много духа, а тело пасует: ему восприятие не выдали. Сидит такой проклятый ангел, рассуждает: я не могу поговорить с Богом, следовательно, Бога нет.

(Мы все понимаем, да, что словом «Бог» мы обозначаем некую вездесущую непознаваемую силу, а не дяденьку, который прыгает по облачкам и следит, кто чего неправильного схомячил в постный день? Я на всякий случай напоминаю.)

Знаки и знамения

На пирсе, ведущем к Варненскому маяку, три надписи на понятных языках, буквально одна за другой:

Я так хочу до тебе

Пусть мы далеко, над нами одно небо

Сегодня просто не твоя жизнь

И

Идеальный читатель

— Идеального читателя, конечно же, не существует, хотя бы уже потому, что реальность, в рамках которой мы все сейчас живем, совершенно не приспособлена для чего-либо идеального. И с чего бы читателю быть исключением.

— Идеальный читатель — это просто читатель, который умеет читать. Я сейчас не о какой-то выдающейся способности хитроумно проникать в потаенные глубины авторского замысла, а о простом умении складывать из букв слова. Сложил из «ж», «о», «п», «а» слово «жопа», а не, к примеру, «вечность» — вот и молодец. Прочитал, что написано!

— Идеальный читатель — это, конечно же, тот читатель, чья жизнь изменилась от прочитанного. Неважно, как именно, неважно, до какой степени. Если читатель прочитал про яблочный пирог и пошел его печь, это тоже годится. Просто в такие моменты (то есть, когда под влиянием текста совершаются поступки) строятся мосты между несбывшимся и сбывшимся. А иногда даже между невозможным и произошедшим, всякое бывает.

А литература (по крайней мере, та ее часть, которая интересует меня) — для этого.

— Когда речь заходит о читателях, я всегда первым делом вспоминаю драму «Враги» Яромира Хладика. Ну, то есть, строго говоря, не саму драму, а рассказ Борхеса «Тайное Чудо», персонаж которого, приговоренный к расстрелу, сокрушается, что не дописал еще два акта драмы «Враги», просит у Бога год, чтобы закончить работу, и получает его. Расстрел при этом не откладывают, просто последняя секунда жизни в восприятии Хладика растягивается на год, и автор волен сколько угодно дописывать, переделывать и править свой текст. «Он трудился не для потомства, даже не для Бога, чьи литературные вкусы были ему неведомы. Неподвижный, затаившийся, он прилежно строил свой незримый совершенный лабиринт», — пишет Борхес.

Так вот, мой идеальный читатель — тот, кто понимает, зачем Яромир Хладик дописывал и доводил до совершенства эту свою чертову пьесу.

— Еще мой идеальный читатель — тот Бог (та версия Бога), к которому можно обратиться с такой вот дурацкой просьбой и получить согласие.

— Борхес, кстати, тоже мой идеальный читатель. И не только потому, что умер задолго до того, как мне пришло в голову что-то написать. Хотя это, безусловно, прибавляет ему очков.

— Но гораздо важнее, что я его люблю. Мой идеальный читатель — каждый, кого я люблю. Не обязательно всю жизнь, можно всего пять секунд. Любовь всяко вне времени и измеряется

точно не им.

— У моего идеального читателя карие глаза, коротко стриженные темно-русые волосы с проблесками ранней седины, рост 178 см, вес 71 кг. Ему тридцать четыре года и восемь месяцев. Он живет в Мичигане.

Ясно, что это описание может быть заменено любым другим без какого-либо ущерба для смысла сказанного.

— Потому что идеального читателя, как уже было сказано, не существует.

— Но это совершенно не мешает ему быть.

Иногда так мало надо

Прикосновение мокрого кошачьего носа к щеке, запах разогретой солнцем степи из коробки с травяным чаем в супермаркете, телефонный разговор, стремительный бег гонимых ветром облаков, внезапный саундтрек к «Криминальному чтиву» из окна автомобиля, остановившегося на светофоре рядом с твоим, сорока, прилетевшая на подоконник, увядший было и вдруг выстреливший новым цветком белый гиацинт, несколько забавных совпадений, о которых случайно узнаешь из писем и разговоров — иногда так мало надо, чтобы привычный окружающий мир вдруг снова стал тем, что он есть (и чем был и будет всегда) — сияющим клубком живых, вибрирующих и поющих нитей, соединяющих все со всем, которые и есть сама жизнь, и смысл ее, и движущая сила, и вечный, с самого начала известный, но всегда недостижимый итог.

К

Как всегда

Когда самолет поднимается над облаками, женщина на соседнем сидении тихо-тихо говорит сыну: «Видишь, нет здесь никакого Бога, не бойся». И я, конечно, сразу понимаю, что как раз очень даже есть. И ржет надо мной вот прямо сейчас (как всегда).

Как горит огонь и работают другие

Больше всего на свете я люблю быть свидетелем подъема духа в человеке. И совершенно неважно, с какого уровня стартовал этот прекрасный процесс, лишь бы стартовал.

И больше всего на свете я ненавижу все, препятствующее этому процессу. То есть, получается, вообще почти все!

Таков мой артистический темперамент, спасибо за внимание.

Как у нас дела

Катя Х. спрашивает: «Как вы живете?» — и я пишу ей, как в

другую Вселенную, то есть, не о себе, а обо всем мире сразу: «Мне давеча в комментариях рассказали, что у нас закончилась Кали-юга. Есть и другие версии, но эта мне нравится больше всех, значит, она — правда».

Замечательно, что комментарий про окончание Кали-юги мне написали не где-нибудь, а под сообщением о выходе моей новой книжки. В которой рассказывается (помимо многого прочего) о том, как зажил Мир после окончания собственной мини-кали-юги. В очень облегченной версии, но все-таки.

В виде исключения даже процитирую:

В Exo почти не стало так называемых «преступлений дурного настроения»: побоищ с увечьями, поджогов, погромов, роковых проклятий и импульсивных убийств. Из мести или корысти все еще иногда убивают, но просто под горячую руку — уже практически нет. Не то чтобы все внезапно заделались законопослушными гражданами: воруют, жульничают и шантажируют примерно как раньше. Зато по пьяному делу даже портовые нищие и университетские профессора особо не дерутся. Внезапно разрешенную магию применяют к месту и не к месту, но я, знаешь, даже не припомню, когда у нас в последний раз кто-нибудь превращал своего врага в маловразумительную пакость или хотя бы насылал на ненавистного соседа многолетний понос. И при этом ты совершенно прав, все больше народу пляшет на улицах — просто так, внезапно, от избытка хорошего настроения. Не раз видел, что взрослые гоняются друг за другом, как дети, повара высовываются из окон, чтобы угостить печеньем первого попавшегося незнакомца, а мои соседи, левобережные богачи, устраивают в своих роскошных садах пикники для всех желающих, о чем заранее объявляют в газетах.

Когда заходит речь об окончании Кали-юги, я примерно так все себе и представляю. Меняются (по крайней мере, поначалу) не внешние обстоятельства, а сознание. Постепенно становится все больше людей, для которых желание мучить других больше не норма. А желание делиться избытком — напротив, становится нормой.

Это только кажется не очень важным, а на самом деле — основа основ.

Жизнь (в любой реальности) — это магия, хотим мы того или нет. Просто не такая магия, о которой мы знаем из сказок, а совсем другая. Сложная, непонятная, часто (в нашем случае, так точно) очень медленная. Незаметная глазу и обычно недоказуемая, отчего становится вопросом веры. Да еще и вопросом выбора веры, и вопросом удержания внимания на вере — вопреки не только фактам, но и отчаянным воплям

интерпретирующего их ума.

Нынешние текущие события в мире, на первый взгляд, совершенно не похожи на конец Кали-юги. Будем честны, они гораздо больше похожи на ее начало.

Штука, конечно, в том, что прошлое никогда не уходит без сопротивления. Особенно после того, как уже стало прошлым. Сопротивляться оно может яростно. Может даже утащить с собой в пропасть наступившее будущее, то есть нас всех. Но это не отменяет того простого факта, что мы уже есть. Точнее, что есть — только мы. А все остальное — морок. Страшный, смертельно опасный, но не имеющий никакого смысла. Не имеющий бессмертной составляющей. И ни малейшего шанса на продолжение.

Что-то вроде бесов, которые, по заверениям моих религиозных знакомых, толпами лезут на святых, уединившихся в пустыне для окончательного просветления. И приход их, по словам специалистов, означает правильное течение процесса.

Единственное, что могут сделать живые и подлинные, заранее сбывшиеся на страшной границе двух эпох люди будущего вот прямо сейчас — не испытывать ни страха, ни ненависти, ни даже желания наказать зло. Причем не ради торжества собственной просветленности, а потому что зло питается страхом, ненавистью и прочими проявлениями внимания. И подход «нехай подавится» тут не катит. Оно не подавится, оно налопается и проживет дольше, вот и все.

Что мы действительно можем сделать — знать, что этих бесов на самом деле нет. Знать — вопреки фактам, которые кажутся более чем убедительными. Знать — вопреки собственной (слишком) человеческой природе, которая хочет спрятаться, пряник и убить врага. Это очень непростое волевое усилие, но если что сейчас и сработает, так только оно.

Я отдаю себе отчет, что понять меня довольно непросто. Но тут ничего не поделаешь. Надо понимать. Оно того стоит.

Как-то мало в этом году было гроз, — говорю я. — Да почти вовсе не было, обленились они там, на небесах.

И ровно в этот момент (вот прямо сейчас, еще продолжается) раздается страшный небесный грохот, потом еще и еще, и в ночном небе один за другим расцветают поразительной мощи и яркости фейерверки.

Красиво отмазались.

Кипарисы

Катались на водном велосипеде в Тракае, нарочно приехали туда попозже, ближе к закату. В какой-то момент перестали крутить педали, дрейфовали, смотрели по сторонам. И тогда

тополя на дальнем берегу стали кипарисами, пресные воды озера Гальве — солеными водами Средиземного моря, а кем стали мы, понятия не имею. Скорее всего, никем.

Ключ от города

История возникновения города или миф о возникновении города (миф, хотим мы того или нет, концентрат истории; сколько ни разбавляй его фактами, миф все равно останется в основе конечного состава) — так вот, миф о возникновении города дает отличную подсказку: где мы оказались, и как здесь себя вести, если хотим быть не обузой, а необходимой деталью.

Миф о возникновении Вильнюса (княжий сон о железном волке, интерпретация жреца, инициировавшая строительство города) наглядно показывает, что в фундаменте нашего города лежит результативная коммуникация — человека с иной реальностью и человека с человеком, причем в результате последней воплощается и овеществляется первая.

Иными словами, Вильнюс — счастливый итог практической реализации высшей октавы дружбы — объединения усилий, приводящего к наглядному изменению мира.

И вот нам ключ от города. Бери и пользуйся, кто не совсем уж дурак. На день ли ты сюда приехал, на год ли, на вечность ли.

Иной способ действий в Вильнюсе — мимо кассы. Кто не умеет деятельно дружить в высшей октаве, тот не в игре. А, например, в болоте. Ничего личного, бульк.

Ясно, почему этот город наложил на меня лапу.

И про некоторых других тоже теперь ясно все.

Книга Йоба

То есть, «Jobo Knyga». Так было написано крупными оранжевыми буквами на черной рекламной листовке, и мне сразу пришло в голову, что, во-первых, это, конечно, лучшее в мире название книги, которую каждый из нас пишет всей своей жизнью (привет, Хорхе Луис); во-вторых, в соответствии с правилами литовской грамматики, владельца книги зовут Йобас — хорошее, честное имя, вот как должны были звать нашего общего первопредка, нексуса самой первой модели, а вовсе не «Адам».

Только минуту спустя до меня дошло, что «Jobo Knyga» — это просто «Книга Иова», а Йобас, соответственно, и есть Иов, ему это имя очень идет, не хуже, чем Адаму.

Впрочем, оно кому угодно идет, включая девочек. Все мы Йобасы на этом празднике органической жизни, данной нам в ощущениях, далеко не всегда приятных, зато разнообразных, факт.

По ночному городу по-прежнему носится синий рождественский поезд-призрак, сверкающий огнями и

совершенно пустой; говорят, по выходным он набит битком, на остановке даже собирается очередь — теоретически, верю, но мне он всегда попадается пустым, моя персональная виленская сказка, этакий сапог для сапожника, совершенно в моем вкусе, абсолютно ни о чем. «Ни о чем» — значит, обо мне. Я же говорю, у нас с этим городом совершенно одинаковое чувство комического, и он все время меня троллит, твердо зная, что всякая стрела попадет в цель. Цель совершенно не возражает, мне важно говорить на одном языке, а что именно мне говорят — да какая разница, общность языка превыше сиюминутного смысла высказывания, потому что она сама по себе смысл. Отнюдь не сиюминутный.

Синий рождественский поезд-призрак, сияющий неактуальными уже разноцветными огоньками, порожняком мчащийся сквозь январскую морозную тьму по пешеходным улочкам Старого Города, по парадному проспекту имени спящего князя (бывшему имени мумии), путающийся в ногах (колесах) серьезного городского транспорта, задерживающий на светофорах подержанные (бывшие дорогие) автомобили — меткая пародия на меня, одновременно злая и комплиментарная, это я очень хорошо понимаю. Не с гордостью, не с печалью, а просто соглашаюсь: да, это так. Мы с рождественским поездом — милое абсурдное излишество, пользы от нас немного, строго говоря, вообще никакой, кроме того факта, что в «Книге Иова» (Йобаса, конечно же, Йобаса) о нас не написано ни слова, мы из другого анекдота. Мы — ваша надежда, что этот другой анекдот хоть где-нибудь есть.

Когда мы встречались с читателями, мне процитировали кого-то (имя не помню), сказавшего, будто художники делятся на две категории: «правильный художник в неправильном мире» и «неправильный художник в правильном мире». И спросили, кто в таком раскладе я.

А я и не знаю.

Ну то есть как — я знаю, что деление чего бы то ни было на две категории — всегда ложь, придуманная ради ублажения лености человеческого ума.

И еще я примерно знаю, что имел в виду автор процитированного изречения: многие люди (не только художники) описывают свои отношения с реальностью одним из описанных способов.

И еще я знаю, что я ничего не знаю (пришел, пришел тот светлый период жизни, когда это уже не цитата, а просто понимание сложности бесконечно огромного мира и ограниченности возможностей собственной человеческой, слишком человеческой головы). Исходя из этого, я, конечно, не

пойми кто в не пойми каком мире (и это очень, очень близко к правде).

С другой стороны, «правильный» — это же просто вопрос доверия к перетасовавшему нас и бросившему на стол Игроку. Если нам кажется, будто Он — лось неразумный, тогда что-то безусловно должно быть неправильным: или я, или мир. Ну или вообще все, чего мелочиться.

Но если думать, будто Он знает, что делает, концепция не может не измениться. Все мы становимся правильными фигурами, правильно расставленными по местам на самой правильной сцене, какую только можно вообразить. Хотя вообразить, конечно, нельзя; в сцену тоже можно только верить.

И вот в эпицентре этого восхитительного сияющего незнания, скудной верой своей я утверждаю сияющий огнями неидеальный, но единственно верный мир, где люди, с большинством которых мне не о чем, незачем и неинтересно было бы говорить, радуются, обижаются друг на друга, плачут, целуются, садятся за стол, смотрят в окна, курят, выскакивают в ночь погулять с собакой, спят, видят сны.

Я хочу сказать, мне совершенно неинтересна вся эта людская суета. Я хочу сказать, она для меня священна. Потому что я доверяю Игроку, который устроил все именно так. А что меня не спросил, так это нормально. Было бы странно, если бы спросил.

Мне, будем честны, мало что нравится тут, в этой вашей реальности, зачем-то данной мне в слишком острых ощущениях. И именно поэтому она (нелепая реальность, данная зачем-то в ощущениях именно мне) стала идеальным полигоном для учений, цель которых — разбудить способность любить.

Поэтому совершенно неважно, кто я. И не очень важно, насколько правилен этот мир. Важно, что он действительно полон любви, которая льется натурально с неба вечным благодатным дождем. Мне каждый день удается промокнуть под ним насквозь. А кому не удается, не беда, не все сразу. Ни одному живому (в высшем, не биологическом смысле слова) этой участи не избежать.

Будьте живыми, пожалуйста. Мы все трогательные такие дураки, органические на всю голову.

Когда-нибудь на небесах (в сияющем лотосе, где угодно, на ваш выбор) будем вспоминать, как подписались статистами в этот самодеятельный спектакль о жизни на планете Земля, поржем. И сентиментально заключим, что это были хорошие времена.

И вот оттуда, из нашего общего далекого, но неизбежного прекрасного будущего, из самого центра сияющего лотоса, с самой вершины горних небес я шлю всем нам сюда бутылку с

письмом, в котором сказано: «Чуваки! Хорошие времена — это уже вот прямо сейчас».

Короткий путь от трамвайной остановки до нашего отеля выглядит так: надо выйти на платформу, оглядеться по сторонам, сделать вывод, что лет пять в этих краях отбушевал зомби-апокалипсис (у тогдашних зомби давным-давно вышел срок годности, поэтому их уже тоже нет), полчаса спустя отловить чудом выживших аборигенов, расспросить их о дороге, содрогнуться, пройти мимо бараков с изображениями овчарок, нырнуть под мост, по узкой темной дорожке подняться на железнодорожную насыпь и идти через лес вдоль путей в полной темноте, освещая себе путь фонариком — как это, нет фонарика? Ну, пеняйте на себя. У меня есть.

Пока идешь через лес в полной темноте, думаешь, что аборигены пошутили (перепутали, не сумели правильно объяснить по-английски, решили обманом завести тебя в темный лес и там съесть). Ну, то есть не то чтобы вот прям думаешь, но минут пять спустя подобные мысли как бы невольно возникают в голове, как бы сами собой. Потому что тьма сгущается, рельсы бесконечны, никаких намеков на близость большого отеля нет, и ясно же, что…

Но если достаточно долго идти в полной темноте, наступая в бледное пятно света своего фонаря, в какой-то момент видишь на тропе два больших черных камня (вроде Черных Камней Гингемы в пустыне, отделяющей Волшебную Страну от человеческого мира), проходишь между ними, и впереди сразу появляется освещенная фонарями поляна, окружающая отель. И между нынешним тобой и недавним путником, шагавшим по темному лесу без особой надежды однажды куда-то прийти, сразу возникает бездна непонимания. Совершенно не укладывается в голове, что этот бедный придурок, ощущавший темный лес бесконечным, а бледный луч своего фонаря — единственным источником света во Вселенной, и есть ты.

Какое, к черту, «я»?! Я — нормальный человек, только что добравшийся от трамвайной остановки до отеля кратчайшим путем, без намека на приключения, какие могут быть приключения, помилуйте. Какая ерунда.

Нечего и говорить, что все последующие прогулки по этому маршруту становятся просто приятными прогулками. Ничего особенного в них больше нет (особенно если у вас по-прежнему есть фонарь).

И если это не метафора всей нашей жизни, то даже и не знаю, что тогда она.

Кто-то из знакомых недавно спрашивал себя, удалось ли

дать (рассказать, объяснить, показать) подросшему уже ребенку то, что поможет ему быть счастливым. Понятно, что вопрос риторический, и ответа на него быть не может. Но я теперь весь день думаю, какую информацию о жизни сейчас, задним числом, хотелось бы получить в подростковом возрасте? Сейчас-то понятно, чего мне (именно мне, а не среднестатистическому коту Шредингера в вакууме) больше всего не хватало — если не для счастья (которому еще поди дай определение, не залезая в разговоры об энергетической природе человека и не стряхивая с себя маленьких зеленых чертиков, которые в ходе таких разговоров налипают), то для более прекрасного течения жизни, скажем так.

Так вот, мне хотелось бы пораньше узнать, что:

— Мирозданию в целом доверять можно и даже необходимо, но это вовсе не значит, что можно доверять людям. Это вообще разные опции. Из свинского человеческого поведения вовсе не следует, будто мир в целом «плох» и «зол». И что все люди подряд «плохи» и «злы» из этого тоже не следует. Но и считать их чуть ли не всех подряд «хорошими» тоже не нужно. В каждом новом случае нужно разбираться отдельно и заново. И учиться динамическому балансу, а не прочному утверждению в любой из позиций.

— …Наказаний не бывает, а бывают причинно-следственные связи. И это принципиально разные вещи. Это знание особенно пригодится лет в восемнадцать, когда прочитавшие по полторы эзотерических брошюры на рыло старшие товарищи будут кармой пугать. Которая тоже ни что иное как неочевидная человеческому уму совокупность причин и следствий, а не злая воля какой-нибудь неумолимой небесной училки.

— Ни за что не надо «платить». В том смысле, что за минуты радости вовсе не надо «платить» минутами (а то и годами) горя-несчастья. Просто жизнь сама по себе — это череда перемен, изменяется вообще все, иногда изменения нам нравятся, иногда нет. Но это естественный ход вещей, а никакая не «плата» за что-то там прекрасное. Думать иначе — отравительство.

— Страх, который всеми силами и способами воспитывает в любом человеке социум, еще никому никогда не помогал.

— Этот мир полон магии, просто она тут обычно медленная и не эффектная. И часто недоказуемая.

— Больше всего этой магии мешают собственные представления человека о мире. Поэтому лучше ни в чем не быть уверенным до конца. И не строить ожиданий, базирующихся на предыдущем опыте. Потому что сила человеческого сознания столь велика, что если бы мы увидели ее работу своими глазами,

в штаны наложили бы все.

Еще много разного не помешало бы получить в юности, включая стомильенов наследства, но вышеперечисленное — базовое.

Культивируя бессмысленную сложность

Это друг W.H. сказала, рассуждая о средневековой музыке, которую мы перед этим слушали, что-то вроде: «…когда простые люди с простыми инструментами вдруг начинают культивировать бессмысленную сложность…» — дальше, по логике, должно было следовать заключение, что в таких обстоятельствах, собственно, и случается чудо, именуемое искусством, но я этого не помню, потому что формулировка меня проняла до костей. Культивировать бессмысленную сложность! Эти слова следовало бы начертать на моем фамильном гербе, но он куда-то запропастился, поэтому пусть будет здесь.

Меж тем мы не просто так трепались о средневековой музыке, а вышли из Тракайского замка, где вильнюсский ансамбль старинной музыки «Canto Fiorito» под предводительством человека с альтернативно литовским именем Родриго Калавейра исполнял музыку времен князя Витовта, то есть рубеж 14–15 веков, как-то так, ars subtilior, полифонический трындец всему живому, и в первую очередь музыкальному наркоману в моем лице.

Я довольно редко хожу на живые концерты, потому что от хорошей музыки мне делается совсем трудно оставаться в твердом человеческом состоянии, от хорошей музыки я лечу во все стороны сразу, оставаясь при этом на месте, и вот это несоответствие страшно бесит, того гляди махну на все рукой и перестану быть. А это пока все-таки рановато, у меня тут, господи боже, столько дел, столько бессмысленной сложности, культивировать которую кроме меня, конечно, есть охотники и умельцы, но не так много, как хотелось бы. Поэтому сигареты, кофе и сигареты. Удивительный все-таки закрепитель. Две сигареты, два горьких эспрессо, и все, я снова дурацкий твердый человек. И никаких (почти) последствий этого средневекового музыкального ужаса, хитро задуманного таким образом, чтобы от прослушивания его даже в самом безнадежно тупом человеческом существе пробуждался, извините уж мою солдатскую прямоту, дух, поднимался вверх по позвоночнику и, пробив твердую черепную кость, устремлялся в небо, где ему самое место, а потом возвращался домой с гостинцами. И человек становился чуть-чуть меньше скотом и чуть-чуть больше ангелом. На какой-нибудь кубический ангстрем, но такие дела быстро обычно и не делаются.

Я хочу сказать, она физически так воздействует, эта чертова средневековая музыка. То есть не чертова, конечно, а ровно наоборот. Но все равно.

М

Меня как-то незаметно втянуло в тайную систему равновесия, где долг всего живого — как можно дольше и явственней быть. Потому что каждая дополнительная минута подлинного бытия может уравновесить вечность небытия (вечность только кажется чем-то большим, а на самом деле она почти невесома).

Наглядные свидетельства подлинности бытия очень нужны, потому что человек слаб и нуждается во внешней опоре. Я — тоже человек и тоже (иногда) нуждаюсь, факт.

Мне кажется, подлинные задачи литературы (и искусства в целом) некоторое время назад кардинально изменились.

Некоторая часть человечества, условно говоря, «наелась», обустроилась, согрела попу и выучилась контролировать деторождение. Это означает, что у большого числа людей высвободилась часть ресурса, который раньше расходовался на обслуживание собственных физических потребностей и потребностей постоянно пополняющегося потомства.

И теперь вопрос стоит так: на что мы потратим высвободившийся ресурс.

Понятно, что уважаемое человечество тратит его на всякую фигню типа сложносочиненного потребления. Но есть и другая тенденция: тратить высвободившийся ресурс на творчество. Я имею в виду все эти бесконечные фанфики, стишки, любительские фоточки, бесконечные потоки рукоделия, бесчисленные художественные и музыкальные школы для взрослых. Что-то подобное существовало всегда, но масштабы несопоставимы.

Как частное лицо и нежное зайко, я могу сколько угодно приходить в ужас от результатов описанного процесса. Но как аналитически мыслящая монада не могу не понимать, что эта тенденция сама по себе очень крута.

Штука в том, что почти всякий начинающий, неумелый художник обычно счастлив в процессе — в отличие, кстати, от большинства профессионалов, для которых творчество — это, в первую очередь, тяжелый повседневный труд.

И я начинаю думать, что искусство постепенно превращается в своего рода инструмент добычи радости. Ценностью (по большому счету) становится не совершенный результат творчества, а его счастливый процесс. Оно и правильно: хороших книжек, картинок, музыки и пр. человечество уже и так

наворотило предостаточно. Современному человеку долгой жизни не хватит, чтобы усвоить все заслуживающее внимания. При этом радость (особенно радость вдохновения, то есть деятельного единения с Духом) — в большом дефиците. И — смотрите-ка! — все больше народу идет трудолюбиво добывать эту радость для себя. А будут они при этом валять войлочных зайцев, переписывать финал «Гарри Поттера» или сочинять симфонию при помощи специальной компьютерной программы для не владеющих музыкальными инструментами, какая разница.

Как потребитель культурных ценностей я, повторюсь, в ужасе, и мне хочется немедленно все отменить. Но рассматривая ситуацию с позиции, скажем так, Мироздания, я понимаю, что начался очень правильный процесс. И хорошо бы он не заглох.

Мне не раз доводилось встречаться с концепцией, гласящей, будто художник так счастлив в процессе простигосподи творчества, и еще более счастлив, когда его простигосподи творчество получает внимание почтеннейшей публики, что должен работать бесплатно. Концепция, конечно, хорошая, но слишком, я считаю, гуманная и мягкотелая: от голода человек подыхает довольно долго и еще много дополнительных смыслов может успеть смастерить на коленке в процессе, так что лучше сразу серебряная пуля и осиновый кол для верности, меньше будем мучиться и мучить почтеннейшую публику своими сияющими смыслами, которыми ни одного лба все равно не прошибить, но сердце растревожить все-таки можно.

Мокрый снег — это даже лучше, чем труп врага, проплывающий по реке. Весь годовой запас злорадства и немилосердия можно израсходовать, глядя, как он тает, еще не коснувшись земли. И думая: вот тебе, вот тебе, вот тебе!

В некоторых вопросах я — злобный психопат.

Мутабор

В раннем детстве мне казалось, что мой человеческий облик — явление случайное и, уж точно, кратковременное. Прежде было как-то иначе (вот-вот вспомню, как именно), сейчас так, а скоро превращусь во что-нибудь еще. Например, в облако, ветер или воду. Хорошо быть текущей водой!

И так странно было каждое утро просыпаться все в том же твердом человеческом виде. Не печально, не обидно, а просто удивительно: как, опять? Ну надо же. Ладно, значит завтра. Ждем.

Почему бы не подождать.

Кто же знал, что за первые пару лет беззаботного ожидания привычка быть человеком успеет стать прочным фундаментом бытия. И однажды, наблюдая, как утекает в открытое сливное

отверстие ванны вода, я заору от ужаса и потребую, чтобы меня немедленно вынули, завернули в полотенце, унесли и спасли от неизбежного утекания в черную дыру. Потому что в этот момент мне еще было известно о дивной возможности превращения во что угодно, включая жидкость, но уже панически страшно, что она реализуется прямо сейчас.

Это называется: добро пожаловать в человеческий мир. Страх — обычная входная плата. А на сдачу, как я понимаю теперь, новым членам клуба дают утешительное забвение, помогающее ужиться с таким положением дел.

Меня в той кассе, получается, обсчитали. Поэтому я довольно много помню о тех смутных временах, когда текучее как вода существо принимает человеческую форму и начинает застывать.

Я умею читать с трех лет; так получилось. Моими первыми книжками стали родительские журналы «Крокодил», «Вокруг света», «Наука и жизнь»; годом или двумя позже появились настоящие детские книжки. Сказки, конечно. Считается, будто это — самое подходящее чтение для детей.

Кстати да, вполне подходящее. Именно в волшебных сказках рассказываются по-настоящему страшные вещи. Все эти журналы для взрослых с красочными картинками, наглядно иллюстрирующими строение кишечника, и карикатурными изображениями взрослых дядек, избивающих ремнем детей, ни в какое сравнение не идут. Хотя все равно, конечно, ужас. В своем роде.

Но сказки — страшней.

Вот, например, история Вильгельма Гауфа про калифа-аиста.

Если не помните, там повествуется о том, как калиф Хасид и его визирь недорого, по случаю закупились волшебным порошком для превращений; к порошку прилагалось волшебное латинское слово «мутабор», которое следовало произнести, чтобы превращение состоялось. Это же самое слово «мутабор» следовало произнести еще раз, чтобы снова стать человеком. «Будучи превращенным, остерегись смеяться, иначе волшебное слово совершенно исчезнет у тебя из памяти, и ты останешься зверем», — предостерегала инструкция, приложенная к порошку.

Ясно, что они рассмеялись и тут же забыли нужное слово. Если бы сказочные герои не нарушали запреты, то и рассказывать было бы не о чем.

Далее следует история об отчаянии, поиске выхода, волшебной помощнице сове, хвастливой болтовне злых колдунов, счастливом спасении героев, наказании разбушевавшихся в отсутствие калифа злодеев и неизбежной женитьбе на прекрасной принцессе; она меня, признаться, не особенно заинтересовала.

Слишком велико было потрясение от неожиданного открытия: превратившись во что-то иное, мы можем утратить память о чем-то самом важном.

А память, казалось мне в детстве, это и есть «я». Забыл волшебное слово — и ты больше не калиф. Все сходится!

Теперь-то я знаю, что это не так. Генри Джекил помнил все выходки Хайда, Хайд знал о делах и замыслах Джекила, но память не давала ни одному из них власти над другим.

И вопрос тут не в том, насколько достоверно описывает жизнь литература (что касается поведения в измененных состояниях сознания, Стивенсон вполне точен). А в том, есть ли кто-то кроме Джекила, Хайда и еще кучи персонажей, которыми теоретически мог бы стать доктор Джекил, окажись его эксперимент более успешным и продолжительным.

То есть кто именно превращается?

Поиски ответа на этот вопрос сродни поискам эликсира бессмертия. Впрочем, почему «сродни»? Это одна и та же задача.

Ясно же, что Джекил, Хайд, аист, калиф, хохочущий ребенок в тяжелой цигейковой шубке, только что впервые в жизни свалившийся с санок, старик, поскользнувшийся на обледеневшем крыльце семьдесят лет спустя — только маски на бесконечном празднике превращений, данных нам не столько в эффектных ощущениях, сколько в осознании — чаще потом, задним числом, но иногда и мгновенном. И если существует что-то, хотя бы отчасти соответствующее значению местоимения «я», оно — не одна из масок, а тот, кто их носит. Тот, кто давным-давно забыл волшебное слово «мутабор», но однажды обязательно вспомнит, и тогда калиф возвратится домой, Джекил и Хайд обнимутся, станут восклицать, перебивая друг друга: «Ты помнишь?!» — а старик, упавший с крыльца, подскочит, как резиновый мячик, рассмеется и побежит, неуклюже путаясь в полах своей цигейковой шубки.

Мы думаем

Я думаю: «Боже мой, кошечка так меня любит, так любит. Спит каждую ночь со мной, прижавшись к боку теплым животом, не встает, пока я не проснусь, а потом, наевшись и наигравшись, снова ложится на мою кровать, только там теперь и дрыхнет, словно других мест в доме нет».

«…Блин, — думает Маленькая Белая Кошка, — ну когда ты уже поймешь, балда, что это теперь МОЯ КРОВАТЬ! И найдешь себе какое-нибудь другое спальное место».

И вытягивается как колбаса, и раскидывает в стороны все четыре лапы, чтобы занять как можно большую площадь и наглядно показать глупому человеку, что больше ни для кого

места в этой кровати нет.

Мы сидели на дурацких железных стульях возле маленького «Кофеина» на Диджои, а мимо шла и шла бесконечная вереница совсем новеньких взрослых людей, не то старшеклассников, не то студентов-первокурсников, все с большими рюкзаками, некоторые еще и с рулонами пенки, и их было очень много, без преувеличения, несколько минут шли мимо нас. Выглядело это так, словно все уведенные из Гамельна дети наконец-то подросли и вот добрели до нас, привет.

Но про крысоловьих детей мне только сейчас пришло в голову, а тогда, на улице Диджои, была совсем другая версия. Как будто города время от времени обмениваются жителями. «Ой, — говорит один город, — что-то тут у меня внезапно переизбыток эффективных менеджеров под сорок и слегка за, расплодились, не продохнуть, может надо кому?» «Отлично, — отвечает другой город, — у меня их как раз вообще почти нет, а ведь в умеренном количестве они очень нужны, есть дела, которые больше никто не сделает. А у меня сплошная молодежь, балбесы бестолковые, очень славные, но совершенно непонятно, где их учить и чем кормить, давай меняться».

И города бьют по рукам, после чего аэропорт одного из них внезапно заполняется усталыми людьми с холеными лицами и дорогими чемоданами, которые, задай им вопрос, на кой их внезапно понесло из одной налаженной жизни в другую такую же, на секунду станут растерянными, потом опомнятся, скажут: «По контракту», — подхватят дорогие чемоданы и отправятся на стоянку такси. А по улицам другого города будет брести толпа молодежи с рюкзаками, вот как у нас.

Н

На Антокольске, возле кафе «Rene», где еще на прошлой неделе выставили на улицу столы, зацвела дикая слива. То есть вот натурально, совсем-совсем зацвела, белая пена, все дела. Остальные фруктовые деревья еще даже думать в эту сторону не начинали, а она — уже.

Видимо, некоторые городские деревья реагируют не на длину светового дня и температуру воздуха, а на человеческое поведение. Смотрят: ага, кафе выставили на улицу столики, ясно, значит весна, пора цвести.

«Людям виднее, когда весна, они существа примитивные, дикие, у них инстинкты, их не обманешь», — думают городские деревья. И в чем-то они, несомненно, правы.

На проспекте остановилось такси, из подворотни выскочила стайка прехорошеньких юных барышень, одна держала в руках здоровенную черную шляпу, точнее, цилиндр — осторожно, за внешнюю сторону тульи и на некотором расстоянии от себя. Барышни погрузились в такси и поехали, а я теперь думаю, что этот рассеянный балбес волшебник опять потерял свою шляпу, и гадаю: интересно, успели ли барышни положить в шляпу словарь иностранных слов, и понравилось ли им то, что оттуда через некоторое время повылезло?

Но они укатили, поэтому ответа я не получу, разве что загляну сейчас в подворотню, из которой они выскочили, посмотрю, что там теперь живет.

(Впрочем, возможно, сами барышни были случайно залетевшими в шляпу воронами? Ну, то есть одна случайно, а остальные уже намеренно залетели, какой вороне не захочется стать хорошенькой юной барышней и укатить куда-нибудь в такси.)

На самом деле уэллсовские морлоки и элои суть одно и то же.

И те и другие целиком сформированы обстоятельствами своего существования. Так из двух щенков одного помета могут вырасти два совершенно разных пса — в уличной стае и у хозяина-добряка, закармливающего стерилизованного пета конфетками.

И это совершенно неинтересно, убийственно неинтересно, поэтому милосердный Господь милосердно отворачивает от них свой милосердный же лик, чтобы не изблевать что-нибудь этакое из уст своих прямо им на головы.

Ну, то есть пока может, отворачивает и терпит, а потом — выноси дрова, но речь не о том.

А о том, что подлинная жизнь сознания начинается с включения созидательной воли. Направленной, для начала, на созидание себя. Далее — везде.

И тогда крестьянская девочка возглавляет войско, рыбацкий сын пешком идет учиться в университет, а избалованный домашний пес спасает жизнь хозяина. Ну или, напротив, злобный помоечный пес охраняет от своих подельников условного младенца. На самом деле совершенно неважно, кто что делает, совершенно необязательно это подвиг, важно, что настоящая жизнь — это когда действует не пакет рефлексов и навыков, сформированных обстоятельствами, а самостоятельное, осознающее себя существо, наделенное созидательной волей. Не будем делать вид, будто не знаем, откуда она берется и с Чем связывает нас.

На свете счастье есть, его две штуки, — говорю я всякий раз, входя в дом. Две штуки взволнованно орут, тычутся в руки мокрыми носами, валятся на бок, подставляя мягкие животы.

Когда я возвращаюсь после одной минуты отсутствия (например, за забытым телефоном), ритуал встречи воспроизводится с тем же тщанием.

Если бы наши кошки были надменными бессердечными эксплуататорами человеков, как им по легенде положено, мне было бы за них спокойней, честно говоря. Нельзя же так любить человеков! Так человеки, того гляди, на голову сядут и консервы станут отбирать.

На свете есть и другое счастье. Его обычно называют «счастьем бытия»; гораздо реже его называют «любовью» или «вдохновением», потому что эти слова обросли какими-то совсем уж ненужными смыслами, но все равно счастье — это вот все оно. Льется с неба, зараза такая, не убережешься, и темные очки по весне бывают нужны не столько от солнца, сколько для того, чтобы скрыть от прохожих вот этот нелепый мокрый блеск глаз. А то идет по улице взрослый человек, рыдает зачем-то от счастья, невыносимое же зрелище, уберите, невозможно на это смотреть.

Но я ничего, я очень незаметно рыдаю от счастья, вы ни за что не догадаетесь, даже если пройдете совсем рядом. Потому что у меня сила воли и редкостная самодисциплина. Ну и темные очки.

Напились и буянили

Распили на шестерых одну бутылку болгарского снежного вина (фальшивого, как утверждают болгарские виноделы, но вкусного, как я не знаю что) в дружественном кафе при французском культурном центре, где художница Ленуте продает бейглы. Один из нас, тем не менее, напился и буянил — опрокинул всю посуду и полил остатками айсвайна (да-да, были еще и остатки) всех, кто не успел спрятаться. Настоящий художник!

(Понятно, что он просто нечаянно задел локтем бутылку, которая в падении совершенно самостоятельно задела все остальное, однако формальные признаки состояния «напился и буянил» соблюдены, это важно.)

Подозреваю, таковы последствия моего саркастического комментария перед выходом из дома с одной-единственной бутылкой: «Ужремся вусмерть и будем буянить». Когда довольно долго не врешь (вообще не врешь словами, ни устно, ни письменно, позволяя себе максимум — молчание в некоторых особо стремных случаях) слова приобретают убийственную силу. Одно дело знать это теоретически, а другое — до этого момента

дожить. И получить на практике буквальное осуществление даже самой дурацкой и невыполнимой шутки. Формальное, а все же.

Очень впечатляет. И приучает трижды думать прежде, чем глупо пошутить. Ну, я надеюсь, что приучает — лично меня. А то всему живому кранты от моего чувства комического. Я ж еще и про апокалипсис трижды в день шучу. Как минимум.

Например, бука

Вот, например, на окраине большого села завелась Бука. Большая и страшная. И велела всем совершеннолетним поселянам каждый вечер приходить за околицу, там она будет бить их по голым жопам хворостиной. Не очень больно, но обидно. Издевательски при этом хохоча и фотографируя процесс для своего фейсбука. Например.

Таковы условия мирного сосуществования поселян с Букой. Что будет в случае неповиновения, никто точно не знает. Но есть разные версии. Кровавые, по большей части.

И вот например, в селе подрастает человек, который решил, что не станет ходить к Буке. Не хочет получать по голой жопе хворостиной, и точка. А если за это голову откусит, так тому и быть. Он готов рискнуть.

И вот например, человеку исполняется сколько надо лет. Пора идти к Буке. А он не идет! Все село с нетерпением и трепетом ждет, чего будет. А ничего! Бука что-то там бурчит недовольно под нос, дескать, если все такие борзые станут, то придется другое село искать, наплачетесь без меня! Но тем и ограничивается. Например.

И вот теперь начинается самое интересное.

Есть два основных способа поведения в такой ситуации.

1. Сказать: «Ура, так значит можно не позволять Буке бить нас по жопам хворостиной!» И перестать ходить по вечерам за околицу.

2. Сказать: «Как это — он не хочет по жопе?! У нас так не принято! Надо наказать!» И наказать героя своими силами или просто капать на мозги Буке: «Ты чо это? А ну давай его накажи! Какой пример всем подает?!»

Пока человечество выбирает второй вариант поведения, оно — дурак. И ничего ему не поможет, сколько бы Богов не приходило на землю спасать его бедные души. И сколько бы Бодхисатв не перерождалось в антисанитарных условиях с целью облегчить его страдания.

Потому что такое человечество — само себе Бука. Ровно до тех пор, пока выбирает второй вариант.

Насколько близок и понятен мне всегда был Шерлок Холмс, настолько непонятен и даже неприятен его

предшественник Огюст Дюпен, изобретенный Эдгаром По. «Неприятен» — это, впрочем, неточно. У меня просто голова начинала болеть от того, что Огюст Дюпен и его методы существуют, пусть даже только в книжке. Какая разница.

Ужас же (на самом деле никакой не ужас, а просто интересная особенность) состоит в том, что когда мне приходится разбираться с какими-то загадками на практике, мой метод куда ближе к дюпеновскому, чем к холмсовскому. То есть скорее не сам метод, а только впечатление от него. От Холмса у меня всегда оставалось умиротворяющее впечатление упорядочивания мира: вот был хаос, вот пришел эксперт, разложил все по полочкам, хаос укротился, восстановился порядок, все танцуют. А от действий Огюста Дюпена впечатление было такое: вот был хаос, вот пришел эксперт, посмотрел на это дело, впустил хаос в себя, сошел с ума, и тут же все понял.

(Возможно, мое впечатление в обоих случаях отлично как от авторского замысла, так и от традиционного восприятия обоих персонажей, но оно таково.)

И мне совсем не нравится, что собственное устройство понуждает меня всякий раз погружаться в трансцедентальный бред, терять связь с реальностью, сходить с ума, чтобы максимально приблизиться к состоянию безумия тех сил, которые управляют миром, и, таким образом, разобраться, что на самом деле происходит. Мне хотелось бы как Холмс, можно даже без кокаина, что нам тот кокаин, когда в голове порядок.

Не может быть никакой золотой эры, пока сытый хомосапиенс с айфончиком сидит на теплом унитазе, испытывая при этом совершенно звериные пещерные страсти. То есть желая утвердиться поближе к корыту с хряпой и иметь при этом как можно более широкий инструментарий отпихивания от хряпы посторонних. Пока сытость не отменяет жадности и жестокости, человечество просто не доросло до собственных унитазов.

Несовместимость

Возле маленькой «Максимы» на Гедимино сидит бомж. В состоянии даже для человека его положения избыточно скорбном.

Напротив стоит высокий красивый мужик с бесконечно добрым лицом. Обувь, одежда, стрижка, телефон — все само совершенство. Мужик во все глаза смотрит на бомжа и одновременно говорит по телефону — громко, настойчиво, почти переходя на крик, спрашивает по-английски: «How are you, guy? How are you?!»

Вот как, оказывается, выглядит полная несовместимость ангела-хранителя с подопечным.

Нет никаких гарантий и никаких доказательств, что сегодня

я — та самая личность, которая заснула вчера. И что реальность вокруг та же самая, никакой уверенности у меня тоже нет.

То есть я, конечно, не думаю, будто моя жизнь — непрерывная череда бессвязных галлюцинаций, отягченных приступами ложной памяти. Но допускаю (среди многих других версий), что вполне может быть и так. Почему нет.

Единственная ценность, которая может быть у человека с подобным подходом к делу, — это, конечно, сознание. Вот та самая штука, которая воспринимает и осознает информацию, данную мне в ощущениях и прочих раздражителях — она, безусловно, есть. И она — не личность, не память о событиях в жизни личности (так в некоторых снах я ничего не помню о собственном бодрствовании, зато с той же степенью уверенности помню массу других событий, не имевших места наяву, но при этом помнящий-непомнящий персонаж, несомненно, именно я).

Можно еще очень много говорить на эту тему, но лучше сразу заключить: значение имеют только ясность сознания и осознанность каждого поступка. А что становится для нас ключом к прояснению и осознанию — сливовый табак, капуста, телефонный звонок, молитва, запах, какой-нибудь привычный ритуал, тесное кольцо на пальце, заклинание, дружеская рука на плече, приступ боли, с детства знакомое стихотворение, выстрел, необходимость управлять автомобилем, ведро воды на голову, птичий крик — совершенно неважно. Лишь бы были такие ключи.

НЛО

Я теперь точно знаю, как буду себя вести, когда увижу НЛО.

На нашей лестничной площадке темно — не то по соображениям хтонической безопасности, не то просто, чтобы силам зла в моем лице было уютненько, во всяком случае, сменить лампочку — не помогает, а углубляться в проблему не стали ни мы, ни жильцы квартиры напротив. В общем, на площадке темно, у меня к ключам прицеплен брелок-фонарик, этого достаточно, чтобы с первой попытки попасть ключом в замок.

Но остальные предметы, конечно, видятся смутно. Во мраке.

Сегодня вечером в этом мраке обнаружилось НЛО. Точнее, летающая тарелка. Огромная (диаметром как раз от пола и почти до потолка), круглая. Наверное металлическая; по крайней мере, твердая. Мой локоть тому свидетель.

В этот момент у меня был только один вопрос к мирозданию: какого черта летающая тарелка стоит на ребре? Ей же положено плашмя! И не стоять, а парить. Наверное, сломалась. Бардак. И как теперь ее чинить?! Если мы даже со светом разобраться не можем.

Потом был произведен осмотр НЛО. Осмотр показал, что это, скорее всего, огромная спутниковая телеантенна, которую (наверное) за каким-то бесом притащили соседи. А в дверь она не пролезла, вот и осталась стоять.

Меня охватило неописуемое облегчение. Потому что спутниковой телеантенне на ребре стоять можно! Это совершенно нормально для телеантенны. Вполне допустимо для телеантенны стоять на ребре и не парить плашмя. Значит, все в порядке.

Говорят, в экстремальной ситуации проявляется наша истинная природа.

Я — зануда.

Ноябрь

Я не знаю, что может быть прекрасней ноября. Любой ноябрь хорош, если нет морозов, но невозможно вообразить время года слаще нашего нынешнего ноября, пасмурного и теплого, с температурой +11 днем и +7 ночью, свежей зеленой травой и таким мощным запахом осеннего леса, что натурально шибает в голову, не как шампанское, как самогон.

Самый нежный в мире самогон, настоянный на черных листьях, сбитых на землю злыми, поспешными, как пощечина, октябрьскими заморозками, согретых внезапным горячим солнцем, вымоченных дождями, почти стертых с лица земли ночными туманами, истончившихся до состояния тени; впрочем, они и есть тень.

И когда посреди этого тепла, сочной весенней травяной зелени и мелких лиловых цветов в 4 пополудни начинают спешно сгущаться синие зимние сумерки, окончательно перестаешь понимать, где ты. Не в каком городе даже, а на какой планете, какие тут законы природы и прочие порядки, и как мы теперь будем жить.

И не надо нам этого понимать.

Этот наш ноябрь — как жизнь после смерти. Вечная, даже если закончится буквально неделю спустя.

Нравственный закон внутри меня

На самом деле это такая смешная штука, когда она проявляется на конкретных примерах.

Вот, скажем, ключи от двора.

Прошлая квартира наша была в квартале от проспекта Гедиминаса, самый-самый центр с дорогой по местным меркам парковкой. К дому прилагается огромный двор, где даже в худшие часы дня всегда можно найти место для машины. Для въезда двор закрыт таким специальным столбиком. Всем жильцам полагается ключ, нажимаешь на кнопку, и столбик уходит под землю.

За то время, что мы там жили, столбик неоднократно ломался, его чинили, потом меняли на новый, да так и не поменяли, оставили как есть. В результате всех этих перипетий, у нас образовались два ключа от столбика. Один — неучтенный. То есть его можно было не отдавать хозяйке при расставании.

И у меня в связи с этим были, конечно, прекрасные планы. Оставить один ключ себе и всегда иметь бесплатную парковку в одном из самых понтовых и стратегически удобных мест центра.

Однако, как только дошло до дела, нравственный закон внутри меня встал на дыбы и сказал: «НИМАГУ!» Вот прям не «не хочу» даже, а «нимагу». Что тут будешь делать.

При этом у меня вовсе нет убеждения, будто обманывать непременно «плохо». Более того, я знаю, что этот поступок не причинил бы никакого ущерба другим жителям двора, потому что квартира осталась пустовать до продажи, а это дело долгое. И своего автомобиля у хозяев нет, так что моя машина не заняла бы чужое место. А если бы даже и заняла, мне, честно говоря, плевать: у нас там все равно вечно полдвора левых машин, водители которых обзавелись специальным устройством, позволяющим взламывать чужие электронные ворота. И еще некоторые жильцы тайно пускают посторонних за малую денежку. В общем, обычный бардак.

То есть мой рациональный ум прекрасно понимает, что оставлять себе ключи от двора было можно и нужно. И не стал бы осуждать тех, кто так поступил.

Нравственный закон внутри — это, как выясняется, совсем про другое.

Это — про невидимые потоки силы. И немножко про линии мира. И еще про всякое такое непостижимое и неопределенное.

Я не могу игнорировать это непостижимое и неопределенное, при всей его невидимости.

И при всем желании не могу влиться в поток действий, которые определяю словом «хитрованство». Вот это общее деловитое мельтешение у корыта с питательной хряпой под лозунгом «хочешь жить, умей вертеться». Вот это повседневное торжество инстинктов самосохранения — без моего участия, пожалуйста. Мне это своим участием легитимировать никак нельзя.

И так абсолютно во всем. В любой мелочи.

Нравственный закон внутри — это не про мораль. Это про равновесие мира. И, наверное, выдается бонусом к способности этот мир изменять.

Бонусом же выдается, как я понимаю, дополнительный шанс помереть в канаве, на обочине, потому что физическому

выживанию среди ловких хитрованов способность изменить мир совершенно не содействует. Реальность-то у нас инертная, пока изменится, так все трижды забудут, откуда у изменений ноги растут. И вообще не факт, что доживут.

Но в очереди за хряпой зато не затопчут. Так что хороший бонус, годный, пусть будет. Берем.

Тем более, что он все равно уже есть. И неотменяем.

А бесплатной парковки в центре у меня, конечно же, нет. И черт с ней на самом-то деле.

О

A. Str.

О безобразных телом и образом мыслей[8] или о смехотворности идеи спасения мира

Комическое — как подсказывают нам философские словари — эстетическая категория, отражающая несоответствие между несовершенным, отжившим, неполноценным содержанием явления или предмета и его формой, претендующей на полноценность и значимость, между важным действием и его несовершенным результатом, высокой целью и негодным средством.

«Высокая цель» в данном случае, как понимаем мы, спасение мира (и прилагающегося к нему человечества), не больше, не меньше.

«Негодное средство» — это, как понимаем мы еще более ясно, сам человек, во всей своей мечтательной беспомощности, во всем своем наивном эгоцентризме, сломленный обстоятельствами собственной жизни, с переменным успехом воскрешающий себя к ней подручными средствами. Какие есть, такими и воскрешает. Кому не нравится, отвернитесь.

Он, конечно, смешон. Как и многие из нас, мучительно и сладко ощущающие себя центром Вселенной и не способные при этом справиться с простыми житейскими проблемами. Что в общем не удивительно: справляться с простыми житейскими проблемами действительно гораздо трудней, чем спасать мир, верьте мне, я знаю, о чем говорю. Но только при одном условии: когда потребность спасать мир является для нас фундаментальной. Это или так, или нет. Обманывать себя в этом вопросе можно, но недолго. На одной фантазии долго не протянешь. Равно как долго не протянешь без работы по спасению мира, когда потребность в ней у тебя действительно есть.

Потребность спасать мир — это звучит гордо, кто бы спорил. Однако в быту она довольно неудобна, а наедине с собой — довольно мучительна, поскольку сопровождается чувством личной ответственности за все несовершенства всего человечества сразу, покончить с которыми одним махом ты явно не в силах. И — самая сокрушительная подстава — все наши победы и поражения на этом поприще всегда можно списать на «полет фантазии на крыльях воображения». Они недоказуемы. Или ты веришь себе, или нет. Причем вера совершенно не отменяет отчаяния. И неверие его не отменяет. Отчаяние — это такая разновидность нормы для придурка, вообразившего, будто на его плечах действительно покоится мир.

Вопрос, конечно, откуда мы вообще такие беремся.

В буддизме есть понятие «бодхисатва». Понимание природы бодхисатвы в разных ответвлениях учения немного разнятся, но так или иначе, это существо с пробужденным сознанием, с какого-то перепугу решившее спасти от страданий все живые существа сразу. Ну, чтобы два раза не вставать.

Обычно бодхисатва представляется как некое высшее, надчеловеческое существо, наделенное соответствующими качествами (в Махаяне — как бывшее человеческое существо, развившееся до надчеловеческого состояния в процессе трудовой деятельности, но какая разница). Я недостаточно хорошо знаю буддизм (положа руку на сердце, я совсем его не знаю), поэтому понятия не имею, что сейчас собираюсь сказать: ересь или, напротив, общеизвестную банальность. Но, мне кажется, фишка в том, что решив записаться в бодхисатвы, надчеловеческое существо сперва обнуляется до слабого глупого человека, «безобразного телом и образом мыслей», а уже потом выходит на работу, утратив все, кроме собственно задачи.

И вот стоишь ты, одинокий воин на условной вершине мире, редкостный, удивительный долбоеб, искореженный тяжелым житейским опытом до состояния «мои желания всегда сбываются наоборот», не способный даже на такое элементарное действие, как небольшая коррекция собственного сознания. Стоишь, блядь. Типа спасаешь мир. Все вот это вот, включая мясорубку, перемоловшую тебя так, что живого места нет. Ничего, все равно стоишь, спасаешь, как можешь, хотя не можешь, конечно, почти ничего. А куда деваться. Других спасителей у нас, извините, пока нет.

Штука в том, что это все равно работает. Не само по себе, а как одна из обязательных составляющих спасения. Бесконечности божественной любви всегда недостаточно. К ней непременно надо добавить хотя бы пару сотен несчастных мечтательных придурков

с несгибаемой волей. Это катализатор такой.

Трудно не быть богом, проживая сейчас на маленькой красивой планете Земля и обладая при этом хоть сколько-нибудь чутким сердцем, вот что я вам скажу.

Но никто не обещал, что будет легко.

О призвании

Самая распространенная ошибка — считать призванием профессию, то есть какой-то конкретный род деятельности, приносящий зримый, осязаемый результат. Задумываясь о призвании, люди обычно прикидывают, правильно ли они выбрали себе специальность, можно ли еще успеть ее поменять, можно ли с таким призванием заработать денег, или можно схитрить, сделав из призвания просто хобби, или жизнь-не-удалась-АААААААААААА-спасити.

Дык вот, жизнь — она у нас, конечно, не удалась, потому что органическая, а это довольно мучительно. Но тут ничего не поделаешь. Что же касается призвания, оно — не профессия и не занятие. А оптимальный для каждого конкретного существа способ взаимодействия с остальным миром. Иногда так счастливо совпадает, что находится профессия, в рамках которой этот способ довольно удобно реализовать. А иногда складывается так неудачно, что ни профессий, ни занятий, более-менее согласующихся с призванием, в текущей культуре вообще нет (или, что случается чаще, они-то есть, да мы не знаем, что вот именно в этой неожиданной стороне можно найти оптимальную опору).

Но, в любом случае, призвание совершенно не равно профессии. Все не так просто! И как всякая сложность, это дает дополнительную свободу: вариантов оптимальной практической самореализации всегда больше одного. (Хотя бывает, что в текущих условиях меньше одного, то есть, вообще без вариантов, но, как все подлинные драмы, это все-таки довольно редкий случай.)

Другая распространенная ошибка — думать, будто если уж у тебя есть какое-то призвание, невозможно об этом не знать. Еще как возможно! Почти никто на самом деле не знает. Случаев, когда призвание имеет такую огромную силу, что само волочет своего обладателя за собой, не разбирая дороги, и не дает уклониться, шаг в сторону — расстрел на месте, довольно мало. Огромное счастье, когда оно так, хоть и очень опасное для жизни. Действительно опасное, я совершенно не шучу. И очень хорошо знаю, о чем говорю.

Тем не менее, родиться с призванием такой сокрушительной силы — выигрыш в экзистенциальной лотерее. Мало кому

достается. Вопрос: что делать всем остальным? Неужели профукивать свою жизнь? Можно, конечно. Но есть еще вариант: включить голову и начать расследование.

Это вообще вечный выбор: профукать жизнь или включить наконец голову? Выбор, по-моему, очевиден, но чтобы его сделать, надо знать, что он вообще у нас есть.

Так вот, он есть. У каждого, не у каких-то мистических «избранных». Но шансы профукать этот выбор (а вместе с ним жизнь) тоже есть. Они велики.

Но теоретически всякий вполне способен опомниться, включить голову и исследовать себя. Благо эта лабораторная крыса у нас всегда под рукой. Всякое расследование индивидуально, общих, универсальных рецептов тут нет, кроме, пожалуй, одного: вспомнив свою жизнь, выбрав из нее все моменты чистой, дающей силу радости и разложив их рядком, следует проанализировать их не столько на предмет: «чем мы тогда занимались?», сколько: «каким способом мы это делали?» Это не так просто, как кажется (потому что человек в чьем угодно лице в той или иной степени склонен к самообману), но и не невозможно.

Третья распространенная ошибка — бояться, что призвание не совпадет с нашими текущими желаниями. Бояться бессмысленно: оно скорее всего не совпадет! Обычно не совпадает. Потому что противоречия между интересами духа и инерцией материи никто не отменял. Постоянный конфликт этих противоречий, собственно, и есть человеческая жизнь. Это противоречие — инструмент, предназначенный не для многократного скорбного втыкания в жопу, как может показаться, а для выделки и обработки себя. А выбросить его в кусты при жизни всяко не получится.

О трагическом восприятии мира

Я всегда, включая самые счастливые и даже экстатические моменты, совершенно точно знаю: все, что я делаю, бессмысленно и бесполезно, никакие мои дела не приведут к изменениям тех масштабов, которые я считаю настоящими изменениями, не принесут мне никаких бонусов, кроме, разве что, возможности еще какое-то время оставаться в живых, и да, конечно, плоды моей работы скоро исчезнут, like tears in the rain, бла-бла-бла.

Когда засеваешь пустыню — не каменную даже, а ледяную, довольно сложно не понимать, что ты делаешь и каков будет результат, особенно если при рождении тебе в голову, уж не знаю, за какие грехи, вставили действующий мозг.

Я пишу все это не для того чтобы пожаловаться; жалобы совершенно бессмысленны. Я живой человек и нуждаюсь в

утешении, но у меня нет способности утешения воспринимать, то есть я никогда ничем не утешаюсь, зато отлично утешаю все, что шевелится, даже когда не ставлю перед собой такой специальной цели, короче, в этой жизни я — утешитель, а не утешаемый, такой склад личности, так было задумано, ладно, хрен с вами, Автору видней.

А пишу я это только потому, чтобы показать, как работает созидательная воля, кроме которой у меня, строго говоря, никаких существенных сильных сторон и нет.

А работает созидательная воля так.

Вышеописанная трагическая картина мира, все это понимание тщетности, все это созерцание с заоблачных высот собственного беспомощного копошения на обочине человеческого мира, весь этот жалобный писк, кажущийся изнутри драконьим рыком — оно выглядит примерно как толпа на пляже. Множество печальных скептических мыслей и унылых пониманий якобы подлинного положения вещей лежат как курортники на топчанах и в шезлонгах, некоторые бродят по берегу, кто-то заходит в море; в общем, неважно, вообразить эту картину способен всякий, кто был на пляже хоть раз.

И тут появляется созидательная воля — привет! Созидательная воля — это у нас цунами. Неукротимая и неотвратимая стихия, приближающаяся к пляжу с воплем: «А меня не ебет!» И это, как понимаем мы, не просто слова. Потому что в следующий миг от всех этих вяло копошащихся человеческих мыслишек и пониманьиц не остается даже воспоминания. Волна пришла, и нет ничего, кроме нее.

Фишка в том, конечно, что секунду спустя пляж возвращается на место, как будто ничего не случилось вообще. Но это означает только одно: нужна следующая волна. То есть цунами должно приближаться к этому берегу ежесекундно и ежесекундно же сметать все. Так, собственно, и происходит всегда, только по утрам бывает трудно, потому что созидательная воля просыпается позже остального организма, и с этим хорошо бы что-то сделать, но пока — так.

Когда-то созидательная воля казалась мне некой внешней силой. То есть я тут в юдоли слез и соплей, и вдруг — ОНО! Включается как бы само, у меня бы в жизни сил не хватило такое включить, и как это делается, я тоже не знаю. Поначалу проявление созидательной воли бывает похоже на вдохновение, только осеняет не идеями или образами, а намерением их создавать, ну или просто взять где-нибудь, неважно, важно — делать. Будучи действием, перестаешь быть беспомощным человеком, и никаких человеческих проблем у тебя больше нет.

Но с опытом, конечно, постепенно становится ясно, что созидательная воля — это и есть я. Никакого иного «я», кроме этого побудительного импульса, первого движения, заставляющего двигаться все, что оказалось рядом, у меня нет.

Я — просто импульс, что-то вроде ветра, который существует, пока дует. А все остальное — ну, вроде тряпок, купленных на распродаже без примерки, что-то подошло, что-то нет, что-то только зря занимает место, задолбаешься на помойку таскать, тем более, что до помойки этой лучезарной еще поди доберись. Таким образом, трагическое восприятие мира все еще висит в моем шкафу, который каждое утро падает мне на голову, как в плохой кинокомедии, потому что в моем случае трагическое восприятие мира — это довольно тупо и в меру смешно.

Все это, конечно, монолог из серии «вы жалуетесь или хвастаетесь?» — на самом деле, ни то ни другое, но выглядит именно так. Не имело бы смысла записывать, если бы вот прямо сейчас мне не пришло в голову, что опция «созидательная воля» есть на самом деле у каждого, то есть любой человек — созидательная воля и больше ничего, а трагическое мировосприятие помогает быстрее докопаться до кнопки, которая эту волю включает, не дожидаясь, пока придет главный электрик нашего района, брат Оле, который с черным зонтом (и, конечно, отверткой).

Об высокое

Низкая, густая облачность, поэтому над домом летают самолеты-призраки. Это хуже цветения сакуры или зимнего моря. Я имею в виду, так красиво, что можно считать покушением на убийство (меня).

Меж тем смысл идиотской фразы «художник должен быть голодным» изначально наверняка был совсем не идиотским. И подразумевал голод по духу. Неутолимый, ясен пень.

Потом пришло народонаселение, обрадовалось хорошему поводу забрать всю хряпу себе и переиначило смысл. Не верьте народонаселению, оно объелось хряпы и просто так неразумно булькает.

Иногда я думаю, что темную для меня библейскую фразу «блаженны нищие духом» все вышесказанное тоже объясняет. Они «нищие» только в том смысле, что осознают постоянную недостачу духа. И просят его, клянчат, вымогают, сами берут и тут же просят еще. Такая вот удивительная разновидность блаженства. Очень хорошо знакомая мне, будем честны.

Без голода по духу в человеке нет вообще никакого смысла. Обезьян и без нас много. Разных пород. Есть гораздо более красивые, чем человек. Например, с красными жопами.

Глупо думать, что дух есть только на небе. Он разлит всюду. Но в небе летают самолеты-призраки, да и сама по себе поза с задранной ввысь головой способна украсить любое двуногое прямоходящее. Поэтому на моем фамильном гербе будет изображена глупая голова, задранная вверх (на синем, вероятно, поле). Вернее, была бы изображена, если бы у меня был герб. Или хотя бы фамилия.

Но я живу без излишеств.

А перед носом у меня, там, где у осла морковка, всегда болтается бездна. Мировая. В значении «очень прекрасная». Хотите покажу?

Посмотрите в небо, она — там.

Обычно человек вообще не видит и не слышит того, что выходит за рамки его представлений о естественном ходе вещей.

Должен быть огромной силы раздражитель, чтобы пробиться к сознанию, всегда готовому интерпретировать необычное событие как отсутствие событий.

Человек — тут уж ничего не поделаешь, придется сказать как есть — вечное поле битвы между интересами вида и интересами духа.

Интересы вида заключаются в том, чтобы физически здоровая особь выбрала максимально подходящего партнера, дала потомство, выкормила его и освободила место, то есть завернулась в простыню и отползла на кладбище, лучше самостоятельно, чтобы потомство от дела не отвлекать. На этом — все.

Любая информация, мешающая этому процессу, будет проигнорирована, пока ее возможно игнорировать. И когда невозможно, она тоже будет игнорироваться какое-то время.

Но тут — сюрприз-сюрприз! — на сцене появляется дух со своими интересами. Строго говоря, он тоже хочет размножаться. В смысле умножаться. И человек кажется ему вполне подходящим партнером для такого безобразия.

(И вот уж кому, будем честны, нечасто везет в любви.)

Один мой друг, который за свою жизнь прочел душеспасительных проповедей больше, чем мы все вместе съели котлет, говорил (смеясь), что если хочешь, чтобы тебя действительно слушали, следует проповедовать исключительно в отделениях реанимации, там все поймут.

(Не потому, кстати, что люди настолько корыстны, и спешат напоследок выслужиться перед неведомым Непоймичем с большой буквы, а потому, что близость смерти действительно открывает в человеке врата, ведущие в космос, и потайную дверь в глубокие подвалы его персонального хаоса, так что слушать

других и понимать становится технически легче, такая штука. Ну и терять уже почти нечего, поэтому не так страшно соглашаться с тем фактом, что твой видимый, слышимый, ощупываемый мир — даже не верхушка айсберга, а муха-однодневка, присевшая там отдохнуть.)

Мне кажется, всякая осень приоткрывает в нас те же ворота и ту же дверь в тот же самый подвал. Не так широко распахивает, как близость персональной смерти, но все-таки приоткрывает какую-то щель.

Осенью смерть становится ближе ровно настолько, чтобы легче стало слушать других, включая неведомое Непоймичто с большой буквы. А уж Оно умеет рассказывать, такие телеги гонит, знали бы вы.

Ну, собственно, вот прямо сейчас и можно узнать. Если прислушаться.

Ой! — Что с тобой?

Магия (процессы, которые в рамках культуры, данной нам в стереотипах, можно называть «магическими») — это соблазнение мира. Инициатор процесса старается обратить на себя внимание реальности и убедить ее вступить с ним в определенное взаимодействие, в идеале, сулящее удовольствие обеим сторонам (но где мы, а где идеалы).

С реальностью обстоит примерно как и с людьми — ее можно соблазнить, не испытывая любви, почему нет, многие так делают. Но особого толка от этого не будет. Потому что, во-первых, невелико удовольствие. И, во-вторых, надолго этот роман не затянется. Реальность не дура, заскучает, развернется и уйдет. И все.

Иллюстрацией такого кратковременного романа является так называемый «мистический опыт», то есть разные необъяснимые происшествия, которые почти со всеми случались в юности, на пике избытка дурной веселой витальной силы, а потом прекратились, вместо прощальной записки на подушке милосердно оставив подсказку, как придумать рациональное объяснение той небольшой части произошедшего, которая каким-то чудом осталась в памяти. Ну и придумали, и хорошо стали жить, с комсомольским задором неофитов презирая тех, для кого все это драгоценное зыбкое необъяснимое по-прежнему не пустой звук.

С реальностью обстоит примерно как и с людьми — самые великолепные, незабываемые соблазнения все-таки случаются по любви.

Любовь к реальности всегда взаимна, в этом смысле нам с ней повезло. Можно не бояться отказа. И шансы прожить вместе

долго и счастливо, то есть вечно и небессмысленно, в этом случае очень велики.

Самая большая заковыка, однако, с любовью. Потому что правильно выполнять это упражнение не умеет почти никто.

Любовь — это не мысли о любви. И не телесное притяжение. И не невозможность (на самом деле, просто сильное нежелание) остаться без объекта. Вот все, абсолютно все, что приходит нам в голову при слове «любовь», все эти наши культурные стереотипы и трогательные заблуждения — совершенно точно не она. А просто разные формы привязанности.

Любовь — это когда где-то в районе сердца развязывается (в идеале развязывается, на практике обычно просто немножко распускается) туго затянутый узел, и ты вдруг начинаешь ощущать, как сквозь тебя течет весь этот невероятный непознаваемый мир, видимый и невидимый вперемешку (да елки, они вообще суть одно, мало ли, что нам кажется), заранее готовый соблазниться. Реальность на самом деле только этого и хочет — быть соблазненной по большой любви, в этом смысле нам с ней повезло еще раз.

Магия (процессы, которые мы привычно называем магией, что бы на самом деле ни называли мы этим давным-давно сошедшим с ума и забывшим собственный смысл словом) в этой реальности штука чрезвычайно медленная, инерция материи уж больно велика. И зачастую именно поэтому недоказуема — поди доживи еще до какого-то результата.

А любовь (не та, чей образ в том или ином виде живет в наших бедных глупых начитанных головах, а данная нам в ощущениях развязанного узла в районе сердца) — это катализатор. Кому удастся хоть немного ослабить этот узел, тем будет владеть весь мир.

Он надо мной смеется

С стороны, вероятно, кажется, будто у меня с городом Вильнюсом лирические отношения. Он стоит на холмах, весь такой красивый, хоть и слегка помятый после вчерашнего вследствие разнообразной исторической правды, журча реками и бренча храмовыми колоколами, а я по этим холмам порхаю, как грузный ночной мотылек, собирая романтический нектар необузданных фантазий.

Хрена лысого. Отношения у нас деловые. Я на него работаю, а он за это платит мне возможностью жить на границе между человеческой слепотой и демонической зоркостью, не особо тупея от первой, но и не впадая в безумие от второй; впрочем, точку можно было бы поставить сразу после слова «жить», и это тоже было бы правдой.

Поскольку работаю я хорошо, мне регулярно выписывают премии; в основном в виде погоды. Чем лучше я работаю, тем теплей у нас декабри; на апельсиновые деревья по берегам Нерис я пока, увы, не нарабатываю. Но очень стараюсь.

Ясно, что деловые отношения лучше строить, основываясь на взаимопонимании. С этим у нас все в порядке. Я понимаю его, будем честны, как мало кто. И он видит меня насквозь. Не потому что мы такие проницательные. Мы просто очень похожи. Практически близнецы. Только он — город, а я — человек. Поэтому он у нас старший. Он — начальник, я — дурак. Но взаимопониманию это не препятствует.

Как это часто случается между близнецами (и просто сиблингами), старший меня постоянно дразнит. Вечно смеется надо мной. Это мне давно было понятно. Но с тех пор, как в магазинах города появились съедобные ключи (из твердого темного шоколада) и прилагающиеся к этим ключам замки, которые тоже можно сожрать (предварительно отперев, или оставив, как есть), у меня натурально нет слов, чтобы выразить охватившее меня в связи с этим возмущение. В смысле, восхищение. Ну, то есть праведное негодование.

В общем, мне нечем крыть.

Осень

Часов, что ли, в пять пополудни спустились с холма Тауро, обернулись назад и — нет, не превратились в соляные столбы, а то была бы сейчас в городе новая достопримечательность на радость министерству туризма, или что тут вместо него. Но мы ни во что такое не превратились, а просто увидели, что холм зелен, как летом, ни единого желтого листочка, подивились, обсудили — вот, дескать, сентябрь уже перевалил за половину, а этим красавцам, нашим местным божествам, плевать на календарь.

Часа полтора спустя возвращались обратно той же дорогой и, приближаясь к холму, увидели среди зелени яркие пятна пожелтевшей и покрасневшей листвы.

За полтора часа, пока мы делали покупки и пили кофе, в городе наступила осень. А если бы мы придержали языки за зубами и не стали напоминать, лето осталось бы навсегда.

Даже не знаю, молодцы мы или последние гады. Это как посмотреть.

Оттепель

В ночь с субботы на воскресенье на темной обочине шоссе — ну то есть улицы Стефано Баторо, но с виду она в этом месте совершенно как шоссе — так вот, ночью, на темной обочине шоссе неведомое существо (предположительно, антропоморфное)

жонглировало огненными факелами, ну или крутило пои; как бы там ни было, а с точки зрения проезжающего мимо автомобилиста это выглядело как вращение, мельтешение, взлеты и падения двух ярких снопов горячего оранжевого огня. И мне сразу стало понятно, что происходит, к чему эта огненная суета на обочине, я все-таки не первый год живу в этом городе и знаю, как у нас делается погода.

Ну и теперь, конечно, оттепель, совершенно симфоническая, объемная, мультиинструментальная, мощная и глубокая. Пока играют вступление, но я уже предвкушаю, как разойдутся (мы разойдемся) буквально через пару дней.

Оттепель вроде нынешней — репетиция сказочного Страшного Суда. Его самого, конечно, не бывает, а вот репетиции бывают и повторяются каждый год. Мы, условно живые в мороз мертвецы, вылезаем из своих ледяных могилок, оглядываемся по сторонам, медленно осознаем: елки, мы живы! Вспоминаем: так вот оно как — быть живым! А небесные судьи, прокуроры и адвокаты ржут над нами, сидя на мягких, еще по-зимнему серых облаках, свесив сверху сияющие босые пятки, спрашивают: «Ну чо, граждане подсудимые?» — и снова заходятся хохотом, пока мы топчемся внизу, ошалевшие от внезапного воскресения, пьяные от капели, придумываем, что бы такого умного им на это сказать.

Вот и весь суд.

Все-таки ничего нет в этом мире красивее оттепели. Триумфальная победа жизни над смертью, данная нам в ощущениях бесконечного блаженства и промокших ног.

П

Первый месяц весны

Пора бы уже привыкнуть, что в декабре у нас теперь подают март, а я все замираю от восторга и не верю, что это еще когда-нибудь повторится. Ничего, повторяется! Из года в год. Идут дожди, вылезает свежая трава и прочая храбрая мелкая зелень, только подснежников нет пока.

Пока.

Мы с простудой, контрабандой вывезенной из страны-в-которую-можно-только-верить, сегодня изволили гулять по воскресному городу, элегантно пошатываясь и вдохновенно закатывая глаза. Потому что сидеть дома от этой диковинной заморской простуды, как выяснилось, не помогает.

В елке с окнами, установленной на Кафедральной площади,

от избытка экзистенциального ужаса завелся сказочник. Теперь там внутри горит свет, стоят стулья, на стульях сидят люди, придавленные собственными младенцами и слушают сказки.

В Бернардинском саду, судя по всему, состоялась какая-то безумная оргия Санта-Клаусов. По крайней мере, на верхушках деревьев то и дело попадаются красные колпаки, мешки с подарками и прочие предметы сантаклаусьего гардероба. В очень потрепанном состоянии!

Так и тянет сказать, что хотелось бы мне на это посмотреть, но нет. На самом деле не хотелось бы. У меня нервы крепкие. Но не очень. Как старый штакетник.

На улице Траку проповедовал пьяный пророк. Он говорил: «Чудовище обло, облезло, стозевно и лаяй!» И указывал пальцем куда-то в сторону улицы Пранцишкону. Видимо, чудовище завелось у Францсканцев. Или даже они его подобрали, как котенка и теперь выкармливают.

Остается выяснить, имеет ли чудовище отношение к оргии в Бернардинском саду, — подсказывает мой внутренний Шерлок Холмс. Внутренний Ватсон устало советует ему уменьшить суточную дозу морфия или хотя бы перейти на кофе без кофеина. И записаться в фитнес-клуб.

Я их игнорирую.

Даже не знаю, как вы все живете без жара и бреда. Такая скукота!

Переезд, требующий паковать и перевозить вещи, принуждает к предельной честности.

Предельная честность — это когда начинаешь раздаривать всем, кому может хоть как-то пригодиться, книги, одежду и посуду, чтобы меньше волочь за собой. И внезапно среди ночи вдруг подхватываешься, бежишь в дальнюю комнату и тащишь оттуда в прихожую, где стоят пустые коробки, двух лиловых плюшевых змей. Чтобы не забыть!

Так выявляются подлинные приоритеты.

Писатели, как подсказывает нам Капитан Очевидность, изменяют мир.

Ну, то есть, ясно, что вообще все люди его изменяют, как могут, каждый — на свой йоктометр или какая у нас нынче минимальная единица измерения в ходу. Просто у писателей КПД немножко выше, потому что чтение книжек — это опыт, формирующий сознание читателя не в меньшей (а иногда и в большей) степени, чем т. н. реальные события. Ну и каждый маломальски толковый писатель снабжает сходным опытом целую толпу народу, после чего означенная толпа, размахивая свежеизмененными сознаниями, бежит изменять свой ближний

мир. Причем не как попало, а в совершенно конкретном направлении. Ну, в общем, механизм понятен, да?

Вот почему — продолжает подсказывать неутомимый Кэп — писать книжки в идеале должны добрые, умные и храбрые люди. Которые при этом ясно понимают, что делают. Понятно (в том числе и Кэпу), что от идеала наша текущая реальность пока далека, но порой случается, что все чудесным образом совпадает, и книжки начинает писать добрый, умный и храбрый человек. И у него при этом здорово получается, так что читатели охотно делают его книги частью своего опыта, и все идет как по маслу. В смысле мир делается немножко лучше. Иногда даже ощутимо лучше — на целый микрон, к примеру. Или даже на полтора. Это не сарказм, микрон в масштабах целого мира — это довольно много. Всего какая-то тысяча микронов — это уже целый миллиметр, а его невооруженным глазом разглядеть можно, прикиньте.

По дороге из Ботанического сада увидели идиллическую картинку: пруд, в пруду цветет розовый лотос, рядом с цветком плавает малолетняя уточка. Остановились, обсуждая, что ничего умилительней в природе быть не может, и тут уточка внятно сказала: «Мяу».

По плану

Мимо по улице проходил человек, разговаривал по телефону. Поравнявшись со мной, громко и четко сказал в телефон: «Если Бог любит меня, то все идет по плану».

Позавчера, вчера, сегодня

По ночам и правда подмораживает, но каждый день за пару часов до заката в небе появляются несокрушимые символы лета, разноцветные воздушные шары.

Подмораживает же так восхитительно, что хочется прижаться лбом к застывшему от холода ночному воздуху и просить: еще, еще.

Теоретически считается, что я люблю лето, а зиму терпеть не могу; на самом деле не так. Я просто люблю, когда все происходит невовремя. И с этой точки зрения заморозки в начале октября ничем не хуже январского цветения каштанов.

Вчера видели в небе над переулком Святого Духа пляску пятен света в темном вечернем небе. Это выглядело, как дискотека для солнечных зайчиков; подозреваю, это именно она и была.

Сегодня обнаружили, что проходной двор на Бокшто, тот самый, где лестница ведет вниз, к реке, и где наверху, в самом начале лестницы, невидимое кафе, ТО САМОЕ, блин, невидимое кафе — так вот, проходной двор перекрыт глухой сплошной

строительной стеной. В невидимое кафе теперь не попасть, по крайней мере, с Бокшто, не попасть, а как снизу, это я завтра при дневном свете погляжу.

А на берегу реки Вильняле, возле Ужупской галереи, стоял Смерть в длинном черном пальто и фотографировал воду. Спереди у него было человеческое лицо, внимательное и настороженное, зато на затылке — откровенный, бесхитростный Веселый Роджер. В смысле череп, в отличие от лица, приветливо улыбающийся.

Пока вы придерживаетесь концепции, будто злобное, мерзкое и прочее скотское — это всегда правда, а все остальное — утешительные выдумки для наивных дурачков, вы сами, своими руками, своей созидательной волей, своими силами поддерживаете существование ада на этой прекрасной земле, совершенно для такого свинюшника не приспособленной. Делаете вклад в умертвие, которое все равно уже проиграло свою битву, во все стороны, в прошлое и в будущее, навсегда, но трепыхается, конечно, чего бы не потрепыхаться напоследок, когда тебя так вкусно кормят своими бессмертными душами, совершенно бесплатно, за одно только право почувствовать себя умнее других.

Почему человек — венец творения, удалось сформулировать только сегодня, буквально пару часов назад. Человек — единственное живое существо, которое может много, очень много ошибаться и при этом продолжать оставаться в живых.

Будучи венцом творения, беспрепятственно ошибающимся и прекрасным в своем бесконечном заблуждении, я сейчас (на самом деле не прямо сейчас, а минут пятнадцать назад) стою в центре кухни, задрапировав себя пледом на манер римской тоги, и вещаю: «Кронос не только неумолим, но и злокознен, поэтому часы счастья скоротечны, зато минуты ожидания всегда томительны». Это я так объясняю кошкам, что рыба пока не разморозилась, надо ждать.

Раньше они не внимали моим речам и только требовательно таращились. Но теперь, едва услышав о Кроносе, вздыхают и расходятся по своим делам. Такова сила божественного имени.

Право жить

Вчера в магазине две юные тетеньки обсуждали удаление волос, и одна гордо рассказывала, что буквально через день пользуется эпилятором, а вторая морщилась: «Ну это же очень больно, лучше уж брить». «Больно, — согласилась первая, — но у меня после этого такое ощущение, что я заслужила право жить».

На этом месте мне многое стало понятно о современной

культуре ухоженного тренированного тела, а лучше бы не становилось, ей-богу.

Представления о возможном

В магазине «Тайгер» за кассой стояла бледная девица, голову ее насквозь пронзал меч. То есть с одной стороны головы торчала рукоять меча, с другой — окровавленное лезвие.

Ясно, конечно, что это такая специальная карнавальная шапочка ко Дню Всех Святых. Но ясно становится не сразу. И не всем.

Мы, например, сперва расплатились за покупку и только потом сообразили, что девица жива, здорова и благополучна, а в голове у нее не меч, а грядущие праздники. Никогда заранее не знаешь границ своих представления о возможном (не «вообще», а вот прямо сейчас, здесь, в магазине на проспекте Гедиминаса). Меч в голове самодвижущегося и говорящего человека — это, как выяснилось, в пределах (моей) нормы. Я и пишу-то о нем, только потому что оказался ненастоящим, и это забавно.

Гораздо трудней поверить, что этот дивный пьяный октябрь, благоухающий прелыми листьями, свежей травой, речной водой, дымом печных труб, грибами и кофе из десятков городских кофеен, двери которых распахнуты настежь по случаю затянувшегося тепла, действительно происходит со мной, а я с ним, и мы вместе — со всем остальным миром.

Очень трудно поверить, что я настолько, до такой степени есть.

Но я как-то справляюсь.

Привычный способ ориентироваться в человеческом компоте на предмет обнаружения т. н. «своих» и т. н. «чужих» сводится к примитивному делению на тех, кто согласен с моим мнением по каким-то фундаментальным для меня вопросам, и тех, кто не согласен.

Так устроен любой человеческий ум (и мой тоже) — он хочет бесконечно утверждаться в своей правоте. Ему кажется (на определенной глубине, труднодоступной для осознания), что это вопрос жизни и смерти.

Но тут такая штука. Начиная с некоторого момента этот принцип отбора окончательно утрачивает смысл. Потому что важным становится не согласие-несогласие, а само умение поставить вопрос таким образом. Погрузиться на ту же глубину и посмотреть на вещи примерно из той же точки, что и я. Какие при этом делаются выводы — дело десятое. До какой бы немыслимой херни ни додумался мой собеседник по любому вопросу, это не имеет никакого значения в сравнении с тем фактом, что он вообще смог этот вопрос сформулировать.

В этот момент я понимаю, что мой собеседник — такая же форма разумной жизни, как я. А не просто что-то с виду более-менее похожее.

Такая же форма разумной жизни, как я — это столь бесконечно ценно, что о какой там уже правоте может быть речь. В жопу ту правоту.

Про бесконечно унылую ноту

Среди часто задаваемых мне вопросов есть один, на который вот так на бегу не ответишь. А вопрос из наиважнейших, сродни гамлетовскому «быть или не быть». Вернее, его логическое продолжение.

Потому что в переводе с русского на русский вопрос звучит так: «и если быть, то на какие шиши?»

Бывает ли у вас вот такое противное состояние, когда ничего не хочется, такое вот брррр, ну как будто тянется внутри какая-то бесконечно унылая нота, тянется и тянется, резинка такая. И тебе становится вообще ничего не интересно, скучно, гадость, конечно.

И если бывает, то как выбираетесь? Или само проходит?

Отвечаю с конца, так проще.

Само проходит, конечно. Но крайне редко. Настолько редко, что такие случаи можно считать чудом и не особо на них рассчитывать.

Что касается меня.

Мне, честно говоря, это состояние не просто знакомо. Оно для меня базовое с детства (не с раннего, а лет с десяти). Встроенное по умолчанию. То есть, если ничего с собой не делать, то так всегда и будет. Если делать, но недостаточно, тоже так и будет. И только если делать с собой почти невозможное, будет немножко не так.

И естественно, я об этом очень много думаю. И наблюдаю. И экспериментирую. И вопрошаю (не только гневно и не только богов, но и их тоже, и гневно — случается: пошто?)

Людей, впрочем, тоже вопрошаю. И убеждаюсь, что подобное состояние знакомо не всем, но очень многим. С внутренней сложностью оно коррелирует, но не всегда. И подозреваю, коррелирует только потому, что без внутренней сложности люди часто просто не обладают нужным инструментарием, чтобы это дело как следует отрефлексировать, сформулировать и пожаловаться.

Короче, эта «бесконечно унылая нота» очень популярное музыкальное произведение в рядах текущего человечества. Всегда в первых строках чартов. Надо с нею разбираться всерьез.

Теперь я вроде бы сверну в сторону, но на самом деле не сверну. А наоборот. Следите за руками.

Я здесь, в Вильнюсе, очень часто наблюдаю (в том числе и на собственной шкуре) такую картину: приезжает сюда человек и влюбляется в город. И совершенно явно взаимно: радостей, подарков, откровений и явных указаний на то, что ему здесь самое место, человек получает по сотне в день. Но если это человек с таким неприятным гражданством (вроде нашего украинского), которое не позволяет оставаться жить, где захочешь, и при этом не супер-бизнес-воротила и не богач, его дальнейшая жизнь обычно превращается в адский ад, в результате которого человек или добивается своего очень дорогой ценой, или уезжает нафиг.

Это на самом деле сводит с ума — когда, с одной стороны, весь окружающий мир дружным хором местных божеств, блудных демонов и примкнувших к ним духов стихий говорит: «Я тебя люблю, оставайся со мной», — а с другой, голосами чиновников: «Пшел отсюда вон!» Ну, правда, чокнуться можно от такого противоречия.

У меня на эту тему есть телега, которую я задвигаю всем заинтересованным лицам в качестве шутки (но только потому, что в актуальной культуре на такие темы принято говорить шутливо, если хочешь выглядеть вменяемым): бюрократический мир со своими адскими бумагами — настолько безумная, выморочная, не имеющая никакого отношения к живой жизни херотень, что наши духи местности просто не врубаются в тему. В их чистом сознании бюрократия не укладывается. И рады бы помочь новому любимчику, но не понимают, в чем проблема. Ну, это примерно как человеку представить Белую Дыру, только еще трудней, потому что у нас хотя бы какая-то теоретическая база для рассуждений о Белых дырах есть. А у них для рассуждений о бюрократии даже языка нету.

Из этого гона получаются разной степени мрачности смехуечки, но штука в том, что я правда примерно так думаю.

А теперь возвращаемся к нашим баранам (унылым).

Штука в том, что грубо (очень грубо) говоря, мы — тоже они. В смысле духи и божества. То есть сознание человека очень сложно устроено. Под многочисленными слоями личностей-субличностей-эго-хуего и прочей хренотени скрывается вполне себе могущественное существо. Оно — очень важная часть нашего сознания. При этом с ним у кратковременной части сознания, которую мы ошибочно считаем «собой» практически нет контакта. Тогда как контакт с ним единственный стоящий ключ к бессмертию, какой только можно заполучить. Она (эта часть) — абсолютно и несомненно бессмертна. А все остальные составляющие — как получится. Собственно, все стоящие

духовные практики — про то, как обессмертить как можно большую часть себя. То есть построить как можно больше мостов от сиюминутной личности к тайной бессмертной части себя и связать их воедино.

(Понятно, что я ОЧЕНЬ упрощаю. Но меня можно понять: о таких вещах даже вслух особо не говорят, а уж в письменном виде — совсем психом надо быть. Но я, во-первых, и есть псих, а во-вторых, мне все можно, потому что меня никто не принимает всерьез. И я себя тоже всерьез не очень-то принимаю, так что все в порядке.)

Теперь дальше.

Штука еще и в том, что эта незнакомая нам и почти непознаваемая часть сознания — завхоз. Она сидит у нас на распределении ресурсов, хотим мы того или нет. От нее зависит, сколько у нас энергии и (самое главное!) на что эта энергия пойдет.

Плохо не быть знакомым с собственным завхозом! И не иметь возможности с ним договориться. От этого часто случается такое недоразумение: мы придумали себе цели, поставили задачи, завели образ жизни и все, что к нему прилагается, а сил на это у нас нет. Силы есть только на то чтобы сидеть и тупить в стену. Или в экран компьютера. И их так мало (даже на это), что лучше бы уже не сидеть, а лежать. Диапазон упадочных состояний очень велик, на одном конце его клиническая депрессия, к которой без медицинской помощи лучше не подступаться, на другом — то, что называют «ленью». Которая (лень) просто первый признак того, что вот именно на это дело, которое лень делать, завхоз ресурса не отсыпал. И надо брать из другого источника, если получится (всеми рекламируемая и социально одобряемая «сила воли» — просто умение вот так перераспределять ресурсы своего организма, оно не всем дается, а кому дается, вполне может огрести сколько-нибудь лет спустя, обнаружив, что израсходовал уже вообще все, включая НЗ на помолиться перед смертью).

Ладно, речь сейчас не о том. А о том, что наш тайный и непостижимый завхоз не дает нам энергию на те дела, в которых не видит смысла. Мы, такие хорошие и умные, его видим, а наиважнейшая часть нашего сознания — нет. И поди ее переубеди, когда мы вообще не знаем, о чем речь. Какая такая «наиважнейшая часть нашего сознания»? Ее вообще только что чокнутый автор придумал, вместо того, чтобы посоветовать задавшему вопрос спорт и диету.

То-то и оно.

Однако несуществующий завхоз, вероломно выдуманный автором, все равно не дает энергию, хоть тресни. И чо делать?

Чо-чо. Договариваться.

Чтобы договориться, не обязательно верить в того, с кем договариваешься. Достаточно уметь договариваться. А есть он или нет, пусть разбирается сам.

Как договариваться — отдельный вопрос. Очень сложный. Но не тупиковый, это важно.

Самый беспроигрышный (но и трудноосуществимый технически) способ — увеличить запасы ресурса. То есть, извините, энергии, надо иногда называть вещи своими именами, даже когда имена эти дискредитированы миллионами неуместных и неграмотных употреблений. Когда энергии переизбыток, ее самому строгому завхозу ни на что не жалко, даже на бессмысленную ерунду.

(Понятно, что не все так просто, иные организмы и избыток энергии умеют потратить вполне деструктивно. Но в большинстве случаев цигун и прочие энергоувеличивающие практики — наши друзья. Особенно если удастся не стремиться к так называемым «достижениям», не торопиться, а просто понемножку набирать и набирать; первые ступени ученичества самые сладкие в этом смысле, главное — не позволять задурить себе голову и не устремиться к «успехам» раньше времени, но это отдельный и очень трудный разговор. И лучше бы не мне его разговаривать, а настоящим специалистам.)

Другой способ — попробовать выяснить вкусы «завхоза». Ну, то есть в идеале быстренько домедитироваться до контакта с этой частью сознания — и ура.

Но кто ж нам выдаст идеал.

Хорошая новость, что эту потаенную часть собственного сознания можно выследить, как шпиона. Ну, то есть, наблюдать, на что у нас силы есть даже когда их нет совсем. Что вызывает хотя бы тень радости, хоть намек на душевный отклик. На что-нибудь силы точно есть. Как минимум на то, чтобы дышать (и даже за это при большом желании тоже можно зацепиться: продолжать лежать, но дышать в каком-то определенном ритме. Обычно уже через полчаса появляется желание встать). И часто обнаруживается, что подобие радости некоторые вещи вызывают даже в состоянии полного унылого говна. Для меня, например, подобие радости — выпить кофе. Ассоциации такие: кофе когда-то пили очень редко, в кафе или в гостях, и это был праздник, а мое сознание видит в праздниках смысл и готово выделять на них ресурс, поэтому дайте мне хорошую кофейню, и я переверну мир. Другим людям для этого надо выдать что-нибудь другое. Что именно — всегда можно докопаться, если вы в принципе любите и умеете докапываться, разбираться, выслеживать (я люблю — и

да, на это у меня всегда есть ресурс).

Это одна из самых важных штук на свете — знать о себе, что мы НА САМОМ ДЕЛЕ любим. Часто это совсем простые вещи, которые, конечно, не способствуют созданию собственного ослепительно сложного образа во внутреннем зеркале, зато реально радуют. И могут стать отправными пунктами в походе за силой на все остальные дела.

Ну, в общем. Отслеживая такие штуки, можно понять, в чем наше сознание видит хоть какое-то подобие смысла. На что оно нам силы даст.

Третий способ — найти внешнюю опору.

Сейчас такой смешной период в развитии человеческой культуры, когда великое множество болезненно зависимых от окружающих людей очень много и громко рассуждает о пользе самодостаточности. Формируя таким образом недостижимый идеал, ставя перед собой непосильную задачу и сбивая друг друга с толку. И умножая недовольство друг другом и собой (а недовольство собой и окружающим миром очень энергоемко, на него вообще все силы могут уйти).

Самодостаточность и правда отличная штука — когда она честная, заработанная, пришедшая изнутри. Но это совершенно не отменяет того факта, что пока мы с вами такие живые, теплые, несовершенные существа, нам часто бывает нужна внешняя опора. В самых разных делах.

Из людей, кстати, редко получается хорошая внешняя опора. Но! Именно в ситуации нехватки ресурса они такой опорой могут стать. Не все, конечно. А только те, кого мы одновременно любим (не обязательно половой любовью) и не боимся. «Любим» можно заменить на «симпатизируем», «уважаем», «заинтересованы» и т. п. «Не боимся» надо оставить как есть, потому что иначе получится очень нехорошая игра, от которой тоже может быть практический толк, но временный. И несоразмеримый с грядущим проигрышем, потому что страх в такого рода дела впускать нельзя.

Проще говоря, друг-приятель, который будет нас куда-то вытаскивать, тормошить, веселить, пристраивать к делу — незаменим. А шантажирующий уходом и другими санкциями (путь даже только в нашем воображении) партнер, строгий начальник, злая мама и прочие персонажи в таком духе не подходят. Хотя бы потому, что (если, опять же, совсем упрощать) друг-приятель беззаботно вывозит нас из уныния на избытке своего ресурса, а источник страха принуждает нас к расходу собственных неприкосновенных резервов, рано или поздно это просто истощит. Это не единственная причина, но самая

очевидная (и одновременно не очень пугающая, пугать я совсем никого не хочу).

Есть, конечно, и другие методы. Они индивидуальны. Их (методов) примерно столько же, сколько нас (людей). Просто три перечисленных — более-менее общие. Подходят не всем, но многим. И есть надежда, что подойдут и задавшему вопрос человеку. И еще паре-тройке прочитавших. Поэтому бессмертная часть моего сознания выдала мне кучу сил на то, чтобы эту огромную телегу написать. Спасать все, что под руку подвернется она любит даже больше, чем кофе. Видит в этом смысл. А все остальное я — ну что оно может поделать. Слушается завхоза. Потому что ладить с завхозом для него единственный вариант и дальше оставаться в живых. И даже получать от этого некоторое удовольствие. В количестве восьми чашек кофе в день.

Про диктаторов

На месте диктатора мне обычно видится вполне заурядный человек, попавший в капкан власти и безнаказанности — ну и понеслась душа в ад. Или еще куда подальше. В школе, классе, кажется, во втором или третьем, учительница дала нескольким отличникам проверять тетрадки с домашним заданием остальных учеников. И я очень хорошо помню, как мы дружно исчеркали все красными карандашами и понаставили двоек там, где работа была сделана на четверку. С тех пор я довольно много знаю о природе диктатуры и бесконечно радуюсь, что большей власти мне никто никогда не предлагал.

Впрочем, допускаю, что некоторые диктаторы и тираны так прям и рождаются нечеловеческими исчадиями ада с выпученными от злобы глазами и сатанинским клеймом во лбу. Но все равно их злодейское величие меркнет перед ежедневным подвигом так называемых простых людей, строчащих анонимки на соседей по коммуналке ради возможного освобождения комнаты, аккуратно подвергающих подследственных пыткам в рабочее время с перерывом на обед и так далее. Тирания всегда опирается на массовую подлость в гораздо большей степени, чем на личность тирана. Строго говоря, только на нее. В обществе, где люди не способны вести себя подло, пресловутая диктатура/тирания станет всего лишь одним из способов управления государством, со своими достоинствами и недостатками. Лично мне такой способ управления не нравится — ну так мне вообще ничего из придуманного людьми не нравится, кроме анархии, до которой уважаемое человечество пока, увы, не доросло.

Про любовь

Вчера на задворках той унылой части Нового Города, где жизнь удобна, но не живописна, мужик типичной постсоветсткой

наружности (рыхлый шкап неопределенного возраста в диапазоне от сорока до семидесяти, одетый в набор чехлов, символизирующих приличную одежду, все вот это вот, что я так не люблю и стараюсь не замечать) говорил в телефон: «Я салатов куплю, скажи каких». — И после паузы: «Даже не вздумай сама готовить, ты тоже после работы, у тебя тоже вечер пятницы, и ходить никуда не надо, я сам принесу».

/как это было у нас дома: по вечерам, после идиотских семейных обедов из трех блюд, которые навек отбили у меня вкус к питанию по расписанию за тщательно сервированным столом, мой папа всегда мыл посуду, потому что жена готовила, устала, а завтра ей рано, гораздо раньше, чем ему вставать на работу; мне же непременно напоминали, что не нужно рассказывать об этом родственникам и знакомым, потому что стыдно, вы же понимаете, очень стыдно мыть посуду, владея бесплатной прислугой модификации «жена», стыдно, но все равно можно, если сердце полно любви, и если никто не узнает./

Про фотографию

На самом деле меня интересует только некоторое дополнительное измерение, которое я вижу так ясно, что иногда (редко, на самом деле) путаюсь, где заканчивается видимый мир и начинается не очень видимый. Ну, скажем так, видимый не всеми, не всегда и, как часто выясняется в тех редких случаях, когда начинаешь это обсуждать, не одинаково.

Вот эту недоказуемую зыбкость можно (теоретически невозможно, а на практике довольно легко получается) вытащить в плоскость фотоснимка и сделать более-менее безусловным (со скидкой на проблемы восприятия зрителя) очевидным.

Все остальное, будем честны, не парит меня вообще.

Оно меня и вне фотографии не очень-то парит (ну, пока на ногу не наступит).

Провал резидента

В кино про Штирлица, помню, продвигалась идея, что в экстремальной ситуации шпион может выдать себя, перейдя на родной язык. Там радистка Кэт заговорила по-русски при родах, отягощенных контузией, и от этого случился всяческий бытовой ужас, переходящий в сценарный восторг.

Только что кошка погналась за какой-то неведомой летающей херней и на скаку опрокинула цветочный горшок прямо на клавиатуру, при помощи которой инопланетный шпион в моем лице как раз пытался создать очередное произведение буквенного искусства с тайной целью зомбировать землян и сделать из них наконец людей.

В этой, вне сомнения, экстремальной ситуации инопланетный

шпион в моем лице выдал себя, воскликнув: «Ттуыда гыгыкап бавапп!»

Если кто-нибудь любезно пояснит мне, что это за язык и с какой я планеты, моя благодарность будет неописуема, потому что я хочу домой. Гораздо больше, чем зомбировать землян! Пусть сами зомбируются, чай не маленькие, не пропадут.

Происшествие с пуговицами

У меня есть верхняя одежда — что-то среднее между очень тонкой дубленкой и очень теплым пиджаком. На рыбьем, как говорил мой папа, меху. И с накладными карманами. Функция у них скорее декоративная, но маленький телефон туда как раз помещается, поэтому я обычно кладу его в карман. Очень удобно: слышно, как звякает, всегда можно быстро достать, и не выпадет, потому что карманы застегиваются на пуговицы.

Вернее, застегивались. История как раз об этом.

Был субботний вечер, начало декабря, лапсердак (как назвал бы его папа, если бы увидел) был на мне, я — в центре города, телефон в кармане, карман застегнут на пуговицу. И вот телефон звякает, пришло СМС. Расстегиваю пуговицу, а она с трудом проходит в петлю, поэтому расстегивание требует усилия, я спешу и нажимаю слишком сильно, так что на пальце остается след от пуговицы, глубокая красная борозда. Беру телефон, читаю СМС, понимаю, что дело не срочное, прячу телефон в карман, пытаюсь застегнуть его на пуговицу, а пуговицы-то и нет. Что само по себе досадно, но неудивительно: всякая пуговица может оторваться. Удивительно другое: петли тоже больше нет. И на левом кармане нет ни пуговицы, ни петли, ни их следов. Исчезли, как не бывало.

Ну, то есть, судя по виду карманов, ни пуговиц, ни петель там не было вообще никогда. А след от пуговицы, не желавшей протискиваться в петлю, на моем пальце все еще есть. И ум, обычно в таких случаях успокоительно бормочущий: «И не было ничего никогда, мало ли что тебе кажется, ты рассеянный человек и живешь как во сне», — спотыкается об этот дурацкий палец, мечется, пытаясь сочинить ситуацию, которая могла оставить след, не находит и соглашается: ладно, договорились, пусть так, твоя взяла.

И вот мы стоим в самом центре изменчивого пластичного мира — я, лапсердак с карманами, телефон, палец и ум. И в этот момент мы все очень хорошо знаем, что подобные штуки происходят постоянно, иногда по несколько раз в день, просто вещественных доказательств не остается. А тут след на пальце, который просуществовал еще несколько минут в новой удивительной реальности, отличающейся от прежней отсутствием

пуговиц на моих карманах и больше, кажется, ничем.

В общем, я уже давно знаю, как все у нас устроено, но теперь у меня есть улика. И четверть часа, чтобы эту историю записать — специально для тех, кто тоже замечает все эти нелепые скачки из одной реальности в другую, но думает, что мерещится. Чуваки, оно не мерещится ни фига. Не показалось. Мы не рассеянные. Никто не сходит ни с какого ума. Просто оно — вот так.

(А почему происходит так, и какой от всех этих скачков толк, я пока не знаю. Когда узнаю, скажу.)

Проповедовать комарам

Вчера в мою комнату, окна которой были гостеприимно распахнуты всем балтийским ветрам, вместо балтийских ветров влетели все комары Куршской косы. Я почти не преувеличиваю, примерно четверть потолка, как раз над настольной лампой, была черна и шевелилась, вокруг лампы парил комариный шар, отдельные нонконформисты гордо летали в стороне от толпы и победительно звенели.

Войти в спальню с балкона, где только что прошло примерно два примерно счастливых часа примерно твоей примерно жизни, с кофе, сигаретой и полной головой возвышенной херни вместо мыслей, и обнаружить все вот это вот — не то чтобы врагу не пожелаешь. Но, скажем так, не всякому врагу.

А с собой-то я и вовсе в состоянии вечного перемирия.

Я в общем знаю, что надо делать в подобных случаях. Брать самое большое полотенце, мочить его (для тяжести) и херачить по комарам, пока они не закончатся. Не то чтобы это совпадало с моими планами. Совсем нет! Я не люблю убивать на ночь. Ленюсь.

Трепаться, как известно, гораздо легче, чем работать. Поэтому пришлось встать перед комарами в величественную позу (величественная поза отлично сочетается с пижамой в полоску) и задвинуть речь: «Уважаемые комары, давайте договоримся. Я сейчас никого не убью, а просто лягу спать. А вы за это сделаете вид, будто вас тут нет. Чтобы ни одна сволочь не вздумала меня укусить! И чтобы никто не жужжал, ясно вам? Разбудите — всем пиздец».

Договориться с комарами оказалось гораздо проще, чем обычно с людьми. Комары сразу все поняли, оценили мое предложение и согласились. И честно держали слово до утра. Ни одного укуса. Ни единого звука (впрочем, может и жужжал кто, не знаю, я крепко сплю; но заснуть мне дали в полной тишине). Поутру в комнате никого не было. В смысле никого, кроме меня. Ни единого комара.

Риторический вопрос: почему всякая херня получается у меня

легко и просто, а все остальное — с надрывом, достойным малого пробного апокалипсиса?

Практический вопрос: не следует ли мне подать заявку на причисление к лику святых? Комарам вообще кто-нибудь до меня пробовал проповедовать? Я, как выяснилось, могу курировать эту тему.

Лирический вопрос: возможно, святыми были именно комары? Может быть, Неринга — это вообще такой комариный рай, куда попадают самые безгрешные насекомые, которые и при жизни-то кусали только одного человека каждый и только после благословления батюшки (пастора, ксендза)? А я, дубина, на святых с мокрым полотенцем. Правда, только в помыслах, но все равно нехорошо.

Как же все сложно!

Простое ненавидит сложное, смутно подозревая, что в сложное помещается больше бессмертия. А чувство конкуренции у простого очень сильно. «Оно щас все сожрет и мне ничего не останется!» — панически вопит простое. В этот момент оно натурально готово убить. Ну и убивает, когда есть возможность.

Простое не подозревает вот о чем: бессмертие — это не вкусная питательная хряпа, которой дали одно корыто на всех, и теперь вопрос, кто протолкается поближе и урвет побольше. В отличие от хряпы, бессмертия прибывает по мере увеличения числа тех, кто может его взять.

Простое ненавидит сложное, смутно подозревая, что сложное по умолчанию «лучше», причем как бы за его, простого, счет. Пока сложное больше нравится Богу, простое, выходит, нравится Ему меньше, сколько бы поклонов ни било, скольких бы грешников ни сожрало живьем, сколько бы новых прекрасных запретов ни сочинило (так примерно представляет себе этот процесс простое, я за него не ответчик).

Простое не понимает, что Бог — не покупатель на работорговом рынке, Он не осматривает кандидатов, не проверяет крепость их мышц, не считает число их зубов. Просто Бог есть только для тех, в кого помещается хотя бы малая часть Его, для остальных никакого Бога, извините, нет, хоть с головы до пят иконками чудотворными обложись.

Простое ненавидит сложное, потому что смутно, очень смутно, совершенно этого не осознавая, подозревает, что от близости к сложному может стать сложнее само. Простое чует, что сложность заразна.

Совершенно правильно чует, вот что я вам скажу. Всякое простое может стать сложным. В каком-то смысле, оно уже таково. Сложность дремлет во всяком простом, близость другого

сложного может сработать как детонатор. А может не сработать, но это означает только, что к данному экземпляру нужно подобрать другой ключ. Тоже сложный, но какой-нибудь другой.

Простое панически боится становиться сложным, вот в чем штука. И правильно боится. Потому что вместе со сложностью в него войдет Бог — столько, сколько поместится, в том виде, в каком получится. И после этого уже не будет пути назад, в уютный мир питания, размножения, выделения и бесконечной конкуренции за повышение качества этих захватывающих процессов.

Естественная (как размножение в животном мире) задача всякого сложного — усложнить окружающую реальность, насколько это возможно. Хорошая новость заключается в том, что с этим я, похоже, справляюсь на восемнадцать по пятибалльной системе. Но хотелось бы все же на триста сорок как минимум, чтобы никто не ушел не усложненным.

Пусть будет бритый холм

Я пока могу думать и говорить только о вишнях, которые понемногу начинают цвести, и одна на берегу Вильняле сегодня в половине третьего дня была еще прозрачно зелена, а к шести уже побелела, только о ветре, который совершенно тронулся умом, сказывся, как говорила бабушка одной моей одноклассницы, раскачивал фонарные столбы и принес нам в город несколько стай немецких туристов, в том числе в розовых шортах, смеется надо мной, засранец, люблю его очень, сил моих нет.

После чудесного явления немцев в розовых шортах (за полтора часа мне показали троих) захотелось, конечно, прогуляться на мост через Вильняле — тот, который в совсем уж филейной части Ужуписа, упирается в лестницу, а лестница ведет на Бернардинское кладбище, тайно охраняемое соседским сфинксом.

Так вот, лестница эта от моста поднимается вверх, к Бернардинскому кладбищу, раньше она была проложена через заросли столь густые, что вообще не понимаешь, где ты, зачем и куда идешь. Сегодня же мы пришли и обнаружили холм сияющим, как выбритые щеки вернувшегося к цивилизации отшельника. И узнать лестницу можно было только по приметам: сбоку кладбище, внизу — тот самый мост.

Мы, конечно, бровью не повели, спустились, перешли мост и пошли дальше, строя планы, как мы соберем и засахарим все фиалки в окрестностях, ни одна фиалка, впрочем, не пострадала, разве что от стресса, нам бы все бла-бла-бла.

Удивительно все же, как некоторые фрагменты реальности, попав в текст, тут же начинают меняться, разрушаться,

выкорчевываться, строиться заново, как будто все эти годы стояли, терпели, не изменялись, ждали, пока их опишут, а потом с явным облегчением поспешно обновляются, как отшельник с порога бежит с бритвой в душ избавляться от надоевшей бороды.

Ладно, хорошо, пусть будет бритый холм. Ему виднее.

Главное — никогда, ни при каких обстоятельствах не описывать лестницу, ведущую с улицы Ужупе, от арки с ангелом вниз, к Художественной Академии[9]. Ее, если что, мне будет здорово не хватать.

Р

Разговаривая с человеком, следует разговаривать именно с этим человеком, а не с обстоятельством своей жизни в его лице. Иначе полноценный диалог невозможен.

Объясню на простом примере.

Вот например мы собираемся идти туда, куда следует попасть к определенному времени, опоздание крайне нежелательно (на работу, в театр, к врачу и т. п.) У нас есть спутник, чье присутствие в том же месте, в то же время по каким-то причинам совершенно необходимо, и его отсутствие, как и опоздание нанесет нам тот или иной ущерб (репутационный, финансовый и т. п.). И этот спутник слишком медленно собирается, так что своей медлительностью ставит под угрозу возможность успеть вовремя и обойтись без проблем.

Так вот, штука в том, что такой спутник автоматически становится для нас препятствием той или иной степени неодолимости. И относимся мы к нему (к его медлительности) как к некоторой посторонней силе, внезапно вмешавшейся в нашу жизнь. И имеющей неплохие шансы ее (жизнь) испортить или просто усложнить.

Обычно наша реакция на чужую медлительность (раздражение, гнев, печаль и т. п.) — это скорее реакция на вмешательство посторонней силы (обратная сторона обычного человеческого страха перед неодолимыми обстоятельствами), чем реакция на поведение конкретного человека, обычно хорошо знакомого нам, часто близкого и дорогого — настолько, чтобы с пониманием и даже умилением относиться к его слабостям до тех пор, пока эти слабости не становятся инструментом создания проблем для нас самих.

Отделить мух от котлет в подобной ситуации мало кто может. А это совершенно необходимо, если нам нужна коммуникация, а не бессмысленный конфликт.

Потому что прискорбные обстоятельства — отдельно, а человек — отдельно. Вопить: «Да что ж это за наказание на мою голову?!» — вполне можно, только предварительно правильно выбрав адресата. Подобный вопрос следует задавать Господу Богу, судьбе, мирозданию, ну или себе. Почему вы выбрали настолько медлительного спутника в деле, не допускающем промедления? Ну или почему он свалился вам на голову по чьей-то высшей воле — формулировка зависит от степени фатализма вопрошающего.

Но этому диалогу свое место и свое время. С богами говорят в храмах, с судьбой и с собой — в уединении. И в любом случае сосредоточившись на этом разговоре.

А вот говорить с человеком, как с безличной силой, совершенно бессмысленно. Он совершенно точно не знает, почему послан вам в качестве наказания (опасности, источника проблем). Даже если у него есть версии, вряд ли они заслуживают внимания. И в любом случае еще больше замедлят процесс сборов.

С человеком надо говорить именно как с человеком, которого знаете вы. И, исходя из ваших знаний, строить конструктивный диалог. Кому-то поможет совет бросить монетку, чтобы определиться в выборе носков. Кого-то подбодрит признание: «О, ты такой же тормоз, как я иногда бываю», кому-то достаточно просто напомнить про время, многие затягивают сборы только потому, что не умеют следить за часами. А с кем-то лучше вообще не говорить, потому что тогда он зависнет окончательно.

Неважно на самом деле. Важно, что конструктивный диалог возможен только пока мы не подменяем одного собеседника другим. Человека — безличным обстоятельством (или другим человеком, которого мы когда-то знали, и запомнили, что он вел себя похожим образом), а Бога — человекообразным существом, с которым можно поторговаться, обменяв хорошее поведение (как мы его себе представляем) на судьбу получше. Ну и так далее.

Очень сложно, я понимаю. Но других вариантов договориться с теми, с кем нам надо договориться, нет.

Разные мелкие подробности

— У меня есть друг, чье имя стало мне известно года через два после знакомства. На протяжении этих двух лет мы встречались примерно раз в неделю, пили чай и болтали о разных вещах.

А по имени его просто однажды при мне случайно назвали. Мне бы, наверное, так и не пришло в голову спросить.

— Я почти никого не помню в лицо, и некоторые ближайшие друзья свидетели, что я могу проскочить мимо, не узнав. Зато я

сразу реагирую на направленное на меня внимание, поэтому нет проблем встречаться с кем-то в первый раз в людном месте. Сразу распознаю.

— Иногда у меня включается программа «МНЕНАДА», и в этом состоянии я могу получить все, чего хочу. Довольно быстро выясняется, что на самом деле было «нинада», но случившееся к этому моменту уже неотменяемо, и девать его решительно некуда.

Мне уже несколько лет удавалось не включать (вернее, вовремя выключать) эту программу. Это очень трудно, но МНЕНАДА!

Ой.

— Я почти не присутствую в собственной жизни; впрочем, в последние годы посещаемость удалось повысить. Так, благодаря фотокамере я теперь умею смотреть по сторонам и даже замечать некоторые детали. Долгие годы перед этим для меня даже поездки в разные прекрасные города имели смысл только ради атмосферы в целом (единственное, что я всегда замечаю) и запахов в частности. Запахи долгое время были для меня самой ценной информацией о внешнем мире, потому что их невозможно игнорировать.

— Что касается игнорирования, мне удавалось, в частности, крепко, не просыпаясь, спать у стены, которую с другой стороны сверлили дрелью. И это скорее норма, чем исключительное событие.

— Больше всего на свете я люблю учиться — почти все равно чему. Но не могу делать это в одиночку. Только в компании. Не в любой, но о строгой избирательности речь не идет. Штука в том, что присутствие другого (живого) человека включает мое внимание. Это единственный известный мне (по крайней мере, пока) способ гарантированно его (внимание) включить.

— Видимо, поэтому, я очень быстро устаю от людей. Не в том смысле, что видеть их не могу, а в том, что кофе с друзьями для меня — работа такой интенсивности, что больше ничего я в этот день, пожалуй, не сделаю. А если сделаю колоссальным напряжением воли, потом буду долго восстанавливаться. Но не то чтобы это меня когда-нибудь останавливало.

— Дружба (полноценное, интенсивное взаимодействие с другими людьми) — мой главный наркотик и самый большой соблазн, ради которого можно забить на все остальное. Я, кстати, не знаю других людей с подобным пороком.

— Но в одиночестве мне настолько легче, что этот порок меня все-таки вряд ли погубит.

— Второй мой главный наркотик — музыка. Но я редко

позволяю себе отрываться по-настоящему. Потому что, во-первых, отходняк тяжелый, а во-вторых, всегда есть риск, заслушавшись, превратиться во что-то такое, что здесь совсем не живет.

— При этом музыку, которая мне не нравится (такой очень много), мне почти всегда удается игнорировать. То есть натурально не слышать.

— Игнорировать мертвое вообще довольно легко. Как ни странно.

— Читать меня научил дедушка на острове. Мне тогда было три года, и дедушка на острове мне снился. Хорошее было время.

— У меня, как и у всякого обычного человека, есть набор фундаментальных представлений о норме. И большое желание, вернее, настоятельная потребность, чтобы все вокруг было нормально.

Другое дело, что мои представления о норме не имеют вообще ничего общего с общечеловеческими. Большинство этих представлений я даже обсудить ни с кем не могу, потому что они за пределами языка.

— Я — бесконечно агрессивное существо. Вы даже не представляете, насколько. При этом разрушение (в любой форме) для меня абсолютно неприемлемо — настолько, что согласившись сознательно разрушать, я как бы вообще отменю себя.

Я — созидатель. Очень агрессивный созидатель.

— Я совершенно точно знаю, что ни одно однажды рожденное сознание не должно угаснуть. Думать о возможном угасании сознания неизвестного мне дяди Васи из города Котовска для меня ровно так же мучительно, как думать о возможном угасании собственного сознания. Более того, у меня ощущение, что я все время каким-то непонятным образом борюсь с этой гипотетической опасностью (в которую не особо-то верю). И это объясняет, почему у меня не хватает внимания на всякие пустяки типа собственной жизни.

— В детстве мне хотелось научиться двигать и связывать линии мира — что бы это ни означало. Теперь уже нет той ясности понимания. Но сейчас ее все-таки больше, чем, скажем, двадцать лет назад. И это хорошая динамика.

— Мне очень трудно смотреть кино. Потому что в кино я втягиваюсь до такой степени, что проживаю его во всей полноте, вообще без дистанции. А это не всегда полезный опыт. И какое же счастье, что на свете есть Джармуш. «Мертвец» — единственный известный мне кинофильм, который кажется мне полноценным и даже счастливым отдыхом.

— Все это я пишу потому, что мне захотелось. А теперь

больше не хочется. Поэтому пока — все.

Расплаты не существует. Ни для кого. Это ложная концепция. Мне кажется, она возникла и оказалась столь устойчивой потому, что дрессировать детей и животных проще всего именно в рамках системы «наказание — поощрение». Люди уже много веков используют этот нехитрый метод и думают, будто Бог (судьба, мироздание, собственное бессознательное и т. п.) тоже обращается с ними как с детьми и животными. А это, конечно, не так. Никто нас не дрессирует. Мы тут не в стойле, а в большой игре.

С тех пор как представители так называемой западной культуры, к которой мы все принадлежим, стали интересоваться культурой восточной, в нашем словаре появилось слово «карма», которая представляется западному сознанию аналогом наказания за грехи и поощрения за не-грехи. Поскольку массовый интерес никогда не бывает глубоким, вся многотысячелетняя философия быстренько ужалась до интернетовской шутки «плюсик в карму», которая дурна не потому, что глупа, а потому, что лишает понятие «карма» смысла. Карма — это просто причинно-следственная связь, извините, капитан Очевидность вышел покурить, я пока за него.

Вместо наказаний и поощрений существуют причины и следствия. Это действительно вполне очевидно и обычно не вызывает возражений у человеческого ума. Возражения у него вызывает тот факт, что логика, действующая в поле этих причин и следствий, нам неизвестна. И не потому что страшная тайна, просто в человеческий ум эта логика не помещается. Непостижимая она, такие дела.

И непостижимая логика эта работает, причем только она и работает, нравится нам это или нет.

Все, что можно сделать в такой интеллектуально невыносимой ситуации, — внимательно следить хотя бы за одной человеческой судьбой — своей. И стараться не интерпретировать ее в рамках системы «наказание — поощрение», а пробовать нащупать внутреннюю логику этой конкретной игры. Очень трудно, я понимаю. Но интересно же. Я вообще не знаю, что может быть интереснее, потому что узнавая подлинное устройство и законы функционирования микрокосмоса (себя), мы одновременно получаем информацию о макрокосмосе. То есть об устройстве Ваще Всего.

Я могу подсказать один ключ к этой головоломке, простой, но хороший: жизнь сознания — это непрерывное накопление опыта. Ясно, что любой наш поступок приносит нам дополнительный новый опыт. А любой новый опыт — это вклад в формирование

как сознания, так и личности, в которую оно упаковано. Мы непрерывно меняемся вследствие собственных поступков, вот в чем штука. И эти внутренние перемены влекут за собой перемены внешние, потому что внешний мир любого человека — это зеркало (капитан Очевидность докурил, вернулся и взялся диктовать).

Иными словами, если в разгар лета облиться с головы до ног сахарным сиропом, нас немедленно облепят пчелы и другие любители сладкого. Это будет не «расплата», а просто вполне предсказуемое и естественное следствие нашего поведения.

Если при этом наш предыдущий жизненный опыт приучил нас бояться насекомых и не приучил сдерживать свой страх, мы начнем визжать и дергаться. И нас тут же искусают, причем опять же не в наказание за грех рукомахания, а следуя своим естественным природным реакциям.

А если у нас есть опыт обращения с насекомыми и опыт, содействовавший формированию механизмов самоконтроля, мы будем стоять ровно, дышать спокойно, и нас не искусают. Это, конечно, будет не «награда», а естественное следствие нашего поведения, причем не просто так внезапно проявившегося, а заранее сформированного опытом всей нашей предыдущей жизни.

Вот так в первом приближении выглядит действие так называемой кармы. Мне кажется, теперь наконец довольно наглядно получилось.

Религиозные чувства, которые можно задеть — любым способом — ничего не стоят вообще.

К этому можно прибавить, что ничего не стоят вообще любые чувства, обладатель которых полагает адекватным ответом на так называемое «оскорбление» их любые формы мучительства, начиная от уголовного преследования и заканчивая убийством.

Но штука на самом деле даже не в этом.

А в том, что любая попытка так называемых «верующих» представить своего Бога кем-то вроде себя — то есть обозленным тупым скотом — это покушение на Богоубийство.

Потому что извращение образа Божьего — это попытка уничтожения Его смысла. Понятно, что провальная, однако намерение учитывается. Даже неосознанное.

Скажу больше: неосознанное — тем более.

Это очень тяжелое преступление. На этом месте мне хочется сказать, что это преступление непростительно, но ничего непростительного в человеческих поступках, конечно же, нет. Не того полета птицы.

И последнее, что мне хочется сказать.

С этой точки зрения, сочувствие к убийцам (хотя бы частичное, с оговорками согласие с ними) — преступление, равновеликое самому убийству. Потому что согласие с убийством (и любым мучительством) на религиозной почве — ровно такой же силы вклад в извращение образа Божьего, ровно такой же ценности взнос в строительство ада на земле, ровно такой же шаг к пропасти, имя которой — небытие.

Потому что я хоть и прикидываюсь агностиком, а некоторые вещи вижу вполне себе ясно.

С

С каждым годом ощущение, что жизнь только начинается, все острей.

Даже если однажды окажется, что это был обман, и материальный мир со своими нелепыми законами восторжествует надо мной, я буду не в обиде. Потому что разочарование длится один миг, а очарование — все остальное время. Выгода очевидна.

Самая страшная штука, какую мне доводилось читать, была в одной из последних книжек Кастанеды. Там такой эпизод: Карлос и его коллега отправляются в очередное контролируемое сновидение, им снится, что они просыпаются в незнакомой комнате, на стуле сложена какая-то одежда, за окном незнакомый пейзаж. Они встали, оделись, подошли к окну, и тут пейзаж перестал казаться им незнакомым. Они вспомнили, как ложились спать в этой комнате, как снимали одежду, складывали ее на стуле. К счастью, они были вдвоем, к тому же довольно опытные люди, поэтому смогли удерживать в сознании обе версии — ту, согласно которой они спят и смотрят сон, и ту, согласно которой они тут живут. В конце концов, отошли от окна, разделись и уснули обратно, то есть домой.

Этот эпизод показался мне страшным потому, что он был узнаваемым. Мне, во-первых, абсолютно понятно, как происходят такие штуки. А во-вторых, ослепительно ясно, что именно это произошло когда-то и со мной. Только ума, воли и опыта не хватило проснуться домой.

И с тех пор живу здесь, как в капкане.

(Я, конечно, не утверждаю, будто все так и есть. Еще чего не хватало.)

Самодостаточность детства

Речь о шаманской самодостаточности, в той или иной мере присущей всем детям; конечно же, именно эта область обычно окружена провалами в памяти, у кого хотя бы отчасти нет, тому очень повезло.

Посторонние лица (в первую очередь, взрослые, но не только они) нужны ребенку для выживания в т. н. «реальном», т. е., материальном мире, но совершенно не нужны для выхода в магическое пространство, напротив, именно здесь посторонние очень мешают, чтобы началось что-то интересное, настоящее, они должны отвернуться, не заходить в наш подвал, уйти на весь день, лечь спать.

Коллеги-подельники, разделяющие с нами магическое

пространство, конечно, могут быть, но они не обязательны. С ними в магическом пространстве веселее (и обычно не так страшно) но в общем можно обойтись и без них.

Священная шаманская самодостаточность детства заканчивается, когда магическое пространство перестает быть ценностью номер один. И ценностью номер один становится так называемый «реальный мир», в рамках которого, мы, конечно же, зависим от посторонних. Прежде всего, от их любви, но не только. Там целый набор, мы все знаем, о чем речь, будем честны.

Самолет стартовал минут на 50 позже, чем положено по расписанию. Пока стояли в ожидании вылета, в салоне время от времени мигали лампочки. Гасли, потом опять загорались. Сидевшие впереди бабушки обсуждали происходящее: «Ну все, сломался самолет! Надо отсюда бежать!», «Да ладно, бежать, сами уже пожили, а вот детей надо спасать. Может быть, через окна?», «Смотри, смотри, стюардессы больше не ходят! Наверное, нас тут бросили, а сами спаслись!»

Интересно, что после того, как мы наконец взлетели, бабушки совершенно успокоились и панику больше не сеяли. И тут до меня дошло, что происходящее просто не совпадало с их предыдущим благополучным опытом. Наверное, летают редко, и самолет еще ни разу вот так не задерживал вылет. А после взлета все стало, как уже было, и бабушки расслабились.

Это на самом деле не столько смешно, сколько поучительно, мы же все, как эти бабушки склонны если не паниковать, то сильно напрягаться, когда происходящее выходит за рамки нашего опыта. Оно еще не «плохое», не «опасное», не «страшное» даже, просто необычное, но этого достаточно, чтобы перепугаться и всерьез обдумывать эвакуацию через окна, которые на самом деле иллюминаторы и не открываются на фиг вообще.

Самые крутые чуваки в мире — котики, которых мы (не лично я и мои близкие, а любые хорошие люди) подобрали на улице и оставили у себя жить.

Потому что это же вообразить невозможно, какая невероятная нужна воля (и удача), чтобы так повернуть свою уличную котиковую жизнь. Это примерно как человеку договориться с Мирозданием, чтобы за ним пришли из дворца и сказали: «Ты — принц, мы тебя потеряли, а теперь нашли. Пошли халву трескать!»

С людьми такого почти никогда не случается, а с котиками — то и дело.

Сдача

Когда-то мне очень нравилось играть в карты, почти все равно, в какую игру, да хоть в «дурака», потому что самым

захватывающе интересным был момент, когда берешь сданные тебе карты и смотришь, что там. Ну и прикуп в некоторых играх — еще раз смотрим, что выпало.

Дальнейший процесс игры был уже не так интересен. Потому что я же знаю себя и заранее примерно понимаю, как буду играть с этим вот раскладом. А выиграю или проиграю — вообще дело десятое. Я довольно азартный человек, но даже самый сильный азарт — довольно вялое фоновое чувство по сравнению со жгучим любопытством: что мне сдали на этот раз?

Ну и ясно, что самой любимой игрой на долгие годы стали нарды, где каждый ход сопровождается броском кубиков: что выпадет?

И еще более ясно, что таково было мое отношение к жизни вообще. Только жизнь невыгодно отличается от игр тем, что инстинкт самосохранения повышает личную заинтересованность в определенных раскладах и делает кране нежелательными некоторые другие. У меня инстинкт самосохранения ниже, чем в среднем по палате, но все равно есть, конечно же.

А отношение к сдаче как к «хорошей» или «плохой» лишает игру сокровенного смысла. И не факт, что без этого смысла игра остается игрой.

Поэтому со временем этот мой острый интерес к сдаче пропал (или почти пропал). Не помню когда. Видимо, довольно давно. Но важно не это, а то, что он вернулся. Вчера, около 6 вечера, точнее не скажу.

Сезонные скидки

Сначала все было хорошо или почти хорошо: плюс тридцать по Цельсию, тринадцать воздушных шаров в небе, совершенно постапокалиптический маленький красный шар предвечернего солнца.

Потом в магазине Kika (товары для домашних зверей) мне всучили рекламную листовку, где перечислены товары, на которые будут скидки в течение всего месяца.

Номером первым в каталоге скидок значится тарантул. Всего за сорок евро двадцать шесть центов можно купить у нас тарантула в сентябре. Чем не повод с оптимизмом смотреть в ближайшее осеннее будущее.

Служебная инструкция

Одно из самых поразительных открытий последнего времени — что когда находишься на границе, разборчивость и непримиримость становятся долгом. Не удовольствием, как кажется тем, кто пока втайне от себя мечтает о праве на высокомерие (и чем более страстно мечтает, тем больше негодует, увидев его у других), а тяжелой обязанностью.

Так происходит на любой границе, чем бы она ни была. От пограничного состояния сознания до просто жизни в Восточной Европе (думаю, есть и другие территории, где граница столь явственна, но могу говорить только о том, что знаю).

Потому что, пока ты на границе, ты — страж, хочешь ты того или нет. Дополнительного согласия не требуется, зарплата — бесценным опытом.

Смысл предрождественской суеты, конечно же, состоит в том, что когда зимняя тьма накрывает нас окончательно и бесповоротно, люди начинают строить себе волшебный город. То есть не строить, а уже готовый наполнять чудесами, как они себе их представляют, как на картинках в детских книжках было, по образцу. Эй, выходите во двор, будем играть в бессмертных волшебников, пока ужинать не позовут!

И если вам кажется, будто я сейчас насмехаюсь, значит, вы очень плохо знаете меня. Я не насмехаюсь, я держусь одной рукой за сердце, которое болит от почти безадресной, почти невыносимой любви к этой удивительной человеческой способности строить волшебные города, самим же в них не верить, самим же при этом смутно надеяться, что все это «покабудке» изменит хоть что-нибудь, а дальше мы сами все сделаем и в бессмертных волшебников превратимся навсегда.

А пока — по домам. Ужинать.

Во время переезда обнаружилось, что у нас скопилось много старых елочных игрушек, которые, конечно, не нужны, но просто так выносить их на помойку рука не поднялась. Несколько самых красивых мы оставили себе и подвесили на люстру, несколько других самых красивых пошли на подарки. Осталось еще два мешка. Теперь я каждый день выхожу из дома с запасом блестящих шишек и шаров и развешиваю их на чужие заборы, на ветки деревьев, на дверные ручки чужих подъездов. Некоторые висят до сих пор, другие забирают дети, по крайней мере, вчера мне навстречу шел совершенно счастливый мальчишка лет семи, прижимая к груди наш большой золотистый шар. Его добыча!

Если бы можно было выбирать способ умереть — вообще любой, вне зависимости от сложности исполнения — мне бы хотелось однажды, много-много лет спустя, взлететь к небу, взорваться там и рассыпаться праздничным фейерверком, а потом падать вниз золотыми шарами, серебристыми шишками, леденцами, мандаринами, шерстяными носками, да хоть копченой колбасой, если именно она может стать источником радости для собравшихся на Ратушной площади малолетних и многолетних детей, которые будут стоят, разинув рты, и пялиться в небо. И вы представляете, что с ними будет, когда они поймут,

что все эти падающие с неба подарки можно брать просто так, бесплатно, прятать в карманы, нести домой, прижимая к груди, потому что добыча!

Трофей.

И пусть еще какая-нибудь мамаша дергает сына за куртку: «Смотри, смотри, там, в небе, дракон!» И пусть он сперва ей не верит, потому что уже большой, целых одиннадцать лет, а потом пусть задерет все-таки голову, просто чтобы отстала, а там, в небе, и правда дракон!

Ну и после этого можно спокойно идти перерождаться во что-нибудь прикольное, например, в мире Дэвов. Потому что после такой непростой работы, как тут, всякой мыслящей монаде обязательно надо на курорт.

Сон в летнюю ночь

Вечер четверга — репетиция вечера пятницы, только горожане выглядят еще более довольными: вечером четверга у них не просто все, а ВООБЩЕ ВСЕ впереди. Включая, конечно, вечер пятницы.

Удивительно все же, как я люблю всю эту человеческую суету, включая еженедельное веселье-по-расписанию (при условии надлежащего оформления, конечно, то есть чтобы культурненько отдыхали и выглядели при этом потомками ангельского блуда, а не гамадрилами-оборотнями, воспитывавшимися на лагерных задворках) — люблю, пока бегу мимо, при условии, что никто никогда не заставит меня вливаться в этот дружный коллектив. Но уже и не заставит, пожалуй, поздно меня заставлять.

Но какая же летняя ночь — недавно была вокруг, а теперь уже за окном. Плюс двадцать один, и воздух пахнет всем самым прекрасным, что есть на земле, сбывшимся и несбывшимся, вперемешку. И ветер. И где-то вдалеке грохочет — вряд ли гроза, скорей чей-то сон про грозу.

Но я-то слышу.

Такая странная штука эта ваша органическая жизнь на планете Земля. Но ради таких ночей (и ради того незнакомца, кому сейчас снится гроза) уже имело смысл ее затевать.

Справляюсь

На улице такой ветер, что город, того гляди, улетит нафиг весь, целиком, роняя на землю отдельные черепицы и все, что плохо прилажено.

От этого у меня в кои-то веки ощущение, что я справляюсь.

Спрашивает: как живешь? Как-как, сутки напролет носом в компьютер. А ты? — И я тоже сутки напролет носом в компьютер, обрабатываю фотографии. Глаза, — говорит, — болят, света белого не вижу, в сад почти не выхожу.

Но ты вообще понимаешь, — говорю, — что это и есть счастье? Высшая его октава, круче не бывает.

И он расплывается в просветленной улыбке: — Да, конечно. Да.

Страх может парализовать и тело, и ум. Вопрос только в том, остается ли в этом параличе нечто способное действовать. Очень круто, когда оно есть. Оно — воля. Иного моста в бессмертие из этого нашего адочка я пока не могу вообразить.

Сумма наших коммуникаций с материальным миром не должна превышать сумму коммуникаций с духом. В идеале коммуникации с духом должны в нашей жизни преобладать. Переизбыток материального ослабляет и отупляет. Портит хорошую вещь — сознание. А этого допустить никак нельзя.

Спасти в такой ситуации могут техники, позволяющие поддерживать непрерывную связь с духом. Одно только наблюдение за собственным дыханием способно обезвредить даже такое ужасное действие как посещение гипермаркета. Друг мой рассказывал, как во время пребывания в каком-то (буддистском, скорей всего) монастыре с целью спасения от всего сразу, получил совет стирать носки Бога. Ну, как будто не свои грязные носки полощешь под краном, а Бог (нечто немыслимое и непостижимое, для удобства обозначаемое этим словом) эти носки извозюкал и попросил тебя помочь. Так ненавистная стирка превратилась в своего рода молитву, и этот метод работает для него до сих пор, порой достаточно грязную кофейную чашку за Богом вымыть, чтобы прийти в состояние бодрого деловитого блаженства.

Когда речь идет о таких как бы по умолчанию всем понятных, а на самом деле всеми понимаемых по-разному предметах, как «материя» и «дух» (в нашем частном случае, на самом деле подобных как бы базовых, но при этом индивидуально интерпретируемых штук навалом), надо предварительно договариваться, что мы имеем в виду.

А тут штука, конечно, не в том, ЧТО делать/не делать. А в том КАК.

Еще проще — что мы при этом чувствуем.

В моем понимании, ключевые слова «вдохновение» и «расчет».

Вдохновение — всегда возгорание внутреннего огня, ради которого мы здесь собрались.

Расчет — всегда дань нашей принадлежности материальному миру. Эта дань неизбежна, пока мы телесны, но следить, чтобы она не стала непомерно велика — наша ответственность.

Именно ответственность. И именно наша. Самая трудная из

ответственностей, потому что о ней поди еще догадайся.

Один человек рассказывал мне, что печет пироги, когда хочет, чтобы тяжесть бытия отпустила. И это совершенно правильный ход для человека, которому нравится печь пироги. «Нравится» означает, что человек чувствует в процессе душевный подъем, как бы он сам для себя это ни описывал.

А можно, условно говоря, каждый вечер смотреть на звезды, и никакого толку. Когда, к примеру, человек, глядящий на звезды, осознанно или неосознанно обещает себе за эти поглядушки более высокую ступень в некоторой воображаемой «духовной» иерархии, где всякий взгляд в небо — плюс одно очко, а главный приз — место на вершине пищевой пирамиды, где в качестве пищи сам господь бог. Звучит нелепо, но слушайте, почти вся правда о нас звучит нелепо. Мы просто не привыкли честно ее озвучивать.

Разобраться во всем этом гораздо трудней, чем кажется.

Вот, предположим, водопроводчик пришел в гости к приятелю и внезапно сам, без просьб и посулов, рванул чинить капающий кран в приятельской ванной, потому что того требует его внутреннее чувство гармонии (он и слов-то таких возможно не знает), потому что ему сладок момент устранения неполадки, и бросаясь чинить кран, наш водопроводчик рвется к этой тайной сладости исправления поломанного, а вовсе не к бутылке, которую возможно поставит ему приятель (поставит или нет, значения не имеет, потому что изначально причина действия не она). Так вот, этот водопроводчик занят служением духу, хотя ему самому в голову такая дурость ни за что не придет.

Гонорар вообще ничего не меняет — при условии, что первым импульсом, началом действия не был расчет на него. А если расчет был, последующее отсутствие гонорара тоже не превращает действие в бескорыстное задним числом.

А, скажем, поэт, который при сочинении стишка держит в голове формат определенного издания или даже просто вкус важного для него эксперта, и пишет с учетом известных ему требований, ради похвалы и признания в группе из, предположим, всего пяти человек, изводит себя служением материи, хотя о деньгах и прочих благах, мы понимаем, речь не идет. Это неважно. Важно, что поэтом руководит расчет, точка.

Видите, как все сложно?

А на самом деле оно еще сложнее. Хотя настолько просто, что дальше некуда уже.

Сытость и более-менее убедительная иллюзия ее стабильности даются человеку не за какие-то там заслуги и не в качестве лукавого адского пряника, за который придется

Страшно-Ужасно-Платить. А просто как условия новой задачи. Что ты будешь делать со своим избытком, дружок? На что его употребишь?

Для современного условно сытого условно цивилизованного человека сострадание (в любой из множества существующих форм, кому чего ближе, умозрительное, теоретическое тоже, в общем, засчитывается, потому что оно — первый шаг и всяко лучше, чем ничего) к другому — не книжная добродетель, придуманная условными попами и их подпевалами, а норма. Довольно новая, надо сказать, норма. Еще, мне кажется, мало кто научился воспринимать способность к состраданию именно как норму, а не как добродетель.

Не соответствовать этой норме не то чтобы «нехорошо», «некрасиво», а просто опасно. Потому что когда большинство сытых не используют новые обстоятельства по назначению, сытость признается преждевременной, и новая задача сменяется старой, уже хорошо знакомой: «Сколько чужих голов ты успеешь откусить, продвигаясь к кормушке, прежде, чем откусят твою».

Мало что может быть скучней, чем эта игра, как на мой вкус. Развитому сознанию там вообще втиснуться некуда, кроме нескольких, совсем уж тараканьих щелей. И на таких условиях, что проще умереть, не растягивая удовольствие.

Т

Такой квест

Люди обычно переоценивают значимость (на этом месте можно поставить точку, но я все-таки не стану) своих ошибок, всех этих так называемых грехов и грешков, как будто действительно кто-то строгий (вероятно, весь в чорном) сидит и подсчитывает эти наши бессмысленные делишки, записывает в тетрадку, отправляет в адские кладовые предзаказ на возмездие справедливое обыкновенное — сто восемьдесят, предположим, штук.

На самом деле кому это вообще интересно. Было бы что подсчитывать. Какой спрос с контуженного, себя не помнящего, бредущего в полной темноте и время от времени с грохотом опрокидывающего расставленные там предметы — падают ящики, шатаются стеллажи, бьются расставленные на них хрустальные вазы, каждая ценой в один смертный грех. Ну и грабли, грабли, конечно. Куда без них.

Сколько ящиков ты уронил, сколько стекла перебил, сколько шуму наделал, пробираясь во тьме, не волнует никого, кроме

таких же контуженных полуслепцов, по трагической случайности бредущих в той же тьме, в то же примерно время, так что некоторые тяжелые предметы могут упасть им на головы, а некоторые обрушенные ими стены — похоронить под собой нас. Но это вовсе не повод звать строгого в чорном с тетрадкой, да и нет его — любителя такой ерунды.

Важно в этой истории только одно: удастся ли бредущему во тьме хотя бы отчасти прочухаться и включить как минимум голову, хотя задача максимум, конечно, включить фонарь, по умолчанию встроенный в каждую человеческую конструкцию, но обычно в каком-нибудь хитром месте, сразу и не поймешь, где он у тебя спрятан, но надо стараться, потому что упражнение, которое мы все тут выполняем, этот нелепый этап большой игры называется «найди свой фонарь», а вовсе не «не наступи на грабли», как почему-то принято думать. Грабли — можно. Без фонаря — никакого смысла. На этом этапе надо искать фонарь.

После того, как фонарь найден и включен, хотя бы периодически, время от времени включается — зарядка аккумулятора тоже важная часть игрового этапа, а мы за этим совсем не следим — так вот, после того, как фонарь будет найдет и включен, ронять ящики, бить вазы и наступать на грабли уже не то чтобы вот прямо «нельзя», но так некузяво, что, будем считать, нельзя. Но это уже совсем другая история, и она тоже не о грехе, а просто о мастерстве и ответственности; впрочем тут можно вообще ничего не объяснять, те, кто иногда включает свои фонари, сами все знают.

Творческий кризис — это когда надо наконец закончить технически сложный текст (в том смысле сложный, что какая-то его часть должна быть написана в полусне, и тут очень важно, во-первых, не свалиться со стула, а во-вторых, действительно записать, а не увидеть во сне, будто оно было записано). При этом надо удержать в сознании еще примерно полдюжины таких — начатых и не законченных, чтобы они оставались в состоянии радостного ожидания, потому что когда в начатом и незаконченном тексте угасает огонь — все, о нем лучше забыть на несколько лет (потом, как ни странно, может воскреснуть). И тут звонит телефон, тебя куда-то зовут, обещают золотые горы живой настоящей жизни с друзьями, событиями, кофе и счастливой болтовней, а ты приходишь в неконтролируемую ярость, потому что суки такие разбудили, а у меня еще запланированный контролируемый бред не закончен, что ж вы так. И посылаешь всех так далеко, что они даже совершив кругосветное путешествие, не смогут позволить себе остановиться, и они, конечно, идут, и с ними уходит жизнь, твоя настоящая жизнь с

друзьями, событиями и прочим в таком духе, и ты, как невовремя, до темноты разбуженный вампир, ворочаешься в своем трехкомнатном палисандровом гробу, только, в отличие от настоящего тру-вампира, ждешь не возможности отправиться на охоту за чужой кровью, а момента, когда нечто неведомое, невообразимое и настолько любимое, что уже почти ненавистное придет за твоей.

Если бы двадцать лет назад мне сказали, какого рода счастье меня ожидает, мне бы наверное хватило ума сховаться в какой-нибудь погреб; впрочем, не помогло бы, когда за тобой должны прийти и уволочь во тьму, из которой всю жизнь потом придется выбираться, цепляясь за собственноручно, на коленке созданные смыслы, ни в каком погребе не отсидишься, все равно придут и уволокут.

Это был правдивый отчет о так называемом «счастье творчества», которое, на самом деле, просто приговор к пожизненным каторжным работам и условно добровольному (насколько добровольна вампирская жизнь в гробу) отшельничеству. Побег теоретически возможен, но карается полной утратой смысла, поэтому никто никуда не бежит, а только жалуется или хвастается, хотя и то, и другое совершенно не в тему тут.

Теплое и светлое время года — время безусловного торжества живой плотной телесной жизни. Все это цветение, опыление, клеточное деление, плодоношение и прочий половой восторг природы. Вся эта наша свобода от дополнительных хлопот, связанных с выживанием — можно ходить голышом и спать под открытыми небом; понятно, что мы так не делаем, но препятствия тому социальные, а не материальные, тело знает, что в принципе такое возможно, дополнительная страховка ему не нужна, весь мир, следовательно, принадлежит ему, и даже пугающая его (не нас самих, а только тело, предпочитающее видеть, что происходит вокруг) тьма приходит совсем ненадолго. Только что был закат, и — хлоп! — уже опять рассвело.

Поэтому многие из нас так любят лето (я, собственно, тоже). Летом мы ощущаем себя живыми без дополнительных усилий. И иллюзия безопасности среды, на которую так легко ведется наше тело, летом многократно сильней. Летом она общедоступна, эта иллюзия. Не захочешь, а все равно поведешься.

Когда приходят холод и тьма, иллюзии безопасности среды делается кирдык. Окружающий мир демонстрирует нам свою безусловную готовность к умиранию и как бы намекает, что нам тоже неплохо бы взяться за ум и заняться примерно тем же. А мы не хотим! Кто ж такого добровольно захочет — отказаться от

торжества жизни. Не психи же мы совсем.

А ведь на самом деле зима — время торжества настоящей подлинной жизни. То есть духа. Когда тело притихло и отползло на кухню есть утешительный суп при искусственном ламповом свете (малый обязательный набор «Иллюзия безопасности, сделай сам», спасибо за него техническому прогрессу), на сцену выходит дух. То есть он никуда с этой сцены не уходил, просто летом труднее было его заметить. Материя торжествует так громко, что других голосов не слышно. А они есть. Они всегда звучат. Просто когда материя испуганно умолкает, у нас появляется шанс услышать другие голоса. В большинстве случаев совсем исчезающий, малый, почти равный своему отсутствию шанс. Но он все равно есть.

И смысл главного праздника конца осени — Сайман, День Всех Святых, Хеллоуин, как ни назови — он о стирании границ между плотной телесной реальностью и тайным тонким миром, условно говоря, волшебства, по большей части, умопомрачительно страшного, потому что в каждом, скажем так, нормальном человеке стоят предохранители, устроенные таким образом, чтобы к тонкому миру его не подпускать. Система безопасности там крутая: страх, тупость (т. е. неспособность воспринимать информацию, сколь-нибудь отличную от привычной), естественным образом вытекающий из этой неспособности скептицизм. Ну, в общем, чего зря болтать, в каждом из нас установлена та или иная модификация этой охранной системы.

Однако сейчас, когда в нашу часть обитаемого мира пришли холод и тьма, ворота в иную реальность останутся приоткрыты — не на день, не на неделю, а до первых подснежников, примерно на столько. Приблизительно так. И это огромное благо, потому что времени достаточно, чтобы хотя бы единожды за всю свою жизнь хотя бы одной ногой провалиться в эту бездонную пропасть, ничего не понять, все забыть, но опыт есть опыт, даже неосознанный, даже такой. И это лучше, чем ничего.

У

У нас второй день оттепель, не могу сказать, какая уже по счету за эту зиму, которая даже за половину пока не перевалила.

Оттепель — это означает + 3 (вот прямо сейчас за окном), дождь, переходящий в мокрый снег, мокрый снег, переходящий в дождь, ручьи вместо улиц (под водой почти всегда нерастаявший лед), воздух настолько сырой, что его приходится глотать как суп,

ветер, громыхающий форточками и завывающий в перекрытиях, низкая облачность, превращающая летящие над нами самолеты в призраки летающих тарелок.

То есть та самая зимняя погода, которую люди обычно терпеть не могут, а я люблю больше всего на свете. Потому что оттепель — примерно то же самое, что и я.

В смысле я и есть оттепель. По своей природе, по силе, по несоответствию внешних признаков степени внутреннего ликования, по несвоевременности, по мучительности проявлений, по всем остальным параметрам. Не сама жизнь, но напоминание о возможности жизни и обещание ее неизбежного наступления.

Все, что я делаю, может быть приравнено к оттепели в январе. В связи с этим хочу заметить, что плюс три не становятся ложью только потому, что послезавтра (например) может снова сделаться минус десять. Нет ничего честнее этих вот выпендрежных, ненадежных, прямо здесь и сейчас торжествующих плюс трех.

Улетел

Ангел наш улетел, а сквозной проход от улицы Ужупе вниз, к реке и художественной академии нынче перегорожен с обеих сторон, сверху и снизу — стройка! Но и там, и там, оставлена возможность пройти — нелегально, игнорируя запрещающие таблички, однако при этом не сигая через заборы, ногами по твердой земле. И мы, конечно, прошли, спустились по ставшей запретной лестнице вниз, к мосту через Вильняле, от академии к Бернардинскому саду; в реке плескались утки, возбужденные хлебными крошками и весной, на мосту стояли мама и сын, а над нашими головами голубело предзакатное небо, ветер гнал облака. Мы шли и смотрели по сторонам, ангел наш улетел, елки, как жалко.

Вру, на самом деле совершенно не жалко — ни улетевшего ангела, ни этой чертовой лестницы, ни граффити, которые скоро закрасят, ни старых стен, на месте которых воздвигнут новые, ни нас, спустившихся с холма, чтобы пересечь реку, а за ней — Бернардинский сад и двинуться строго на запад, в сторону ярмарки и заката, ангел наш улетел, мы ушли, ярмарочные лотки разобрали, через год их опять соберут, мы вернемся, ветер снова будет гнать облака, а ангел — что ангел, его дело летать, а не висеть над воротами, пусть летит, ничего не жаль.

Умберто Эко

Вам, предположим, двадцать три года, у вас, предположим, так называемый оригинальный ум, жаждущий неведомо чего, зато жаждущий этого неведомого с алчностью черной дыры, поглотившей за всю свою жизнь очень много бессмысленной

пустоты и всего парочку сладких астероидов — слишком мало для насыщения, но достаточно для отчаянного недовольства безвкусной пустотой.

Вокруг вас, предположим, информационная пустыня, потому что вокруг вас — позднее сэсэсэр, самый конец восьмидесятых, и нет, вы не из столичного города, не из так называемой хорошей семьи. Самое ценное образование, полученное вами — умение читать, которое откуда-то само взялось, когда вам было три года. Остальное благополучно просвистело мимо. Да и не было там особо чему свистеть.

Вы, предположим, начитаны, насколько возможно быть начитанным человеку, чьи возможности исчерпываются хранилищами местных библиотек и милосердием немногих знакомых обладателей книжных сокровищ, которые иногда дают что-нибудь этакое почитать на пару часов или даже на ночь. На целую ночь! Редко, но иногда везет и настолько.

Ваш идеал жизненного уклада, предположим, гессевская Касталия, потому что там такие библиотеки! Такие учителя! И вокруг вас сплошь люди, у которых тоже есть эти учителя и эти библиотеки. И это, представляется вам, такой недостижимый уровень, такая глубина взаимопонимания, что можно уже вообще ни о чем не говорить. А иногда — вместе играть в эту их кастальскую игру, правила которой вам так и не стали понятны даже после дюжины перечитываний, но вы точно знаете, что родились именно для нее. И больше ни для чего. (Да, вот такой вы дурак в двадцать три года, ничего не поделаешь, что ж теперь.)

Предположим, другой ваш идеал, совсем уж недостижимый, смех бессмертных, вычитанный у того же Гессе. Хотя на самом деле вы не понимаете, что это такое. Но жопой, сердцем и всем остальным, что есть у вас чуткого, чуете, что это вам надо. Вот прямо сейчас! И, елки, только о том и думаете — вот бы так посмеяться однажды. Лучше при жизни, потому что учиться важным вещам надо заранее. А то помрешь потом и окажется, что без умения так смеяться, ты смертен. И все, поздняк метаться. Выключаем свет.

Предположим, в один прекрасный день в ваши руки попадает журнал «Иностранная литература», в котором напечатан роман. О романе известно, что по нему уже сняли фильм; знакомые каким-то чудом попали на полузакрытый просмотр, сказали, кино отличное, но роман тоже вполне ничего. Если уж тебе не удалось увидеть кино, хотя бы почитай.

Предположим, вы беретесь читать и тут же обнаруживаете, что повествователя зовут Адсоном, а его старшего мудрого спутника — Вильгельмом Баскервильским. Это что такое вообще?

Это как?! И начинаете ржать раньше, чем додумываетесь до сколько-нибудь удовлетворительного ответа; впрочем, до ответа вы так и не додумываетесь, потому что этот внутренний хохот наедине с собой и каким-то образом хором со всем миром — и есть ответ.

Предположим, вы читаете дальше, почти не понимая сюжета, взахлеб, не отрываясь, не ради самого текста, а ради удивительного счастливого ощущения, что вас взяли в игру. Правила этой игры вам пока незнакомы, но вас все равно взяли, сказав: ничего, научишься по ходу, как-нибудь сообразишь.

И это правда, по ходу многому можно научиться. Но это вы узнаете потом, а пока вы просто смеетесь, и смех ваш становится все холоднее и звонче; это, конечно, совсем не тот смех бессмертных, о котором писал Герман Гессе, зато он очень похож на то, что смутно мерещилось вам. Ну потому что интерпретация — не только дубина в руках читателя, способная разрушить любой авторский замысел, но и волшебный посох, при помощи которого читатель может преобразовать свой мир. А это гораздо важней самого утонченного замысла, приходится признать.

И с этого дня вы знаете (на самом деле еще ни черта не знаете, но когда все-таки узнаете, поймете, что знали с того самого дня), что такое постмодернизм и зачем он нужен.

Постмодернизм в вашей трактовке, которая, конечно, отличается от общепринятых, ну а чего вы хотели от невежды с восторженным складом не столько ума, сколько прилагающихся к этому уму девайсов — ай, неважно! — важно, что в вашем понимании постмодернизм — это удивительная возможность соединиться в братском кастальском объятии со всей остальной мировой культурой и хохотать, обнявшись. Ныне и присно, то есть правда, с этого дня и всегда.

Предположим, вы потом просто живете дальше, ничего на самом деле не изменилось, так не бывает, чтобы от какой-то книжки вдруг изменилась человеческая жизнь. Вопрос только в том, кто теперь живет дальше вашей нелепой, еще буквально вчера бессмысленной жизнью, которая внезапно обрела невысказываемый, но совершенно конкретный смысл.

Невысказываемый, потому что он не слово, а смех. Даже не сам по себе смех, а просто его возможность. Шанс однажды когда-нибудь снова так смеяться, обнявшись со всем миром сразу. Пригласительный билет на очередной тур игры в жизнь. Такую прекрасную жизнь, в самом начале которой мы, обнявшись, всем миром хохотали над мудрым следователем Вильгельмом Баскервильским и слепцом Хорхе Бургосским, и в нашем смехе было поровну бесконечного холода и бесконечной любви.

Умная Э.

За столиком уличного кафе две женщины, как выясняется по ходу дела, мама и дочка. Мама — вся такая воздушная, маленькая, тоненькая, прехорошенькая, платьице, кудряшки, накрашенные глазки, тревожное кокетство, таких в общем много, все знают этот классический типаж вечной девочки-девочки. Дочка — черная майка, стрижка, кеды, три километра великолепных ног в драных джинсах, красотка-пофигистка, тоже в общем классика, просто другая.

Когда мы с кофе устроились рядом, мама как раз нудила дочке про одежду, показывала разных прохожих — типа смотри, тоже в брюках, но выглядит женственно. А тыыыы…

Наконец, понизив голос до шепота, сказала:

— Ты вообще понимаешь, что у тебя имидж лесбиянки?

Дочка что-то добродушно буркнула в духе — и что в этом плохого, мамочка?

— Они тебя примут за свою, — продолжала шептать мать, — кто-нибудь влюбится, а ты не такая! И разобьешь ей сердце.

— Это еще ничего, — флегматично заметила дочка. — Самая жесть начнется, когда наш сыночек пойдет в погреб за пивом.

Ф

Филе поэта

Важное про Бродского — что его не доели в хтонической лакейской столовке под названием СССР, где охотно съедали всякого хоть сколь-нибудь похожего на живого человека, а уж нежное филе гения не схрупать — обижаете, гражданин начальничек. У нас тут так удачно статья за тунеядство припасена.

Но Бродского все-таки не доели, отпустили пожить, поездить, мир посмотреть, стихов пописать. Удивительная история. Чудо как оно есть.

Сэсэсэра давно нет, а столовка работает, никто ее не прикрывал, просто с поставками нашего человеческого мяса есть некоторые перебои. Но эта проблема постепенно улаживается. Обмен скотской покорности на разрешение мучить и живьем пожирать всех, кто к скотской покорности не способен, налаживается в последние годы с пугающей скоростью.

На самом деле вообще неважно, какой политический строй на дворе, и как зовут неприятных людей в дорогих автомобилях с мигалками, важна только готовность мертвой внутри нелюди в любой момент начать есть вкусных живых людей, то есть не то

чтобы внезапно начать, а просто не останавливаться, мучить и пожирать живое не по команде даже, но и вялым властным запретам наперекор. А уж по команде сам бог велел (тот их жуткий придуманный бог, изображения которого сейчас так охотно вышивают на занавесках для трапезных). И, не вынимая изо рта конечность поедаемого, они мычат что-то о всеобщем гуманистическом равенстве и недопустимости деления на людей и нелюдь, на живых и мертвяков. Обида, порождаемая подобными разговорами, мешает им спокойно кушать.

Быть живым человеком среди прагматичной человекоядной обидчивой нелюди очень стремно, чуваки. Но тут ничего не поделаешь, нам бы ночь простоять да день продержаться, повторить это упражнение сколько получится тысяч раз, и еще напоследок.

Ну а мы чего. Мы стоим, куда деваться. Мы знаем, что на самом деле их нет (хотя ощущения слишком часто свидетельствуют об обратном).

Франкфурт

Превращенный в руины, а потом отстроенный заново, иными словами, погибший и воскресший, Франкфурт, как показалось мне, не любит вспоминать прошлое и демонстративно равнодушен к собственным уцелевшим фрагментам. Просто давай не будем об этом, ладно? — говорит он и натурально подталкивает вас в спину: — Пошли отсюда, а? Ну пошли уже.

Тому, кто умер и воскрес, проще делать вид, что это он вовсе не воскрес, а родился. Совсем недавно родился, посмотрите, какой я молодой, деловитый и жизнерадостный. Я крут! А воспоминания о прошлом, о жизни до смерти, до воскрешения, елки, откуда они вообще взялись? Ладно, пусть лежат в архивах. Но ворошить их мы не будем, ок?

Договорились.

Я его понимаю, как мало кто.

Крысичке

Фрегат Скандальный

В Одессе раньше были большие многоместные катера, которые катали людей от пляжа к пляжу; если учесть, что Одесса — очень длинный город, вытянутый вдоль моря, из катеров получился удобный вид городского транспорта — не особо быстрый, зато приятный, без духоты и давки, связывающий между собой даже дальние городские концы, типа Черноморки с Ланжероном и даже с Лузановкой. Не знаю, есть ли эти катера сейчас; жалко, если нет.

Сегодня мы ездили из Варны в Несебр автобусом, а потом

обратно тоже автобусом, и сразу же стало ясно, что тут очень пригодился бы катер, курсирующий между курортными приморскими городками. С закрытым салоном, чтобы не продуло мамаш с младенцами, и открытой палубой для любителей всех ветров. С буфетом, где продают мороженое и лимонад. С вайфаем и прокатом капитанских фуражек для фоточек в инстаграм. Отличный бизнес, словом, придумали, можно было бы сразу все бросить и заделаться храбрыми капитанами. Дело за малым: у нас нет ни катера, ни денег, чтобы его купить.

Капитана, впрочем, у нас тоже нет. То есть в тельняшке с трубкой по палубе дефилировать мы все заранее готовы, а управлять судном — как-то не очень. Не прямо сейчас, по крайней мере.

Поэтому гениальным бизнесменам в нашем лице срочно требуются белый катер и его капитан. И выгодный контракт с поставщиком мороженого.

Зато заранее ясно, что катер будет называться «Фрегат Скандальный» — в честь уличного котенка, который вынудил всех жителей окрестных кварталов его кормить. А если дела пойдут хорошо, заведем второй катер и назовем его «Эсминец Робкий» — в честь второго котенка, которого все те же жители окрестных кварталов тщетно пытаются выманить из убежища, чтобы — совершенно верно, тоже покормить. Но на то он и Робкий, чтобы уговорить его было непросто. Зато Скандальный старается за двоих.

Из них обоих со временем могли бы выйти отличные корабельные коты — если бы у нас был белый катер. А лучше все-таки два белых катера. Во-первых, больше народу покатается, во-вторых, каждому коту по именному кораблю, все честно.

— Да ладно, лишь бы были живы, можно и без кораблей, — говорит К., честно озвучивая то, о чем постоянно думаем все мы в связи с этими дурацкими котами.

— Они уже живы, — говорю я, — вот прямо сейчас — живы. Они уже прожили на несколько дней дольше, чем получилось бы без нас. О большем и мечтать нельзя на самом-то деле. Если ты однажды по воле случая, или по собственному решению бескорыстно продлил чью-то жизнь хотя бы на один день, ты уже в игре. В вечной игре, выступаешь на стороне жизни, которая всегда обречена на поражение и всегда торжествует, так уж все устроено.

Играть на стороне жизни — единственно верная позиция. Потому что смерть справится и без нас. Нет смысла с этим соглашаться. Согласиться с неизбежным любой дурак может, ну и какой тогда смысл.

И еще много чего умного говорю я, а потом иду домой через ночной город и бормочу под нос: «Лишь бы были живы», — и даже не знаю толком, кого имею в виду: дурацких котят с немыслимой волей к жизни, наши несбывшиеся белые катера, нас самих, таких уязвимых в своем наивном ситуативном всемогуществе, ангелов небесных, с умилением внимающих нашему гоготу на весь квартал, хрустальному смеху бессмертных, хрустальным воплям бессмертного Скандального кота.

Конечно, я имею в виду нас всех. И конечно, будет по слову моему. А зачем я еще тут.

X

Хорошая новость состоит в том, что ничего невозможного действительно нет. В пару к ней прилагается новость, что почти все почти невозможно! Поэтому получается в итоге только то, что ОЧЕНЬ НАДО. Вот прям позарез, иначе не жить.

Хороший, плохой, злой. Очень злой!

В городе Несебре в ходе дегустации напитков, которые там пытаются выдать за кофе, придумали отличный кинофильм про кровавого маньяка.

Маньяк этот заходит в разные кафе и спрашивает с порога: «А у вас хороший кофе?»

Ну и ему конечно говорят: «Да!»

Они всегда говорят «да».

Маньяк наш пробует кофе и, если действительно хороший, выпивает его, платит и уходит. А если кофе все-таки плохой, убивает всех присутствующих и тоже уходит. Не заплатив, благо уже и некому.

В ходе художественного кинофильма льются реки крови и коричневой жидкости, зачем-то именуемой словом «кофе».

В финале городок, по которому прошелся маньяк, побеждает на всех мировых чемпионатах бариста и становится Меккой кофейных гурманов. Маньяк, в роли которого отлично смотрелся бы покойный Ли Ван Клиф или ладно, просто Клинт Иствуд, вытирает окровавленный пулемет об замшевую штанину и покидает город, загадочно ухмыляясь в перепачканные кофейной гущей усы.

Оранжевое солнце победоносно укатывается за горизонт.

Хроники последних дней года

По городу ходят экскурсии, взрослые усталые люди, некоторые парами, как детсадовцы, а некоторые просто нестройным ручейком. У людей мучительно напряженные лица. Культурный отдых, не хрен собачий. Не до баловства.

Ходят, впрочем, и свободные туристы, без гидов и кандалов. Эти счастливые, подпрыгивают и таращатся по сторонам. Я, впрочем, тоже таращусь.

На Кафедральной площади женщина нашла плитку с надписью STEBUKLAS (чудо), на этом месте у нас обычно крутятся на пятке, предварительно загадав желание. Возбужденно спрашивает спутников: «А сколько желаний можно загадать? Только одно? А можно больше?»

Я иду мимо и думаю: «Да сколько угодно можно, если хватит

сил и умения».

Но, конечно, молчу. Иду все более мимо и думаю, что загадать желание — это же не просто сказать: «Я хочу». Загадать желание — это означает сосредоточиться, выгнать из головы все мысли, кроме одной — загаданной. Настолько выгнать, чтобы вокруг стало темно, и в этой темноте горит огнем, бьется, пульсирует одно-единственное загаданное что-то там. Если так не уметь, никакой стебуклас не поможет. И даже Санта Дед Мороз.

Санта Дед Мороз сейчас разъезжает по городу в микроавтобусе красного цвета. По форме — маршрутка, по раскраске — пожарная машина, надпись — «City tour». В машине — только Санта Дед Мороз и Снегурочка средних лет в голубом, усталая, как будто только что сбежала с групповой экскурсии. Красная машина едет медленно-медленно, постоянно попадается на глаза, если ходишь по городу сложносочиненным петлями со скоростью нормального пешехода. Такой уж у них романтический городской тур на двоих.

Впрочем, вполне может быть, что мужик в красном — никакой не Санта Дед Мороз, а Старый Год; на детских утренниках, которые надо было вытерпеть ради пакета с подарками, Старый Год выходил на сцену в таком дед-морозовом костюме, только тулово перечеркивала лента с надписью «1976» (например). Если так, тогда понятно, чего он колесит по городу. Надо же все еще раз посмотреть напоследок прежде, чем придется уйти навсегда.

Открытым, в таком случае, остается вопрос, кто такая дама в голубом. С другой стороны, может быть просто дама? Почему бы уходящему году не попробовать наладить напоследок личную жизнь.

Он, может, желание загадывал, встав на плитку с надписью STEBUKLAS. Зажмурился, выгнал все мысли из своей годовой головы, и тогда в темноте перед его закрытыми глазами появилась дама в голубом. И красный автомобиль. Так что можно больше одного желания, все можно.

Вообще все.

Ц

Цитаты

Имея своеобразное счастье быть автором, раздираемым на цитаты, довольно быстро понимаешь, что всякая религия — это тоже просто цитата, выдранная из контекста, перевранная в процессе переписывания, а иногда и вовсе неведомо, чей ляп, для

солидности подкрепленный авторитетной подписью.

Ч

Человек и закон

Границу допустимых требований общества к отдельному человеку проще всего показать на правилах дорожного движения.

В целом правила дорожного движения — пример чрезвычайно разумного и необходимого свода законов (обязательных к исполнению правил), соблюдение которых всеми участниками движения делает его (движение) максимально безопасным и удобным для всех, при этом ни одно из правил не является невыполнимым — обладания базовыми навыками практического вождения, необходимыми для получения водительских прав, достаточно, чтобы выполнить любое из правил.

Однако в правилах дорожного движения есть статья, обязывающая водителя и пассажиров пользоваться ремнями безопасности и устанавливающая определенное наказание за отказ от выполнения этого условия.

Правило это, на первый взгляд, может показаться разумным: для многих водителей и пассажиров страх наказания становится серьезным аргументом в пользу применения ремней безопасности, и в некоторых случаях это действительно спасает им жизнь.

Однако как только общество начинает угрожать мне наказанием за недостаточную, по его общественному мнению, заботу о моей собственной безопасности, оно переступает роковую черту и становится, по сути, рабовладельческим, с тем лишь отличием, что рабовладелец — коллективный. Что на самом деле только усложняет ситуацию, потому что с ним не договоришься о выкупе, и даже бежать толком некуда, проблема-то общая, разница только в нюансах.

Когда я говорю, что общество рабовладельческое, это не художественное преувеличение, а констатация факта. Потому что быть свободным человеком — это, в первую очередь, самому решать вопросы своей безопасности, со всеми вытекающими последствиями, в том числе, платить жизнью за свои ошибки. Или наоборот, спасать свою жизнь, положившись на свои знания, опыт и интуицию в тех случаях, когда они требуют принять меры безопасности, не совпадающие с общепринятыми (известен ряд ситуаций, когда отсутствие ремней безопасности спасало жизнь водителю, так случается довольно редко, но случается, факт).

Пока у человека нет свободы даже на этом уровне — самостоятельно принимать решения о своей безопасности, самостоятельно решать, как распорядиться своим телом и психикой, самостоятельно передвигаться по планете, не спрашивая разрешения чужих, незнакомых ему людей, самостоятельно решать, каким способом и при каких обстоятельствах он умрет, человек находится в рабстве, вне зависимости от того, осознает он это или нет.

Скажу больше, пока общество ограничивает человека в принятии самостоятельных решений о собственной жизни и собственной смерти, оно берет на себя функции Бога, с которыми не справляется столь явно, что даже не смешно это обсуждать.

Я понимаю, что эту проблему вот так сразу не решишь. Но пока уважаемая сытая, одетая и обутая часть человечества сидит в своих теплых уютных сортирах, пристегнувшись, для спокойствия, ремнями безопасности к бачкам, и делает вид, будто проблемы нет, человечество, при всем моем уважении, семимильным шагами идет к пропасти, где ничего, кроме сортиров и ремней, по большому счету, нет.

И в этих сортирах, прикиньте, все холоднее и неуютнее. А ремни затягиваются все туже. С каждым годом.

Привет.

Человеку нужно жить долго. Потому что к семидесяти годам можно стать наконец настоящим молодым хулиганом. А к ста пятидесяти возможно достичь более-менее осмысленной зрелости. Неважно, впрочем, сколько мы все проживем. Важен только вектор движения — вперед и вверх.

Когда вам говорят о «возрастных изменениях», подразумевая неизбежную деградацию, или объясняют, что какая-то одежда, поведение, занятие, состояние карьеры и ума вам «не по возрасту», вас просто пытаются преждевременно загнать в гроб, имейте это в виду. А что не со зла, то есть неосознанно — так это отягчающее обстоятельство.

Неосознанность — всегда отягчающее обстоятельство.

Чем старше становится человеческое тело, чем хуже оно справляется с обязанностями поставщика простых восторгов, тем более необходимой оказывается наша способность опереться на дух. И на тот набор тонких восторгов невидимой реальности, к которым у нас есть доступ. Тот, у кого подобного набора нет, умирает с окончанием половой и/или бурной социальной активности; полностью или только отчасти, зависит от многих факторов, но большой разницы на самом деле нет.

Мой папа к своим восьмидесяти годам стал тоннами читать волшебные сказки и начал каждую ночь летать во сне — снова,

как было в детстве. Это делало его очень счастливым, а меня тогда, помню, удивляло чрезвычайно — неужели такой малости может быть достаточно для счастья?! Но это только на первый взгляд, малость, а на самом-то деле отличный результат. У папы всегда была отличная интуиция; он вообще был очень живучий и очень гармоничный человек (гармония и живучесть — вещи взаимосвязанные; это, надеюсь, понятно).

Однажды мы говорили с друзьями о том, как важен культурный бэкграунд для подростка. Чтобы к тому моменту, как через тебя, не спросив разрешения, даже не предупредив, попрет бешеная дурная сила, иметь хоть сколько-нибудь годный инструментарий для внутреннего описания этого процесса и, если можно так выразиться, намеренного возвышения собственных переживаний. От смутного томления плоти много больше пользы, когда мы можем считать его вдохновением, страстью, или вселенской тоской. Или еще как-нибудь красиво назвать, а потом честно стараться ответить за слова, вести себя соответственно, расшибая лоб обо всю эту вашу так называемую «реальность», самозабвенно заливая собственной живой кровью первое в своей жизни белое пальто, самое великолепное и невыносимое, другого такого уже не дадут.

Быть подростком — это вообще ужас кромешный, но быть подростком без мощного культурного бэкграунда — кратчайший путь к стремительному скотоморфированию, а для неподдающихся этому процессу — к самоуничтожению, вот я о чем.

И ровно так же важен культурный бэкграунд для старика. Потому что когда слабеющее тело оставляет тебя наедине с духом, уму жизненно необходима возможность как-нибудь привлекательно себе это описать. И, уцепившись за это описание, сделать первый шаг в сторону внетелесной жизни, на этом этапе обычно очень пугающей.

Потому что иначе страх смерти придется перешибать болью, достаточно интенсивной и утомительной, чтобы уход показался желанным. Всякий, кто стоял на этом краю, знает, что это действительно работает. Но назвать идеальной такую технику спокойного, не панического ухода, конечно, нельзя.

Перечитывать волшебные сказки и летать во сне куда как лучше. Папа все-таки был гений. У меня за всю жизнь столько шляп не было, сколько надо бы по этому поводу перед ним снять.

P.S.

С этим самым культурным бэкграундом такая засада — «мощным» его делает вовсе не степень нашей начитанности-наслышенности-насмотренности, а только тот факт, что на него

отзывается наше сердце. Проще говоря, если мы любим все вот это вот, оно станет для нас спасательным кругом. А если любим только наполненное знаниями себя, никакого спасательного круга у нас нет, хоть с ног до головы дерридой обложись.

Из этого постскриптума вытекает вполне ожидаемый вывод: главное — это растить свое сердце. Воспитывать в себе способность любить. Никогда заранее не знаешь, что ее разбудит, но что-нибудь — непременно. Не бывает так, чтобы к такому простому, в сущности, замку на всем свете не нашлось ни одного ключа.

Черепа и помпоны

Черепа и помпоны — это такое (гипотетическое пока) грядущее украшение золотой сумки, которую мы купили вчера другу Р. — специально чтобы было куда подвесить подаренные ей черепа. Думали, чем бы дополнить картину, и решили, что черепа следует дополнить мягкими невинными шерстяными помпонами.

Череп — символ не столько смерти, как принято думать, сколько все-таки жизни. Поди проживи без черепа! Без мозга, я знаю, удается многим, но без черепа голова сдувается, слипается в комок, в нее становится неудобно есть, и привет.

Зато с помпоном все вполне однозначно: ясно же, что всякий помпон — это модель Вселенной. Неправильная, конечно. Но именно такая и нужна.

На материке Мадайк, что находится в мире Хомана, живет бог Шапитук. Его жилище окружено такими специальными ритуальными столбами с изображениями моделей Вселенной. Неправильных, конечно, кто ж вам правильные рисовать станет. Но смысл рисунков не в том, чтобы облапошить окружающее мирное население. А в том, что всякий сведущий человек, увидев эти изображения, начинает ржать. Просто не может удержаться, такая умора! На шум из своего жилища выходит бог Шапитук и приглашает незнакомца в гости. Он всегда рад поговорить с человеком, понимающим, как комично выглядит неправильная модель Вселенной. То есть не только знающим, как правильно, но и не делающим трагедию из существования неправильных версий. (И дело тут, конечно, не в пресловутом «чувстве йумора», а в том, что смех отменяет страх. Пока смеешься, бояться невозможно; до и после — пожалуйста, но одновременно — нет.)

А ни один уважающий себя бог, включая выдуманного, будем честны, Шапитука, не станет говорить с боящимся. И не потому что сноб, а по техническим причинам. Бог и страх существуют в разных измерениях. Ты или там, или там.

Что-то, говорят, происходит в городе и во всем прочем мире, много всего, но происходит оно не со мной. У меня есть

темное Заокно, там холмы и редкие огни, там плещется теплый ноябрьский воздух, который по ночам превращается в воду, а вода — в вино, надышавшись которым всласть, так легко согласиться с жизнью, вне зависимости от того, есть она или нет.

Как скажешь, дорогая.

Чувство комического, какие бы определения ни давали ему словари, в первую очередь, отличный щит, прикрывающий нас от ужаса небытия.

«Ничего не получается» — это разновидность ужаса небытия, «все равно получается» — это шаг в бессмертие, каким бы идиотским способом и через какую жуткую жопу ни приходили бы мы к этому ощущению.

Ш

Штука в том, что из историй о чудесных спасениях читатель может (идеальный читатель в идеале может) почерпнуть опыт, равноценный житейскому, т. е. прожитому в поте лица. И этот опыт может ему здорово пригодиться, если он сам однажды попадет в обстоятельства, где для удачного разрешения необходимо чудо (то, что принято считать чудом).

Вот именно поэтому у всякой истории о чудесном спасении должна быть очень жесткая внутренняя логика. Чтобы читатель был убежден в ее достоверности целиком, со всеми потрохами. А в набор читательских потрохов всегда входит скептический ум. И он тоже должен быть убежден, это обязательное условие. А то не даст ничего сделать потом, в самый ответственный момент.

Э

Эскапизм

Есть такая крайняя степень отчаяния, которая как бы выводит отчаявшегося за пределы человеческого мира, уничтожая если не все возможные связи с человеческим, то хотя бы желанность этих связей; доходя до этой степени отчаяния, очень легко погибнуть, но если каким-то образом получится не погибнуть, можно обнаружить, что именно в этой точке, на этом предельном градусе отчаяния мы становимся способны на удивительные вещи, которые часто называют «магией» или даже скорее магия становится способна осуществиться для нас, потому что отчаяние вывело нас за пределы человеческого состояния сознания, в рамках которого она невозможна.

Думаю, именно поэтому многие в юности (а некоторые не только) включают программу саморазрушения, интуитивно чувствуя, что там, на самом дне, за последней чертой отчаяния можно обрести подлинный смысл бытия; на самом деле почти никому это не удается, потому что до этой последней черты, за которой смысл, поди доберись; станцию Смерть объявляют раньше, там все выходят. Ну, почти все.

Есть только один способ оказаться за чертой отчаяния и не просто выжить, но и обрести там сокровища — лютый, железный самоконтроль. Не привычное отслеживание как бы чего не того не ляпнуть на людях, не проспать на работу, не выйти из дома без трусов через дорогу на красный свет, а грозное неугасимое божье око, которое смотрит на нас — не сверху, со сторожевой вышки небес, а, конечно же, изнутри. Человек и рождается-то на этой земле в основном ради того, чтобы свести с ним знакомство, но увлекшись питанием, выделением и размножением, обычно забывает, зачем вообще приходил.

Если бы мы не забывали, выходить из человеческого мира через предел отчаяния было бы ни к чему. Потому что побег из человеческого мира — это же просто побег от собственной беспамятности, от собственной немощи, от нелепого сна о том, как мы якобы не бессмертны, о том, как нас якобы почти нет.

Это, наверное, лучшая весна в моей жизни — по совокупности разных параметров, включая, конечно, сирень. Еще и потому лучшая, что не хочется добавить: «аж страшно». Раньше это устремленное в будущее «страшно» добавилось бы автоматически, как естественное следствие того, что сейчас хорошо.

Иди в жопу, естественное следствие. Не естественное ты ни фига.

Ю

Рене

Юргис и Дракон

Добравшись до пятничного праздника еды на четверговом рынке, схомячили на двоих неаполитанскую пиццу, представленную заведением под названием «Юргис и дракон». За едой обсуждали происхождение заведения.

— Очень грамотно подобран персонал: ясно, что Юргис месит тесто, а дракон обжаривает его своим дыханием.

— Точно. Интересно, откуда в Вильнюсе взялся дракон?

— Дракон. Дракон… Слушай, так вот чем на самом деле закончилась история про василиска и каторжника!

— Василиска и каторжника?

— Ну да. На самом деле в подземелье под Барбаканом жил не василиск, а дракон. Просто все, кто туда заходил, увидев настоящего дракона, сразу помирали от инфаркта. Он их не трогал вообще. Никого не обижал. Просто был очень страшный, а все эти кладоискатели-любители хлипкие, нервные. И окочуривались с перепугу. А у каторжника были железные нервы.

— Да. Неизвестно же, за что он на каторгу попал.

— Как раз известно! Он, понимаешь, был гениальный кулинар. От бога. Постоянно нанимался работать в разные трактиры и со всеми там ссорился. Отпихивал шефа от плиты: «Ты все не так делаешь, дай я сам!» И его выгоняли. Нигде не мог ужиться. В конце концов у чувака сдали нервы. Он совершил террористический захват трактира. Такого, где была самая лучшая посуда. И печь. И вообще все. Связал всех по рукам и ногам, чтобы не мешали. И готовил всю ночь. А утром пришла полиция. Арест, суд, каторга, все дела.

— Боже, какая печальная судьба.

— Ну. На каторге ему совсем не понравилось. Попросился работать на кухню, но там же готовить приходится всякую дрянь, в невозможных условиях. Поэтому когда предложили идти в подземелье охотиться на василиска, сразу согласился. Все что угодно, лишь бы в этом ужасе без нормальной кухни больше не оставаться. Ну и пошел. С зеркалом или нет, дело десятое, оно все равно не пригодилось. Потому что никакого василиска не было. Там был дракон!

— Бледный несчастный дракон. Дитя подземелья.

— Ага. Сирота. Рано без родителей остался, ну и полез в подземелье жить, чтобы спрятаться от всех. И тут каторжник приходит. С железными нервами. Зеркало зачем-то в морду сует. А у самого в кармане бутерброды с сыром. Пахнут — ух! Дракон за бутербродом потянулся, дохнул пламенем, сыр оплавился…

— Так они изобрели пиццу!

— Ну предположим, да. Но вообще-то, потом они уехали в Италию. Вместе. Эти бутерброды с оплавленным сыром их сдружили. И дракон спросил каторжника, не хочет ли тот забрать себе клад. Тот, конечно, хотел. Но решил, что просто забрать клад и уйти будет нечестно. Дракон-то сирота. И дитя подземелья, к тому же. Здоровье его подорвано. Того гляди, чахотка начнется. В общем, надо дракона в Италию везти, на солнышко. Благо деньги теперь есть — вон, целый клад.

— И в Италии они ели пиццу.

— Ну да. Раз поели, другой — здорово, очень на бутерброды с сыром похожа. Потом сами открыли пиццерию. Юргис месил тесто, дракон на него пламенем дышал. Лучше любой печки. Весь Неаполь был у их ног. Неудивительно, что они озолотились!

— А потом решили вернуться на родину.

— Да. Ностальгия, то-се. Опять же, культурная миссия. Кто кроме них в Литву настоящую неаполитанскую пиццу привезет? То-то и оно, некому больше.

* * *

Пока мы все это обсуждали, под деревянным прилавком сидели владельцы заведения, Юргис и дракон.

— Но как они догадались? — наконец спросил дракон. — Как, Юргис? Мы же никому не рассказывали!

Бывший каторжник молча пожал плечами. Дескать, кто их разберет.

— Все равно им никто не поверит, — наконец сказал он. — Звучит как полная чушь!

Я

Я и мы

— Ну ты чего вообще устроил? — возмущенно спрашиваю я.

Мое возмущение понятно. Мы стоим на бульваре Вокечю, у входа в тамошний «Кофеин». В правой руке у меня чаша с кровью кофейных зерен, в левой — смердящий огненный жезл. В смысле, благоухающий — вишневым табаком. Но внутрь меня с этим жезлом все равно не пустят. Поэтому мы остаемся снаружи. Согласно показаниям приборной панели моего наземного мессершмитта, спешно переоборудованного в снегоход, с этой самой «наружи» минус десять с половиной (я люблю точность). А согласно показаниям приборной панели в недрах моего организма, мы все уже давным-давно умерли, причем у моего трупа смерзся нос. Изнутри. Вам смешно, а мне с этим опытом теперь жить — после того, как воскресну.

— Ну все-таки зима, — говорит он. — Зимой так положено — снег, мороз.

— Зимой положено плюс шесть, — твердо говорю я. — И мелкий дождь. Зря ты мне не веришь. А веришь каким-то простакам, которые насмотрелись открыток и бредят «снежком и морозцем». А потом первыми начинают ныть, что замерзли. И

кстати, слушай, нафига было так рано убирать с улиц глинтвейн?

— А то тебе пражской медовины мало было, — он делает такое специальное непроницаемое лицо, как бы говорящее: «Нет, мне не обидно. Хотя любому другому на моем месте было бы!»

— Йолки. Так это?..

— Ничего подобного, — поспешно говорит он. Тоном, подразумевающим: «Вот именно! В следующий раз будешь сначала думать, а потом — не делать. В смысле, никуда не уезжать».

— Да ладно тебе, — вздыхаю я. — Сколько там было той медовины. Три порции. Ну или четыре. И еще один сваржак и один пунш с клубникой. И все!

— За полтора дня, — язвительно вставляет он. — Как только ничего не слиплось?

— У меня там друг живет, между прочим, — говорю я. — Я от тебя в Прагу не к Праге езжу. А к нему. Он… эээ… Ну, скажем так, он — не город. Определенно не город. Кто угодно, но только не город. Ну ты даешь.

Он расплывается в довольной улыбке. Вроде бы, и хотел сдержаться, но не смог.

— А. Ну тогда ладно.

— Не «ладно», а где мой глинтвейн?

— Ну подумай, где я тебе его вот прямо сейчас возьму? — смущенно говорит он. — Уже все убрали, сделанного не воротишь. Зато… Зато смотри, какой кофе сегодня вкусный!

— Да он тут каждый день вкусный.

— По-моему, это достоинство, а не недостаток. Скажешь, нет?

— Достоинство, — соглашаюсь я. — И слушай, давай уже, сделай что-нибудь с бариста на Вильняус. Перевоспитай! Это мой любимый «Кофеин», с самыми удобными подоконниками. А эти засранцы уже год варят какую-то мутную фигню. И ежевичного сиропа не доливают. Мало ли что я больше по соседству не живу. Все равно захожу туда чуть ли не через день.

— Ладно, — кивает он. — Займусь. Мир?

Да не вопрос. У нас и так мир. В значении «Вселенная». Всегда. К тому же, я люблю его так сильно, что вслух об этом можно не говорить. Все к лучшему. Прилюдные признания в любви — не моя стезя. Особенно со смерзшимся носом.

Поэтому вместо слов любви я выкатываю очередную претензию. В устах трупа со смерзшимся носом претензии — самое то.

— Лестницу ты все-таки зря прикрыл.

— Какую лестницу?

И моргает так невинно, как будто и правда не понимает, о

чем речь.

— Которая во дворе на Бокшто.

— Где Тонино кафе?

— Вот именно.

— Ну слушай. После того, как ты про это кафе всем растре…

— Я?!

— Ну ладно, мы. Но все равно. Никак нельзя было ее оставить. Некоторые вещи не выдерживают пристального внимания.

На самом деле, я это и без него знаю. Но лестницу мне жалко. Практически до слез. И мост.

— И мост, — говорю я вслух.

Он, слава богу, не ломает комедию. Не переспрашивает, какой именно мост. Знает кошка, чье сало съела.

Он сочувственно кладет мне на плечо тень от фонарного столба. Эта тень у него сейчас вместо руки.

— Ничего не поделаешь. Так бывает. Если бы я не сообразил затеять там стройку… Нет, слушай, даже думать не хочу, что бы там началось.

И, помолчав, вздыхает:

— На самом деле мне тоже его не хватает. Ничего, придумаем что-нибудь еще.

— Придумаем, — киваю я. — Не вопрос. Пошли?

— Куда?

— Ну как — куда. Проводишь меня к машине. Не могу же я идти через весь город в отсутствии самого города. Ну, то есть, на самом деле, могу. Но не хочу. Без тебя никакого смысла.

— Без меня никакого смысла, — радостно соглашается он.

И с удовольствием повторяет потом всю дорогу: «Без меня никакого смысла!» А прохожие думают, это звонят колокола. Впрочем, они действительно звонят. Чего ж не звонить в такой вечер. В такую ночь. В такую нашу смешную жизнь.

НебеSное, zлодея

Спасибо читателям
Марии Рожновой и Але Чистовой
за неоценимую помощь в выборе названия этой книги.

А

Аддамсы навсегда

На столе россыпью лежат упаковки с отрезанными пальцами (из магазина Tiger, если что). Входит, скажем так, свидетель. Изумленно разглядывает натюрморт. Адресует мне вопросительный взгляд.

Я (умильно улыбаясь):

— Это подарки детям!

Андриамбахуака середины острова

Днем на улице примерно +29, очень пасмурно и так влажно, что воздух при ходьбе невольно начинаешь разводить руками в

стороны, как мокрые занавески, чтобы не мешал. Сегодня до меня вдруг дошло, на что это похоже. Павильон Масоала в Цюрихском зоопарке, где воспроизведен кусочек Мадагаскара! Там было точно так же серо, тепло и влажно, порхали и бегали мадагаскарские птицы удивительного дизайна, а где-нибудь в зарослях чего-нибудь особо экзотического наверняка прятался андриамбахуака середины острова. Туристам не показывался, и правильно, не царское это дело. Но я-то знаю, что он всегда там.

Андриамбахуака в мальгашском фольклоре — герой. Не обязательно культурный. Просто герой. Может быть правителем, но может и не быть. Любой, с кем происходит что-нибудь интересное, — андриамбахуака! Когда андриамбахуака — правитель, непременно выясняется, что бывает андриамбахуака севера, андриамбахуака юга, андриамбахуака запада, андриамбахуака востока и андриамбахуака середины острова, он всегда самый крутой. Думаю, это потому, что у него нет выхода к морю и он очень зол.

Так вот, у нас тут теперь Мадагаскар, поэтому цветущие флоксы я официально объявляю тропической зеленью, а поспевшую как раз алычу — тропическим фруктом. Я этот тропический фрукт постоянно ем, подбирая с травы, вместе с тропическими же микробами, что мне от них сделается. Подумаешь — микробы! Я их, несомненно, победю, я — андриамбахуака середины нашего острова, умеренно культурный герой, самый крутой, потому что у меня нет выхода к морю, и в связи с этим я постоянно пребываю в ярости, одновременно погибая от любви ко всему живому (живому, повторяю, только живому, это важно), особенно по ночам, когда в наших тропических зарослях истошно вопят цикады, а с севера, юга, востока и запада не менее истошно пахнет морем, цветущими флоксами и сырой от недавнего дождя землей.

Апажопе?

Не люблю рассуждать о каких бы то ни было поступках в терминах «греха», но если и есть на свете страшный смертный (самоубийственный, в первую очередь) грех, то это послушание. Зло/т. е. все, что способствует примату материи над духом — вот вам и определение, живите теперь с ним/ рождается по разным причинам, но размножается всегда послушанием. Только им.

Ясно, что послушание не следует путать с добровольным согласием соблюдать те или иные правила. Ну, то есть мне ясно, а кому нет — ничем не могу помочь. Зато могу подсказать, как отличить одно от другого. В основе послушания всегда страх; часто он кажется корыстью, но корысть и есть страх — нормальный страх животного остаться без корма.

Апостолы

Друг А. вернулся из Афин, куда ездил готовить выставку. Рассказывает:

— Представляешь, моего куратора зовут Апостол. И поэтому все мои разговоры с другими участниками и звонки домой начинались с фразы: «Апостол сказал…»

— И что тебе говорил Апостол?

— Обычно ничего особенного не говорил. Молчал и доброжелательно улыбался. Оживлялся только когда я предлагал пойти купить вина.

— Слушай, ну все правильно. Настоящие апостолы такие и были. Молчали, улыбались и оживлялись, когда Иисус предлагал купить вина. Он часто небось вино покупал, вот апостолы и держались поближе. Так и влипли в историю. Пьющая молодежь часто так влипает!

Атеизм

На самом деле т. н. «атеизм» не имеет никакого отношения к убеждениям и воззрениям (которые, в норме еще и меняются сколько-то раз за жизнь). «Атеизм» — это просто способность вообразить/допустить конечность духа (и сознания, как его части). И согласие это принять.

Неспособность допустить такое безобразие выводит носителя из рядов атеистов, как бы он сам на эту тему ни рассуждал. Наше мнение по каким бы то ни было вопросам и так-то имеет исчезающе малое значение, а уж в этом вопросе — абсолютный ноль.

(Вообразить/допустить и при этом не принять — отдельная интересная штука, провоцирующая яростное жизнелюбие, безумие, склонность к суициду или философским штудиям, у кого на что ляжет и как пойдет. Мой, кстати, вариант, я вообще что угодно могу допустить и вообразить в подробностях, но соглашаюсь крайне мало с чем. Еще чего — соглашаться.)

Б

Белое пальто

— Ходи осторожно, там очень скользко. И слякоть.

— Скользко и слякоть? Ладно, надену белое пальто.

— И чем тебе это поможет?

— Ну слушай. Не могу же я упасть в белом пальто в грязную слякоть. Значит, и не упаду.

Большинству людей (бессознательно) кажется, что вещи (имущество) дают им силу; это неосознанное ощущение лежит в

фундаменте психологии/идеологии потребительства, и совершенно неважно, что там наверху, в проговариваемом слое.

Штука в том, что на деле все ровно наоборот, обладание вещами — это всегда расход внимания, а значит и энергии, которая затрачивается на эту работу. И это мы еще не лезем в дебри, в смысле, не разбираем, как выглядит процесс неосознаваемой охраны этого золота нибелунгов, и за счет чего гуляет отправленный на эту работу внутренний дракон, и чем бы он мог заниматься, если бы не вся эта херотень.

(С деньгами обычно получается иначе, они все-таки эквивалент возможностей, сами по себе ресурс, поэтому их проще заставить работать на высвобождение внимания и прочей энергии; самый элементарный пример — снижение тревожности. Вещи тоже можно заставить действовать таким образом, сознательно заменив опцию «обладание» опцией «использование», но это для многих неподъемный труд, потому что начать думать иначе недостаточно, надо начать иначе бессознательно ощущать.)

Брови

Мой папа умел шевелить бровями. В смысле, поднимать их по очереди, то левую, то правую. Не просто иронично заламывать бровь, а ритмично ими подергивать — раз-два, раз-два. Очень долго.

Кроме того, папа умел шевелить ушами, но уши впечатляли меня меньше.

Папа постоянно меня дразнил: «А ты так не умеешь!» Все остальные люди вокруг тоже так не умели, но им и не хотелось. А мне — да. Из всех искусств важнейшим казалась мне в ту пору эта пляска бровей. Папа учить меня отказывался. Ну, то есть как — отказывался. Говорил: «Смотри на меня и учись». А как тут научишься? Я и сейчас всякими обучающими видеороликами пользоваться не могу. Мне надо, чтобы объяснили словами последовательность действий, лучше устно, читать инструкции я тоже не люблю, но даже они лучше видео, как по мне.

Шли годы. Мы с папой практически состарились, особенно я: мне исполнилось уже целых восемь лет. Но умения шевелить бровями прожитые годы не принесли. Близился бесславный конец.

И тут папу отправили в санаторий, кажется, лечить ревматизм. А, может быть, просто так, по армейской разнарядке, пришел его черед наслаждаться отдыхом. Папа уехал на целый месяц, а у меня с горя немедленно созрел коварный план: научиться шевелить бровями самостоятельно. Чтобы его удивить.

Странно, кстати, что идея научиться самостоятельно не пришла мне в голову раньше. Видимо, пока папа был рядом, у

меня оставалась тайная надежда, что он однажды все-таки сообщит мне секрет управления бровями. Надежда такого рода обычно парализует волю, по крайней мере, мою.

А тут — все, потенциальный учитель уехал почти навеки, не оставив тайного манускрипта с инструкцией, рассчитывать можно только на себя.

Техника обучения у меня была очень простая: изо всех сил прижимаешь одну бровь рукой, а потом пытаешься поднять обе одновременно — уж это-то могут все. Фишка тут в том, что прижатая бровь поднимается с большим усилием, и в этот момент ощущаешь, какая именно мышца (группа мышц) приводит бровь в движение. Запомнив это ощущение, потом пытаешься напрягать именно эту мышцу (группу мышц). И дело, как ни удивительно, быстро идет на лад.

Месяца мне хватило с лихвой. Первое, что увидел папа, вернувшись из санатория — мою вздернутую бровь. А потом вторую. Раз-два, раз-два. Как он на меня смотрел! Такого блистательного триумфа у меня никогда прежде не было. Наверное, уже и не будет, во всяком случае, вообразить, при каких обстоятельствах получилось бы снова испытать это чувство, я пока не могу.

Что касается умения шевелить бровями — самого удивительного и бесполезного из моих навыков — оно по-прежнему при мне. Иногда я использую его, чтобы развеселить сидящего напротив в городском транспорте ребенка, но в городском транспорте я езжу, будем честны, нечасто. Раз пять — шесть в год.

Быстрый набор (личной, внутренней) силы всегда дает старт параду личных слабостей. Того, что называют «пороками», «недостатками», «страстями» и как только не. Важно, что по сути они являются просто привычными способами быстро, с удовольствием и без всякой пользы потратить силу. И все.

В результате мы получаем нелепую картину: усердные посетители студий йоги и курсов медитации (я смеюсь, но вообще для современного европейского человека все эти восточные баловства — самая распространенная причина очень быстрого набора силы, хотя бывают и другие пути) — так вот, всякие хорошие люди, занявшиеся правильным делом с более чем понятной целью, вдруг становятся слезливыми истериками, агрессивными крикунами (а то и драчунами), безмозглыми хвастунами, идейными казановами, домашними тиранами и прочим неинтересным говном.

Я помню, как один мой друг никак не мог поверить в такой неожиданный эффект, и буквально через пару дней после

разговора мы с ним вместе сходили на пробные занятия по цигуну, а на обратной дороге натурально поцапались на ровном месте, обсуждая оптимальную технологию выноса из машины цветочных горшков; к счастью, вовремя сообразили, что вот же он, пример из жизни! — и поржали над собой.

Это, кстати, ответ на вопрос: что с этим делать? А вот то и делать: вовремя сообразить, что происходит, и поржать над собой. Я говорю «поржать» не потому, что у меня чувство йумора, его у меня как раз почти нет. А потому, что смех создает дистанцию (обозначает предварительно созданную дистанцию) между собой и собой, а когда дистанция есть, происходящее довольно легко взять под контроль. Парад пороков — дело хорошее, но он не состоится, если не отдаст приказ самый главный генерал. То есть сознание.

Ну а потом оно само отвалится, и тогда хорошо заживем.

В

В городе Берлине, в городе Одессе

В городе Берлине от моего дома до станции электрички Карлсхорст надо было идти пятнадцать минут по улице Рейн-Штейн-Штрассе, то есть Рейновских камней, действительно вымощенной мелкими камешками и застроенной невысокими частными домишками; в палисадниках всегда что-нибудь цвело, в кустах дежурили садовые гномы, по вечнозеленой траве бродили похожие на садовых гномов старички и старушки с граблями. Они говорили по-немецки, как настоящие.

Во дворе Дома Холостяков, где было общежитие для несемейных офицеров ГСВГ, был не только палисадник, но и пруд, в пруду плавали толстые красные рыбы. С тех пор я знаю, что холостяки — высшая каста человечества, избранный народ.

Другой избранный народ — это монголы, я точно знаю, на нашей улице жил монгольский посол. Посол и его жена носили национальные наряды, все вот это атласное, сверкающее, расшитое каким-то немыслимым золотом. У каждого пятилетнего ребенка должен быть сосед монгольский посол, это помогает потом пережить все экзистенциальные кризисы, сколько бы их ни было.

Возле станции электрички Карлсхорст был киоск с сосисками. Ясно, что нет, не было и не будет в мире еды вкусней. Сосиска в булке стоила одну гэдээровскую марку. Одну марку стоил и билет в кино на детский сеанс, можно было выпросить ее у родителей, но в кино не ходить, а купить сосиску в булке. Мы так довольно

часто делали, с тех пор я не гурман и не синефил. О чем не жалею.

В городе Одессе, куда мы приехали из Берлина навсегда (это слово постоянно повторяли родители), было море, но, кстати, не было никакого специального «одесского юмора». По-моему, «одесский юмор» — это какой-то странный искусственно созданный миф. Ну или все одесситы, завидев меня, сразу переставали шутить. Но это же как тщательно надо было готовить заговор! От меня особо не убережешься, я люблю много ходить и неожиданно выскакивать из-за углов.

Мне сперва не нравилось жить в Одессе, потому что там не было ни садовых гномов, ни сосисок в булке, ни монголов, ни даже холостяков (а если были, то очень хорошо от меня прятались, видимо, вместе с юмористами). Но потом в школе на уроке литературы рассказали, что в Одессу однажды отправили в ссылку великого поэта Пушкина, и меня здорово попустило. Приятно знать, что страдаешь не в одиночку, а за компанию с Пушкиным. Вполне можно жить. Правда Пушкин спрятался от меня лучше всех: умер, оставив вместо себя памятник, а с памятником о невзгодах жизни ссыльных не поговоришь.

В городе нынче темно; не то чтобы вовсе нет света, но гораздо, гораздо меньше, чем мы привыкли. Фонари прикрутили; их хватает на то, чтобы сиять в темноте, но мало-мальски освещать все вокруг им уже не под силу.

То ли авария какая, то ли город перешел на режим экономии, то ли реальность, в которой по ночам в Старом городе было оранжево светло, сменилась реальностью, где царит оранжевая тьма. Последняя версия больше всех похожа на правду: на Швенто Стяпано в очередной раз меняются лавки, почти все стоят с закрытыми ставнями, а это верный признак, на моей памяти такая масштабная смена городской реальности происходит в шестой, что ли, раз.

В последней версии города мне нравилось резкое увеличение числа чудесных дружелюбных, залюбленных по самые ухи собак и кафе «Teobromin» на Швенто Микалояус. И еще что-то, но собаки и Теобромин — самое главное, давайте их оставим, пожалуйста, дорогие ответственные за зыбкость реальности. В остальном, как всегда, полностью полагаюсь на вас.

В доме нашелся блокнот с единственной записью (сделанной не помню когда и зачем):

Я никого не приведу за ручку в условный рай. Я и себя вряд ли туда приведу. Если я что и могу, так это иногда оказываться рядом в те моменты, когда идущему (тому, для кого важно ощущать себя не просто барахтающимся, а идущим) становится

одиноко.

«Становится одиноко» в моих устах означает состояние острого сомнения на тему: «наверное, я просто дурак, и никакого пути нет вовсе». Ясно, что эта разновидность одиночества хорошо мне знакома; ясно и то, что способность поставить вопрос таким образом сближает как мало что. Замечательно тут, что опровергнуть чужие сомнения гораздо легче, чем собственные; иногда достаточно просто (деятельного и качественного) присутствия; впрочем, ценности хорошего диалога никто не отменял.

Тот самый случай, когда минус на минус дает великолепный плюс; арифметика — все же великая наука, на любой случай заранее заготовила простые решения. Никогда не устану удивляться, насколько все эти правила из учебников для начальной школы про нас.

* * *

Мне кажется, это довольно точное наблюдение о необходимости внешних опор (и качестве внешних опор, которые действительно необходимы).

В наилучшие моменты жизни, вот как сейчас, когда белоснежный автобус везет меня из одного прекрасного города в другой прекрасный город, мне становится как-то особенно очевидно, что — вы как хотите, а я уже давно болтаюсь в своем персональном аду; за какой эвридикой меня сюда занесло, неведомо. Но обратной дороги я не помню.

Эти ваши черные пашни, эти ваши деревенские дома, где гасят свет до полуночи, эти ваши сияющие пустые пространства вокруг бензоколонок, эти ваши пограничные заставы, этот ваш поворот луны на ущерб — что это, зачем, кто велел? Уберите.

У меня дома не так. Все не так. Вообще все.

У нас свет по ночам в каждом окне, даже если хозяева спят, все равно ставят фонари на подоконники, для красоты и удобства прохожих. У нас не бывает пограничных пунктов, потому что всяк ходит, где хочет, попробуй останови — улетит к черту. И документов тоже не бывает, потому что и так ясно, кто есть кто, достаточно просто в глаза поглядеть. А если проницательности не хватает, можно спросить, вам скажут. Никто не станет скрывать такой пустяк как имя, которое все равно ведь практически на лбу, практически огненными скрижалями про-ца-ра-па-но. И луна у нас не бывает ущербной, она всегда растет, вырасти никак не может, и правильно, какие ее годы?

Где я вообще? Как меня сюда занесло? Здесь кто-то еще из наших есть? Как будем выбираться?

Вот почти всегда настигает меня в дороге такое настроение. Поэтому я очень люблю ездить. Полезно бывает прийти в себя, хотя бы ненадолго.

Эвридика, давай, найди меня, позвони, пора домой, оживать.

В последние годы я то и дело говорю себе: стоп, внимание, замри, успокойся, посмотри, запомни: все, что с тобой происходит, это и есть счастье. Оно здесь — такое. И ощущается — так. Не говори потом, что не было, что обделили, не долили, не показали.

Чего-о-о-о? — озадаченно переспрашивает организм. Чешет левой пяткой в затылке четырнадцатой слева (же) головы и снова заводит свою шарманку: УУУУУУУУУ! Да ты чего? Какое может быть «щастье»? Мне для него еще вон то надо! И чтобы вот этого не было! А потом бежать вот туда! И сразу обратно! И подпрыгнуть вот так!

Он (организм) у меня удивительный дурак. Но на то и дана ему умная голова, чтобы занудно констатировать с интенсивностью одна констатация в минуту: да, это счастье. Не только минувшее лето и текущая золотая осень, не только прогулки, разговоры и восхитительный космос, то и дело по-кошачьи бодающий тебя в бедро, не только кофе на улице и ледяной солнечный ветер, а вообще все, что происходит вот прямо сейчас.

Великодушие как инструмент познания мира

Без великодушия к другим инструментам познания лучше вообще не подходить. Толку не будет.

Потому что познание неизбежно приводит нас к тому, что мир велик, разнообразен и местами (поначалу кажется, что местами, на самом деле конечно же целиком) непостижим. И ладно бы весь мир, но и его отдельные детали, в том числе всякие человеческие существа, снующие вокруг, тоже бывают непостижимы — настолько, что не вмещаются в познающего, каким бы огромным и мудрым он себе ни казался. И все, что с этим можно сделать — разрешить им (миру в целом и его фрагментам) такими быть. И не париться, что ты, получается, мельче и проще. Мельче так мельче, проще так проще, подумаешь, пусть, тем более, что игра еще в самом разгаре, да и никакой измерялки на самом-то деле нет. Даже если кажется, будто есть. Особенно если кажется.

Великодушие, во-первых, один из вернейших признаков силы, без (внутренней) силы великодушия нет, только готовность идти на уступки ради самосохранения, а это совсем не то.

Но одной силы, конечно, недостаточно. Великодушие базируется обычно на такой особой разновидности самодовольства, то есть довольства собой, которая на самом деле благодарность бытию за возможность быть его частью на любых условиях. Ну или ладно, почти на любых. Но в пакет обязательных условий всегда входит невозможность объять, понять, объяснить и поместить в себя все наблюдаемое. И когда эта невозможность вызывает у нас скорее ликование, чем злость, нас можно поздравить, сколько-то великодушия в нас уже есть.

/Хорошо бы однажды, когда будет время, объяснить на наглядных примерах, как великодушный дает внутреннее разрешение быть всему сложному, непонятному и по каким-то важным для него самого критериям «лучшему», чем он сам. И как отсутствие великодушия приводит к так называемому скепсису, который в руках невеликодушного становится инструментом не познания, а убийства, если не познаваемого материала (часто все же, слава богу, руки коротки), то способной к познанию части себя. Но, может, и так понятно? Хорошо, если да./

Веритас

Одно из самых нелепых заблуждений т. н. человечества — представление о существовании т. н. истины. Незыблемой и сияющей, по каждому важному вопросу, начиная с правильного способа разделки туши убиенного врага и заканчивая традиционной расстановкой ударений в предпоследней строчке хулительной скорбной песни на его похоронах.

С ума сошли. Какая может быть истина, если даже на вашем пальто сегодня четыре пуговицы (и вы точно помните, что всегда было четыре, и все вокруг помнят, свидетелей — жопой жри). А завтра на вашем пальто будет три пуговицы и не потому, что одна оторвалась, петель тоже только три, всегда так было, вы это точно помните, и ваши родные-близкие, и сосед-портной, помогавший его перешить после того, как у вас в январе начало расти новое щупальце, а вы говорите, истина, чокнуться с вами можно.

Вечер; какая-то гора текущих дел сделана, осталась другая гора, и надо бы дойти до машины, заехать в магазин, отвезти покупки домой, где как раз поджидает эта самая другая гора, но вместо этого я поворачиваю совсем в другую сторону и иду вниз с холма по улице, усыпанной листьями и окутанной дымом, до самого бульвара Вокечю, где у меня сегодня нет дел, не назначено ни одной встречи, я даже кофе, смешно сказать, не хочу, но все равно останавливаюсь у «Кофеина», потому что здесь можно сидеть и смотреть на идущих мимо пятничных гуляк, окутанных ласковой темнотой и так удачно подсвеченных оранжевыми фонарями, что сразу видно: никого прекрасней нет

на земле, чем мы, простые виленские обыватели вечером пятницы; пятница, тьма и последняя ночь сентября, теплая, как августовская, нам к лицу.

Потом я пойду дальше. Скорее всего, не назад, к машине, а просто куда-нибудь. В любимом, то есть, направлении.

Город смотрит на мои хаотические передвижения с сочувственным интересом: ты чего? У тебя же дела.

— У меня дела, — соглашаюсь я, — и самое главное из моих дел быть в твоем сердце, держаться за твое сердце, знать всем телом, всем своим существом: где оно, там и я.

— Жжош! — ухмыляется город. — Ладно, жги дальше, понимаю, пятница, вечер, когда еще нам с тобой быть идиотами, если не прямо сейчас.

И врубает колонки на полную мощность, а в колонках у нас, известное дело, как всегда колокола. И ветер, и плеск фонтана, и далекий, почти несбывшийся чаячий крик.

Виленский август невыносим; в смысле, он прекрасен так, что вынести это практически невозможно, но я как-то держусь, даже не знаю, как, потому что все бы ладно, но обоняние никто не отменял, и вот заходишь из теплого солнечного двора в непобедимо холодный сырой подъезд, а там пахнет газировкой с сиропом «крюшон» из автомата, из лета тысяча девятьсот семьдесят пятого года, невозможный в данном контексте, но победительно очевидный запах далекого необязательного лета моего детства, примерно такого же необязательного — могло быть, а могло и не быть, никакого особого смысла в нем нет, а в запахе газировки с сиропом «крюшон» из автомата почему-то есть — концентрация смысла, тройной, четверной, на сколько монеток хватило, смысл.

В августе каждый жаркий день — последний; даже если не последний, последний все равно — в том смысле, что вполне может оказаться последним, один из жарких августовских дней непременно оказывается последним, рано или поздно он наступает, это знают все, но лучше всех — старухи, выставившие на продажу букеты мелких пестрых осенних астр. Кому знать, как не им.

В августе каждая теплая ночь пахнет подгнившими морскими водорослями, не речными, а именно морскими, несложно отличить. Августовскую ночь надо стремительно пересекать по диагонали, в майке и шортах; это не значит, что из дома непременно следует выходить, надев шорты, просто любая одежда становится майкой и шортами, пока пересекаешь по диагонали темную августовскую ночь.

Августовский дождь проливается на голову так внезапно,

словно на небесах опрокинули ведро, прятаться от него под зонтом и даже под навесом бессмысленно, потому что настоящий августовский дождь — это море, которое ежегодно приходит в наш город, просто не плещется, как положено, горизонтально, а стоит вертикальной стеной; мне всегда хотелось, чтобы море стояло стеной, перпендикулярно земле, — вспоминаю я, — и вода, стекающая по моему лицу, становится соленой, в это никто никогда не поверит, даже я, но зачем мне вера, когда вкус соли — вот он, дан мне в ощущениях, достоверных и недоказуемых, как все, хоть сколько-нибудь похожее на правду.

Вот и виленский август невыносим настолько, что почти невозможен, недоказуем, но дан нам в достоверных ощущениях, а значит, может быть, все-таки есть.

Виленский покерфейс

На стене соседнего дома написали: «Наша жизнь это вечный Вильнюсский покер», — и всякий раз, проходя мимо, я мысленно вношу поправку: «вечный виленский покерфейс».

(Написанная на стене фраза — цитата из романа Ричардаса Гавялиса «Вильнюсский покер»; у нас тут сейчас новая граффити-мода: книжные цитаты на стенах и тротуарах писать. Не то чтобы это такая уж важная информация, но мой внутренний бюрократ Баскервилей будет страшно выть на болотах, если я не сделаю сноску. Ну или в холмах, ему все равно, где страшно выть.)

Виленский покерфейс — это такое отдельное прекрасное явление, чтобы врубиться в него, надо довольно долго здесь прожить, но при этом сохранить свежесть стороннего взгляда, не провалиться в здешнюю жизнь с головой, голову, на которой как раз удачно выросли глаза, уши и нос, обязательно надо оставить снаружи. И тогда начинаешь видеть всю эту нашу смешную и милую, всем ветрам открытую городскую жизнь как первый выход свежепоналетевшего инопланетянина на работу в районную библиотеку, куда его заранее устроили для прикрытия. Одет по моде столетней давности (пока летел, кое-что изменилось), уши зеленые, пара щупалец торчит из-под полы сюртука, но держится невозмутимо, всем своим видом показывает: я — обыкновенный, такой как все. И сила его покерфейса такова, что многие граждане сразу верят. Игнорируют цвет ушей и изгибы щупалец, то есть натурально не видят. Подтверждают: да, совершенно обыкновенный. Сам так сказал!

А некоторые другие граждане, конечно, не верят. Обычно те, которые сами всю жизнь лепят такой покерфейс, вполне успешно, судя по тому, что все еще живы, несмотря на зеленые уши и это вечное дурацкое щупальце, торчащее из-под полы.

А некоторые третьи граждане все прекрасно видят: и уши, и

щупальца, и неуместный сюртук. Но как-то сразу невольно соглашаются: да, конечно, это действительно норма! И ликуют потом: какая же нынче, оказывается, прекрасная норма! А иногда даже ухитряются привести к этой норме себя и, что особенно поразительно, всю свою жизнь. Это, надо думать, и есть виленский флеш-рояль.

Власть над миром

На улице Пилес у меня в плеере заиграла «Talijanska» Бреговича, и какой-то пьяный старик вдруг начал плясать, так точно попадая в такт, что меня взяло сомнение — не играет ли эта музыка и на улице тоже? Такие совпадения бывают, и я их люблю.

Выключаю плеер, снимаю один наушник. На улице никакой музыки нет, а пьяный старик вдруг обрывает свой танец, останавливается и начинает растерянно оглядываться по сторонам.

Из чего можно сделать два вывода. Во-первых, власть над миром у меня уже есть. А во-вторых, она вот такая.

И, собственно, все.

Внимание! Мою жизнь проживает специально обученное существо. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях.

Вода из кувшина в «Кофеине» сегодня пахнет, как вода из питьевого фонтанчика летом на пляже; я не знаю, как описать этот запах: жесткая пресная вода плюс камень, плюс немножко металл, плюс контраст прохлады с теплом, который одновременно запах? Ну вот как-то так.

Потрясающий запах, жаль, парфюмерам его вряд ли удастся воспроизвести.

(Вся отпущенная мне Создателем сентиментальность компактно размещается в носу, факт.)

Водка

Начать надо с того, что дело было давно, году примерно в восемьдесят пятом, может быть, шестом. Но точно не позже. В ту пору мы с ближайшим другом пристрастились ходить в кино на утренние сеансы. Дело даже не в том, что билеты на первый сеанс стоили настолько дешево, что необходимую сумму можно было собрать на паре трамвайных или троллейбусных остановок: люди в то время часто теряли мелочь, а теперь почему-то не теряют. Наверняка этому есть какое-нибудь разумное объяснение, но я его не знаю.

Но нас привлекала не цена билета, а то, что на утренний сеанс можно было пойти после бессонной ночи. Бессонной у нас тогда была каждая ночь. Мы работали художниками-авангардистами; как сейчас сказали бы, волонтерили. В смысле,

не зарабатывали вообще ни черта. Но в мире, где люди исправно теряют мелочь на остановках городского транспорта, это не беда.

Так вот, на утренние сеансы мы ходили, чтобы посмотреть кино в измененном состоянии сознания. Бессонница — самый дешевый психоделик; подозреваю, не самый полезный для здоровья, но что теперь локти кусать. Зато кинофильмы нам показывали прекрасные. Мировой кинематограф расцветал в наших сознаниях дивным ядовитым цветком. Некоторые фильмы мы потом пересматривали; естественно, некоторых (самых лучших, конечно же) эпизодов там не оказалось. На этих местах мы, надо думать, просто ненадолго проваливались в сон.

Но все это сейчас не очень важно. Просто приятно вспомнить. Кстати, в городе Одессе был кинотеатр имени Котовского (привет автору воспоминаний о Грише). Там был балкон, на балконе все курили, как в Америке какой. И никто оттуда курильщиков не гонял. Еще и не такие чудеса случались в годы моей юности, а у вас, балбесов, только фейсбук с инстраграмом, кхе-кхе.

Впрочем, в тот день, к которому рассказчик в моем лице столь неспешно подбирается, мы ходили не в кинотеатр Котовского, а в какой-то другой. На улице Карла Маркса, ныне Екатериненской, а как он назывался, не помню, хоть убей. В этом кинотеатре показывали фильм «Ва-банк», и мы так впечатлились, что даже в ИСС не впали. Жалко было бы пропустить эпизод. Вместо этого, напротив, неожиданно взбодрились, особенно когда наши под предводительством Квинто с Датчанином победили, и все стали хорошо жить.

Из кинотеатра мы вышли бодрой пружинистой походкой и пошли ко мне домой, где намеревались лечь и проспать до обеда, как обычно проделывали в подобных случаях. Но сна не было ни в одном глазу. Хотелось срочно ограбить банк, на худой конец, просто музыки и цветов. В самом крайнем случае, выпить водки за успех Квинто, который мы всем сердцем считали и своим тоже. Некоторые хорошие фильмы (и книги) дают такой эффект: зритель (читатель) чувствует, что добро в лице главгероя победило, потому что он так хорошо, усердно смотрел (читал). А если бы не старался, трындец котенку. В смысле, был бы печальный финал.

(А когда мы смотрели «Тельму и Луизу», наоборот, чувствовали, что как-то недостаточно постарались. Вот девчонки и не вырулили из неприятностей. С «Бонни и Клайдом» такая же беда.)

Ну, в общем. Отметить успех нам хотелось, а выпивки в доме не было. В этом моем доме вообще никогда ни черта не было, пока кто-нибудь не принесет. А тут не принесли.

Тогда мы совершили очень странный поступок (не только с нашей сегодняшней точки зрения странный, мы и тогда понимали, что делаем полную ерунду). Мы взяли пустую бутылку из-под водки, оставшуюся от каких-то очень давних гостей, наполнили ее водой из-под крана, взяли маленькие водочные рюмочки и сели бухать.

Мы оказались такими слабаками, что даже не допили эту бутылку. Примерно половины хватило, чтобы ужраться в хлам. «Это потому что на голодный желудок», — авторитетно говорил потом мой друг, который сам наливал в эту чертову бутылку воду из-под крана. То есть никаких иллюзий насчет содержимого бутылки у нас не было. Тем не менее мы как миленькие опьянели от этой воды из водочной бутылки и уснули пьяные — можно было бы сказать, под столом, но вместо стола у нас тогда был этюдник, под ним особо не развалишься, так что не стану врать, все-таки не под столом. Но совсем рядом с ним.

Похмелья у нас потом правда не было. Но у нас его тогда практически ни от чего не было, за исключением совсем уж жуткого шмурдяка под названием «Солнце в бокале». Сходными свойствами обладало вино «Аромат степу» и еще что-то, уже не помню. Все-таки самые страшные воспоминания мое сознание умеет вытеснять.

Воистину каштан

Дней десять назад, возвращаясь домой глубокой ночью, нашли на траве у подъезда отломанную ветку каштана с характерной крупной почкой, забрали домой, сунули в бутылку с водой и только на следующий день увидели, что почка раздавлена, почти в лепешку сплющена чьим-то тяжелым ботинком, ну или не ботинком, но больше всего похоже, что на нее наступил крупный взрослый человек.

Хотели выкинуть ветку, но не стали, заметив пару совсем мелких, даже не начавших набухать почек внизу — вдруг они распустятся. На самом деле, просто из упрямства оставили. Не хотелось чувствовать себя подслеповатыми дураками, которые приволокли в дом негодную мертвую ветку. А напротив, хотелось торжества жизни вопреки всему.

Несколько дней ветка молча стояла в воде, обдумывая ситуацию. А потом раздавленная в лепешку почка снова обрела объем и принялась распускаться. Теперь из бутылки с водой задорно торчит растопыренная каштановая пятерня, а те мелкие почки, которые стали формальным поводом дать ветке шанс, понемногу набухают и зеленеют.

В моей жизни было великое множество добрых знаков (как и в жизни любого человека, дающего себе труд обращать внимание

на диалог, который постоянно ведет с нами реальность). Но этот каштановый, наверное, один из самых желанных, потому что он — о торжестве жизни из одного только упрямства, иными словами, о созидательной воле, которая превыше веры, надежды и их вечного антагониста — здравого смысла, то есть превыше вообще всего.

Вопросы теософии

Сплетничали о знакомых; внезапно пришли к выводу, что, если бы Бог зачем-нибудь решил воплотиться среди людей вотпрямщас с целью создания очередной актуальной для текущего периода секты, Ему (чтобы без читерства) пришлось бы родиться девочкой из так называемой хорошей семьи на постсоветском пространстве. И тогда к 33-м годам Он научился бы не красить (не всегда красить) ногти, а возможно (шансов мало, но все-таки Бог, Он талантливый) показывать средний палец в ответ на каждое пятое или даже второе (совершенно немыслимо, но повторяю, все-таки Бог) требование т. н. социума.

P.S.

Мне тут подсказывают: а ближе к пятидесяти (ладно, с учетом Божественных способностей, к сорока) перестал бы чувствовать Себя виноватым; на этом месте со скрипом отворяются заржавевшие райские врата.

Вот и сижу

Возвращаться в город после недельного отсутствия, по моим наблюдениям, приятней, чем после, к примеру, трехдневного. Ну, это как с кошками — попробуй уйти на полдня, вернувшись, обогатишь свой лексикон матерным кошачьим. А после долгой разлуки только смотрят умильно, трутся и бодаются. И тщательно фиксируют потом твое спящее тело, просыпаешься, одна кошка лежит на руке, вторая придавила обе ноги и мурлычут ласковым дуэтом — небось не сбежишь теперь!

С городом та же фигня, за неделю он, во-первых, перестает сердиться на твой побег от него, такого прекрасного. Во-вторых, успевает соскучиться. А в-третьих, начать беспокоиться: а вдруг ты не вернешься никогда? А может быть, тебя вообще нет и никогда не было? И как же теперь, и что? АААААААААА!

И тут ты так — оп-па! — спускаешься с неба, в смысле, выходишь из самолета, влача за собой чемодан: эй, я тут! И город выдыхает: нуславатебегоспади, нашлась пропажа. А счастливая пропажа стоит на пороге зала прилета, таращась на звездное небо над своей головой, вдыхает аромат мокрого грибного леса и морского ветра, который живет тут у нас нелегалом, без прописки, в смысле, без намека на море, а все равно не покидает нас.

А потом в честь твоего возвращения отменяют земное притяжение; ладно, не отменяют, просто прикручивают до какого-нибудь лунного, можно ходить по улицам, не касаясь земли, все привыкли уже, что это просто такое выражение «ходить, не касаясь земли», но когда неосторожно наступив в лужу чего-то липкого, похожего одновременно на половую краску и растопленный шоколад, задираешь ногу, чтобы оценить ущерб, нанесенный кедам, подошвы пострадавших ослепительно, девственно белы, вот вам и «просто такое выражение», впрочем, ладно, кто же в такое поверит, я тоже не очень-то верю, хотя кеды — вот они, в прихожей стоят.

А потом едешь в машине, останавливаешься у перекрестка без «зебры», чтобы пропустить двух прохожих, и один приветственно машет тебе рукой, а второй вполне внятно произносит: «Йох! Унлах!» Это вообще-то на кунхе. А кунхе — вымышленный язык. (Теоретически, эту фразу могут знать читатели «Гнезд химер», но йолки же ж все равно).

А еще потом бежишь, сокращая путь, через скверик на улице Пилимо, в прошлом засиженный алкашами, а потому не особо любимый до сих пор, и вдруг обнаруживаешь, что под ногами у тебя сверкают серебристые звезды, целые сотни маленьких серебристых звезд вперемешку с палой листвой.

В моем детстве такие серебристые звезды иногда появлялись в магазинах перед Новым годом в пакетиках по десять штук, вместе с елочными игрушками и прочей мишурой. На кончиках лучей у них были дырочки, теоретически, можно продеть нитку и повесить на елку; родители их никогда не покупали, считали слишком мелкими, на мои просьбы купить хотя бы один пакетик звезд, отвечали: объясни, зачем они тебе? Объяснений у меня не было, вернее, было одно практически невербальное: это же звездыЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!

Не прокатило.

Теперь я знаю, зачем мне были нужны те звезды: чтобы высыпать их на землю под ноги всем, кто случайно пройдет мимо. Это вообще-то моя работа: звезды кому попало под ноги кидать, пусть сами разбираются, как с этим жить. Но сегодня «кто попало» — это у нас я. Счастливейшее из ктопопал.

— Вот елки, — говорю я вслух. А что тут еще скажешь. И иду дальше, громко думая: «Как же я тебя люблю». И город мой стоит, конечно, довольный собой, как слон после клизмы. И я тоже, как тот самый слон. Как сто вконец обалдевших от собственного офонарения слонов. Или даже как двести.

Это что получается, ты меня так сильно любишь? — почти сердито думаю я потом, сидя на балконе и разглядывая

серебристую звезду, прихваченную с собой как бы в качестве вещественного доказательства, а на самом деле из сентиментальных соображений. — Я тебя вообще-то тоже, но это нормально, люди часто любят города. А наоборот — это все-таки перебор. Это ты, дорогой друг, погорячился. Люди, между прочим, относительно недолго живут. Гораздо меньше, чем города. А иногда еще переезжают. В силу, например, обстоятельств. И чего тогда?

Да какая разница, чего будет когда-нибудь тогда, — почти сердито думает город. — Здесь, сейчас ты сидишь на своем балконе. Кофе пьешь, звезду в руках вертишь. Вот и сиди.

Все, к чему я прикасаюсь, превращается в золото… и это золото тут же с хрюканьем разбегается.

Вся власть сознанию

Чтобы получить возможность осмысленно работать с материалом, данным нам в ощущениях и именуемом бытием, следует понимать вот что: т. н. личность — это просто набор первоочередных реакций тела и сознания на поступающие извне сигналы. Все. Мы (т. е. наши — бессмертные, между прочим — сознания) у этого набора томимся в плену. И зачастую (вообще-то, по умолчанию) не отличаем себя от себя, т. е. осознание от реакции. И, в итоге, не можем даже познакомиться с собой, не то что пощупать. Такие дела.

Почему собственно так важно выстраивать дистанцию между собой и собой (т. е. приучать себя к паузе между поступлением внешнего сигнала и первой реакцией на него — причем не ответным поступком, а внутренней реакцией, какова бы она ни была). Во-первых, паузу держит не личность, а сознание. Разрывая таким образом оковы личности на краткий миг. Во-вторых, именно тот, кто держит паузу, принимает решение, что делать дальше. Он может выбрать реакцию, отличную от привычной. И сделать, таким образом, весомый вклад в смену личности. Менять которую, собственно, надо не потому, что бывают «плохие» и «хорошие» личности, и нам надо добыть себе получше. Оно, конечно, так, всегда приятно иметь ситуативно удобную в каждом конкретном случае личность, но это не первоочередная задача. Первоочередная задача — взять власть в свои руки (в руки сознания). Кто в доме хозяин, того и тапки, а вместо тапок у нас — весь мир.

Для такого поведения, конечно, надо дохрена сил и внимания; лично у меня уходит чуть ли не вообще все. Но этот вклад имеет смысл делать. В отличие от любых других вкладов он — бессрочный, в небесный банк. Потому что пока мы держим паузу и меняем фигуры на внутреннем поле, мы бессмертны. А

остальное время, извините, нет.

Г

Гости, правильные гости, которые не просто глядят, но и видят — вот что требуется этому городу.

И нам, конечно.

Расплатились сполна за капучино и горячий шоколад, выгребли всю мелочь из карманов, отдали чернокожему литовскому официанту, лишь бы не ждать сдачи еще целых три минуты, не терять драгоценное время и — на старт, внимание, марш, чтобы урвать последние лоскутки сумеречного дневного света.

И не зря.

В начале пути нас приветствовал черный пес. Внимательно глядел на нас с другого берега, пока мы шли по мосту. Решил, что можно пропускать. Ну и правильно решил.

Пока сумерки были жемчужно-серыми, мы пересекли Ужупис, пришли на распутье, где лежит камень с надписью «fuck», как раз для богатырей вроде нас. В одну сторону пойдешь, ужупского сфинкса увидишь, в другую пойдешь — придешь на холм, под которым согласно городским сплетням спит и видит про нас сны князь Гедиминас, в третью сторону пойдешь — ничего не случится, кроме автомобильной заправки, скучной, как сама европейская цивилизация. А вот если скажешь: «fuck», — да и повернешь назад, вот тогда будет самое то.

Мы так и сделали, понятно.

И попали за подкладку.

Про подкладку надо бы разъяснить отдельно.

Если представить себе город в виде пальто с карманами, легко предположить, что в карманах со временем появляются дырки. И всякая разумная крошка, семечка или монетка, сумевшая разыскать дырку, может провалиться внутрь, за подкладку, где темно, холодно и пустынно, зато и не съест никто — проверено опытным путем.

Когда мы оказались на ледяной лестнице и принялись с нее падать, потому что у нас самые скользкие в мире сапоги, как бы специально созданные добрыми, но смешливыми божествами для таких прогулок, у меня зазвонил телефон. А если совсем честно, оба телефона моих зазвонили, один за другим.

«Ой, — говорю (два раза), — привет! Как ты вовремя! Мы тут как раз с ледяной лестницы падаем!»

Собеседники мои остались довольны таким обстоятельством.

Оба, что характерно. Меня окружают великие люди.

Зато с ледяной лестницы мы все-таки окончательно провалились за подкладку.

Заподкладка была похожа на задний двор замка Снежной Королевы. То есть там были в беспорядке свалены кучами все ненужные (и, судя по виду, позапрошлогодние) снега и льды. По замерзшему пруду пешком ходили две утки. Кажется, они злонамеренно передразнивали нашу походку — по льду иначе как враскоряку не походишь, а ходить нам очень хотелось.

Ну и вот.

Над головами у нас тем временем кружили птицы. Сотни птиц. Но вопреки последней воле культового режиссера Хичкока, птицы не обращали на нас никакого внимания. У птиц были маневры, учения, посвященные, как я понимаю, спортивному ориентированию в синих сумерках. Птицы справлялись отлично, все бы так.

Вскарабкавшись на ледяной холм, мы пошли дальше. И увидели белого лохматого пса. Белый пес был чрезвычайно дружелюбен, и сразу стало ясно, что прогулка наша понемногу подходит к концу, а ночью пойдет снег.

«Теперь, — говорю своей спутнице, — я, пожалуй, воспользуюсь твоей беспомощностью и отведу тебя на Очень Страшную Улицу».

Спутница моя сказала, что поскольку ей не нужно нынче вечером идти в магазин за рыбой, Очень Страшная Улица — это самый лучший маршрут.

Только не спрашивайте меня, при чем тут рыба. Я тоже не знаю. Я просто молча преклоняюсь перед недоступной мне божественной логикой. И вам советую.

Очень Страшная Улица Швенто Двасес была прекрасна, как всегда. Но тоже скована льдом. Впрочем, к этому моменту мы уже привыкли ходить по льду, а тут еще и за стену держаться можно — красота. В конце Очень Страшной Улицы мы встретили женщину-вампира с острыми клыками и смоляными кудрями до плеч. Женщина-вампир был пьяна до изумления.

Почуяв во мне надежду и опору, женщина-вампир спросила: «Я тут не упаду?»

«Нет, — говорю, — если за стенку держаться будете».

Пьяная женщина-вампир поблагодарила меня нечленораздельными междометиями и пошла дальше.

«Слушай, а у нее были клыки», — меланхолично заметила моя спутница. И только тогда до меня дошло, что клыки — это не совсем нормально. Все-таки виленская жизнь быстро изменяет базовые представления о норме.

Потом Очень Страшная Улица сразу закончилась, мы выбрались из-за подкладки, вышли к Вратам Зари и пошли заводить мою машину, чтобы ехать за захер-тортом в венское кафе. Лед, кстати, тоже закончился, как и не было.

А потом, ближе к ночи, когда торт был съеден, а все припасенные на сегодня слова сказаны, пошел снег.

Границы

— У меня прекрасно простроены границы. Я никогда даже мысленно не вмешиваюсь в чужие дела. Например, что происходит на Марсе, меня не касается. Прикинь, меня не парит даже Марс в двух шагах отсюда. В двух сраных шагах!

Грибы

— Это что?! Это, считается, что гроза?! Да какая в жопу гроза, оно же пахнет…

— Мужиками.

— Точно. Мужиками, которые вместо того чтобы лишний раз помыться, полились одеколонами… я даже не знаю, какими. Какие нашли, такими и полились. Какой самый ужасный был при советской власти? Ну, например, тройной… Вот им.

(минуту спустя)

— Так-так-так. Слушай, мужики помылись! И кажется успели получить высшее гуманитарное образование. И сели читать Сар… Нет, пардон, не Сартра. Они сели читать Камю.

— И грибы…

— Какие грибы?! Ай, слушай, действительно. Почитали Камю и пошли по грибы. И уже пришли! Одни грибы теперь вокруг.

(еще минуту спустя)

— По-моему, вообще одни грибы остались.

— Да. Но эти грибы тоже читают Камю. Собрались толпой и читают. Друг другу через шляпку заглядывают. И со всех краев леса читатели Камю так и прут. В очередь записываются на чтение Камю.

(еще минуту спустя)

— Теперь ясно, что случается с грибами от чтения Камю. Они превращаются в эльфов!

— В ванильные плюшки.

— Точно. В эльфов с ванильными плюшками. Они уже даже Камю не читают, а садятся с этой ванилью пить чай. На бывшей грибной поляне. Чай такой… эээ… бывший грибной. Теперь уже ванильный. И эльфы уже не эльфы, а двенадцатилетние девочки. У них волосы розовые и бирюзовые, пастельные такие. И ванильные плюшки везде. И чай. Вот до чего вонючих мужиков высшее гуманитарное образование доводит. Вот про что эта «Гроза».

(Мы приносим благодарность компании Demeter (Fragrance Library) за предоставленный аромат Thunderstorm, гуманитарному образованию — за Камю, одеколону «Тройной» — за наше счастливое детство, эльфам — за ваниль, Пушкину — за вонючих мужиков, грибам — за грибы. Оставайтесь с нами.)

Д

Две луковицы, чуть ли не месяц пролежавшие в туго завязанном пакете, в темном шкафу, вопреки всему пустили стрелки, сочные, тугие, зеленые, как будто все это время простояли на солнце в банке с водой, только очень кудрявые, скрученные тугими спиралями от тесноты. Думаю, из них можно наделать если не даосских пилюль бессмертия, то, по крайней мере, таблеток, развивающих волю к жизни до таких масштабов, что пропивший полный профилактический курс сможет выжить среди цветущих на Марсе яблонь или даже, чем черт не шутит, среди людей.

Но мы не наделаем никаких пилюль, сами все съедим. Мы — мрачные мизантропы.

Дома вышла из строя газовая колонка, которая нас греет (потом вошла в строй, но как-то криво и неохотно).

Камин стал пускать в комнату жырные клубы дыма.

На пол упали две чашки, мыло и много бессмысленных мелочей.

В подъезде вообще крематорий, не знаю уж, что там соседи поймали и жарили. И думать об этом не хочу.

Решили поглядеть в лунный календарь: что ж за день такой прекрасный?

В лунном календаре написано, что день действительно прекрасный и благоприятен для всего. Ну, то есть вообще для всего.

Ну, тогда понятно.

Тогда да.

Дошло, на что похожи эти дурацкие ноябрьские сумерки в четыре и полная темнота в пять.

Это как будто юные боги остались одни дома без взрослых и тут же выключили свет. И ну баловаться. Целоваться по углам, жечь свечи и страшные байки травить.

Вот почему, оказывается, я так люблю эту нелепую, необъяснимо рано наступающую темноту.

Дым

Дымом в городе пахнет так, что это уже не запах, а крик.

Скорее, впрочем, блаженства, чем отчаяния. И ночи такие теплые, словно виленские жители и правда протопили не только свои квартирки и домики, а весь наш сентябрь.

В соседнем доме появилась студия танго; строго говоря, она просто приснилась другу Н., но оказалась цепкой и осталась по эту сторону бытия. В студии танго огромные окна, невозможно не останавливаться и не глазеть.

Сегодня там танцевали, вернее, репетировали два мальчика (дяденьки, на самом деле, но про танцующих грех так говорить); тот, что танцевал за партнершу, был натурально профи, партнер его, то есть тот, кто вел в танце, старался, но опыта ему явно не хватало. Но оба во время танца переставали быть мальчиками (тем более дяденьками) и становились просто танцующими существами, принявшими форму людей.

Это было невообразимо красиво, и про все сразу, то есть и про танец как таковой, и про суть обучения, и про то, чем становятся люди, целиком захваченные делом, и заодно, конечно, цитата из моего рассказа, в этом смысле я очень счастливый автор, реальность часто цитирует меня в моем же присутствии, так мне везет.

В городе, меж тем, по-прежнему пахнет дымом, и я не плачу от нежности только потому, что столько, сколько ее есть, мне не наплакать. А всякое дело следует делать хорошо, ну или вовсе не начинать.

Е

Еда и любовь

Маленькая Белая Кошка знает, что еду можно заслужить любовью. Проголодавшись, она приходит ко мне как опытная дама полусвета к пожилому любовнику: «Тебя зацеловать насмерть, или сразу шубу купишь?» В смысле, ластится, тычется носом, мурчит, лезет на руки и вообще заполняет собой всю мою жизнь. Поначалу это всегда приятно, но рано или поздно хочется заняться чем-то еще кроме кошки, а такой возможности нет: кошка натурально ВЕЗДЕ. Способов избавиться от нее всего два: или рявкнуть (не люблю, не практикую), или выдать-таки жратву.

Наевшись, Маленькая Белая Кошка на несколько часов утрачивает интерес к таинственному чуду любви.

Котовская, котенок, ластится, тычется носом, мурчит, лезет не за еду, а просто так. Потому что ей внезапно Захотелось Любви. Или стало скучно. Или сон страшный приснился, бывает и так. В маленькую твердую голову Котовской, котенка не

вмещается сложная мысль, что можно торговать любовью за еду.

Проголодавшись, Котовская, котенок просто идет к своей миске (в то место, где с утра была миска). Обнаружив, что еды там нет, она громко орет — не столько выпрашивая еду, сколько от ужаса и возмущения. Нет еды! Как такое вообще может быть?!

Вопли продолжаются до появления еды в миске. Ну или пока Котовская, котенок не уснет, где стояла, задолбавшись орать.

Есть такое почти неописуемое, но явственно опознаваемое усилие: оставаться в живых. Что-то среднее между постоянным осознанием себя живым существом и неспешного, трудного подъема (по крайней мере, это движение ощущается именно как подъем) по сияющей линии собственной жизни. Плюс усилие воспринимать эту линию как очень прочный, надежный трос. Тяжелая, но очень благодарная работа. Дающая, как минимум, восхитительную иллюзию, что с этой дискотеки тебя не выпрут, танцуй сколько влезет, пока не надоест.

Ж

Жаворонки никогда

Хорошо вставать в семь утра! К десяти (тоже утра) дела уже закончены, а к четырнадцати (утра, разумеется) закончена и жизнь. В смысле, встаешь перед выбором: застрелиться или лечь спать.

З

Зачет

Что касается наших залюбленных собаченек, котичов и прочей домашней живности, включая хомяков.

Все эти совершенно бесполезные звери, от которых в городских условиях только лишние хлопоты и расходы — чуть ли не лучшее, что можно сказать о современном цивилизованном человечестве, непробиваемый аргумент защиты на условном Страшном Суде.

Потому что наевшись, согревшись и разместив жопы по относительно безопасным углам, некоторая часть ц.ч. начала оглядываться по сторонам в поисках объектов бескорыстной любви. Ключевое слово «бескорыстной». Что может быть бесполезней пса в городской квартире? Только кот. Ну или хомяк. Они разорительно жрут, утомительно гадят, регулярно требуют дорогих медицинских услуг; собаки за это преданно смотрят в

глаза, котики мурчат, что делают хомяки, я не знаю, но с точки зрения практичного человека, все это не окупает вложений. Наши вложения окупает только тот факт, что мы любим их — просто так.

Детская книжка про Незнайку в Солнечном Городе начинается с того, что Незнайка встречает волшебника и просит волшебную палочку. Ему отвечают, что волшебную палочку можно получить только если совершить три хороших поступка подряд. После чего Незнайка начинает натурально месячник благотворительности, но палочку ему не дают. Объясняют: ты же не просто так совершал все эти поступки, а ради подарка. А это не считается, надо — просто так. И бедняга скисает, потому что — ну а как же не думать, ради чего все делаешь, когда уже знаешь, что можешь получить подарок? Как об этом не вспоминать?

Удивительно, но Незнайка эту волшебную палочку в итоге все-таки получил, потому что был довольно добрым сказочным персонажем, и некоторые прекрасные поступки совершал естественным образом, даже не обдумывая, хороши они или нет.

Вот так и мы со своими котиньками и собаченьками (и хомяками, разумеется, как же без хомяков) вовсе не хотим продемонстрировать миру хорошее поведение, а просто любим их, потому что не любить вот это абсолютно бессмысленное с практической точки зрения, бесполезное в хозяйстве теплое и живое решительно невозможно. И возимся с ними не ради раздачи волшебных палочек, которых, разумеется, не бывает, а просто от избытка любви, зачем-то вырабатываемой сердцем. Абсолютно бескорыстной любви.

И это идет в зачет.

И

Инквизиция

— На хрена нужна Инквизиция? Зачем кого-то допрашивать и мучать? И так все со всеми ясно: все дураки. Но это поправимо! — говорит мой внутренний протестантский пастор. — Я сейчас запишу основные тезисы, пусть читают, умнеют и исправляются. А кто не поумнеет и не исправится, тому мой внутренний дзенский монах кааааааак даст палкой! Бымц! — и весь разговор… Что? Дьявол? Ну и что? Пусть тоже читает тезисы, умнеет и исправляется. Как это — не исправится? Тогда, значит, не настоящий дьявол, а самозванец, настоящий не может быть таким дураком. И его тогда тоже палкой. Бымц! Какая еще Инквизиция,

зачем такая глупость вообще?

Истории, где чудеса случаются с детьми, рассказывать гораздо проще. С рассказчика как бы спросу меньше. Ребенок (в рамках текущей культурной традиции) — это такое специальное полезное существо, с которым случаются чудеса. Положено ему, он ребенок. У него полет фантазии на крыльях воображения, а даже если не только фантазии и не только на крыльях, все равно в любой момент можно напустить на ребенка отца (маму, старшую сестру, постороннего дядю), который за ухо вытащит из чудес и поведет обедать. А если не вытащит и не поведет (сразу вспоминаем «Все тенали бороговы», например), то это он сам дурак, проморгал. А теоретически мог бы! Поэтому все, что происходит (в историях о чудесах) с ребенком, воспринимается сказкой. Которая, согласно поговорке, ложь, а в ней намек (на бездну, в которую мы предпочитаем не всматриваться, и прочую цветущую сложность, которую так приятно обсуждать за кофе и ликерами, изредка, не увлекаясь, и иронично посмеиваясь в нужных местах).

Зато как только на месте ребенка в рассказе про чудеса появляется взрослый, дело сразу приобретает серьезный оборот! Никто этого взрослого за ухо в «нормальную жизнь» обедать не потащит (то есть по сюжету, может быть, и потащит, но в наших предварительных ожиданиях все-таки нет). Поэтому рассказ про чудеса, случившиеся со взрослым, выглядит как бы серьезней. И с автора сразу как бы больший спрос. На нем как бы больше ответственности! («Как бы» в данном случае не слово-паразит, а необходимое вспомогательное средство передачи смысла.)

В заключение я хочу сказать, что это мое наблюдение про литературных детей и литературных взрослых — не бог весть что. Скорее всего, оно вообще легко опровергается какими-нибудь фактами. А может, и не опровергается. Мне все равно. Мне был нужен повод сказать, что в жизни все ровно так же. В смысле, в детстве нам (многим из нас) и правда совершенно задаром достаются если не сами чудеса, то уж точно возможность побыть существом, с которым они хотя бы теоретически могли бы случиться. А потом мы вырастаем и становимся всякой хней. И вот у этой хни, которой мы вынужденно (биологически вынужденно) стали, есть прекрасная жизненная задача: вернуть себе — в себя? — короче, снова сделать собой это замечательное существо, способное увидеть, услышать, почувствовать, пережить кое-что взрослому не положенное. То есть положенное, но не по умолчанию, а только если сам возьмет.

История дезертирства

Когда мне было двадцать лет, мне удалось найти работу

мечты. Натурально. Работа комендантом библиотеки Политехнического института требовала находиться на рабочем месте примерно часа три, не больше. А два с половиной часа из этих трех — спокойно сидеть в своем кабинете и читать книжку. Работы было — выдавать уборщицам хозяйственное мыло и тряпки для мытья полов. И еще мастику для их натирания. Изредка вызывать по телефону мастера починить какую-нибудь поломку. Еще побеседовать с окружающими библиотекаршами о смысле жизни, если поймают в темном коридоре. И это все.

Все остальное время можно было гулять, где вздумается и творить, что взбредет в голову, для меня это было важно. На дворе стоял восемьдесят пятый год прошлого века, и мне только что удалось познать чудо ежедневного посещения кофейни, где все друг с другом знакомы, чудо разглядывания американских журналов «АЯ» про подпольное советское авангардное искусство, чудо создания шедевров этого самого подпольного искусства на коленке и еще много разных чудес. А на чудеса требуется свободное время. И деньги на кофе и сигареты. Затем и нужна была работа мечты: кофе и сигареты покупать. А так-то можно и совсем без работы.

В общем, работа мечты у меня была всю зиму и большую часть весны. От этого у меня появилось удивительное чувство устроенности в жизни. Не знаю, как лучше сказать. Ну типа окружающий неприветливый советский мир внезапно повернулся ко мне своей безопасной стороной. Раньше меня удивляло, что вокруг как-то устраиваются, живут и не тужат, и вдруг у меня тоже получилось устроиться. И жить, не тужить.

Однако в середине весны произошла катастрофа. В ту пору было принято периодически издеваться над людьми умственного труда, посылая их на какие-то грязные неквалифицированные работы. Сотрудников библиотеки отправили работать на овощебазу, на целый день. И меня вместе с ними, хотя труд у меня был не такой уж умственный. Ну или все-таки умственный — хозяйственное мыло уборщицам выдавать? В общем, решили, что ссылки на овощебазу я тоже заслуживаю. И мы поехали туда.

Сперва долго ехали куда-то за город, и это было приятно, я вообще люблю кататься в автобусах. Окружающие библиотекарши были мрачны, обсуждали, какое безобразие эта овощебаза, хорошо хоть нечасто, пару раз в год, вполне можно потерпеть.

Потом мы приехали и сошли в ад. По крайней мере, мне так показалось. В аду царил полумрак, и пахло гнилой капустой. Кто познал этот аромат, знает, о чем речь, кто не познал, извините, слов для его описания в человеческих языках нет.

Нам с библиотекаршами раздали большие ножи и принялись

инструктировать. По всему выходило, что мы должны отсекать от гнилой капусты какие-то особо гнилые листья, пока трижды не пропоет петух. Ну или пока не закончится рабочий день.

Что было дальше, я не знаю. Потому что у меня наконец-то прошел первый шок и сразу же начался второй. Но уже не парализующий, а побуждающий к действию.

Буквально секунда у меня ушла на то, чтобы понять: моя работа мечты на этом закончилась. И никакой «устроенности» в жизни больше не будет. И «жить, не тужить» тоже вряд ли получится. Потому что если цена за это — покорное пребывание в капустном аду по неизвестно чьему велению, такую цену я заплатить не могу. Мне просто нечем. Ни капли терпения у меня нет.

Еще секунда у меня ушла на то, чтобы испугаться неустроенной жизни, которая мне теперь предстоит. Это был очень сильный страх. Я с тех пор понимаю, почему люди так часто ведут себя покорно в совершенно безопасных для них ситуациях. Ну, то есть ясно же, что на той овощебазе никто не стал бы нас убивать за отказ чистить гнилую капусту. Даже не уволили бы никого, я думаю. Может, выговор объявили бы, как тогда было принято. И все. Но люди так боятся неустроенности (и это правда очень сильный страх, на уровне паники во время землетрясения), что соглашаются на все. Мне просто повезло, что я нежное ольфакторное кысо. И вообще по природе своей дезертир.

Положить нож на грязный пол и выйти из ада на улицу, где дул свежий весенний ветер, — это было такое счастье, что до сих пор приятно вспоминать. А потом мне здорово пригодился опыт автостопа, потому что выбраться из этой жопы мира было вообще нереально, никакого общественного транспорта, но по шоссе иногда проезжали грузовики.

С тех пор моя жизнь представляет собой одну бесконечную неустроенность, даже если снаружи кажется, что это не так. Но неустроенность больше меня не пугает. Похоже, страх перед ней израсходовался за одну-единственную секунду, когда в деснице моей был зажат тупой нож, в шуйце гнилая капуста, вокруг был ад, в аду страдали библиотекарши, а за дверью ада нас всех ожидала весна тысяча девятьсот восемьдесят пятого года; некоторым эта дата довольно о многом говорит.

К

Каждую зиму обязательно случается происшествие:

наступает очередная оттепель, все начинает таять, я иду по улице, с крыши обрушивается глыба льда, падает буквально в нескольких сантиметрах от меня, обдав мелкими колючими брызгами. Я в таких случаях не отскакиваю, даже внутренне не вздрагиваю, а, наоборот, расслабляюсь, практически обмякаю, успокаиваюсь, наконец-то ощутив себя в надежных руках (довольно необычное ощущение для взрослого высокомерного и крайне недоверчивого человека) и иду дальше, громко думая прямо в правое ухо всегда сопровождающему меня ангелу смерти: «Спасибо, друг, я тебя тоже люблю».

Кажется, самый большой вред от общательных-интернетиков-для-массового-пользования заключается в том, что они открывают множество возможностей безопасного непослушания.

Потребность в непослушании (осознанном, повторяю ОСОЗНАННОМ, а не бездумно-эмоциональном противодействии обществу, т. н. власти, «старшим», заведенным до нас и без нашего согласия порядкам, традициям, которые нам предлагают бездумно перенимать) — естественная потребность всякого (живого) человека, потому что осознанным непослушанием мы всякий раз переступаем через инстинкт самосохранения во имя каких-то своих вполне абстрактных принципов и идеалов, а значит, растим дух.

(Пока человек бездумно послушен, он ничего никуда не отрастит, извините, не получится.)

Однако дух растит только опасное непослушание. За которое можно огрести замечание в школьный дневник, скандал от родителей, исключение из института, увольнение с работы, в общем, утрату совершенно конкретных материальных благ, начиная с комфорта (комфорт — это тоже материальное благо, если не важнейшее из них). При этом неважно, как будет на самом деле, возможно учителя добры, родители мудры, а начальству вообще по барабану, важно, что непослушный уверен, что у его противодействия могут быть определенные неприятные последствия и соглашается их принимать, поскольку его абстрактные идеалы важнее. Тогда все работает, как надо, на рост.

Послушание в некоторых случаях, кстати, тоже растит дух — когда оно не следствие обычной трусости-слабости, а осознанный принцип. Тогда человек жертвует значительной частью своего индивидуалистского комфорта — тоже ради вполне абстрактного идеала, существующего только у него в голове. Так тоже годится. Росту способствует именно принцип отказа от понятных шкурных интересов во имя чего-то абстрактного, чего в руках не подержать

и в суп не добавить. Но только если в основе отказа лежит не страх. Страх делает корыстным любой прекрасный поступок, где есть страх, там все усилия — зря.

Возвращаясь к нашим баранам, безопасное непослушание в интернетиках (издевательское обращение с виртуальными собеседниками без риска получить в терц — один из примеров, самый простой и знакомый всем) удовлетворяет обычно неосознаваемый, но грызущий голод духа по непослушанию, не давая при этом настоящего насыщения. То есть не способствует его росту, а наоборот. При этом у непослушного появляется иллюзия сытости, а поскольку человек в своей тупости (это в данном случае не ругательство, а техническое описание состояния среднестатистического организма) склонен верить иллюзиям, он покидает коммуникационное поле вполне удовлетворенным и идет деятельно выражать покорность всем, кого боится — маме с папой, учителям, начальству, правительству, обстоятельству, придуманному богу с Ремнем в руках.

Дальше рассуждать скучно, потому что под ногами наблюдаемого объекта разверзается помойная яма, а сверху досрочно падает могильная плита.

Как вы лодку назовете

Понадобилось залезть в геохронологическую таблицу; выяснили, что текущий эон (целиком посвященный органической жизни) называется ФАНЕРОЗОЙ.

(Закрой глаза и думай о докембрии.)

Капитан Вольф и все-все-все

«Меня зовут капитан Вольф, и я доставлю вас в Вильнюс», — сказал капитан Вольф.

К счастью, в самолете присутствовал как минимум один человек, способный по достоинству оценить эту новость. То есть я. Правда, рядом со мной не было собеседника, который добавил бы: «Айзен-Вольф». Пришлось думать про айзен самостоятельно. Любите ли вы леденящее одиночество, как люблю его я? Вот то-то же.

На прощание капитан Вольф еще раз представился, специально для тех, до кого не дошло с первого раза: «С вами был капитан Вольф». Но, боюсь, благодарных слушателей у него не прибавилось. По крайней мере, про айзен никто так и не пошутил. Только я, да и то не вслух — по причине леденящего одиночества, см. выше.

Охватившее меня леденящее одиночество было настолько невыносимо, что пришлось, не сходя с места, прям в аэропорту, случайно встретить друга Р., которая тоже как раз откуда-то

прилетела и ждала свой чемодан у соседнего транспортера. И вот тут бы, вот тут бы пошутить про капитана Айзен-Вольфа, но вместо этого мы просто вызвали такси по телефону, чтобы оно увезло нас в золотую даль (именно так выглядит наш город ночью, когда смотришь на него сверху, пока капитан Вольф идет на посадку).

Таксист тоже оказался моим знакомым. Он мне уже третий раз попадается. Или даже четвертый, не помню. Я вообще его, честно говоря, не помню, это он меня узнал, а не я его. И даже подъезд мой вспомнил без подсказки, такой чувак.

После появления знакомого таксиста мои жалобы на леденящее одиночество стали звучать совсем уж бессовестно, но про капитана Айзен-Вольфа мы с другом Р. и таксистом так и не пошутили, поэтому надо хотя бы записать. А то завтра вспомню и себе не поверю. А ведь был, был капитан Вольф, высокий, загорелый дяденька, в красивой люфтганзовской форме (я не фантазирую, а точно знаю: они с экипажем приходили за своими чемоданами). И доставил нас в золотую даль, то есть в Вильнюс, как и обещал.

Князь Гедиминас, в чьем сновидении мы, как известно, живем, спит беспокойно, ворочается с боку на бок, вскрикивает и стонет во сне.

Его может разбудить любой пустяк (даже вчерашняя автомобильная авария на Диджои наверняка его потревожила), а иногда он встает, чтобы попить или справить нужду.

В такие моменты мы, разумеется, исчезаем, а потом, когда князь, угомонившись, закрывает глаза, появляемся снова, но уже немного иные.

Колыбельная для кошки

Котовская, котенок, принадлежит к довольно распространенному типу любопытных паникеров: ей интересно все на свете, и одновременно все на свете вызывает у нее тревогу, обычно неодолимую.

Котенок Котовская интересуется жизнью улицы — до тех пор, пока не попадает на эту самую улицу, на руках или в переноске, без разницы, она приходит в ужас и начинает панически орать. Да так, что трава на соседском газоне чернеет.

К тому же, Котовская, увесистый котенок, состоит примерно из семи килограммов отборной кошатины. А я не люблю носить тяжести, хотя жизнь, надо отдать ей должное, не раз пыталась приохотить меня к этому занятию. Но хрен ей. В смысле, вотще.

Все это я к тому, что носить Котовскую, котенка гулять на улицу нема дурных. Поэтому большую часть своей жизни она проводит, раздираемая любопытством: что там, за окном, далеко-

далеко? И вообще везде.

Поэтому иногда я беру котенка Котовскую на колени, кладу руку на ее пятнисто-полосатую башку и медленно, сосредоточенно вспоминаю сегодняшний путь из дома: большую лужу, трещины на асфальте, какие-то желтые цветы, серого дворового кота — на этом месте Котовская обычно возмущенно орет, она очень ревнивое существо. Быстро сворачиваю кота, вспоминаю припаркованные у края дороги автомобили, ветеринарную аптеку — да не дергайся так, ты, балбеска, я же там покупаю твой самый любимый корм! — сломанные недавним ураганом липовые ветки на тротуаре, снова лужу, еще раз лужу, белые флоксы у низкого проволочного забора, и опять лужу, у нас сейчас очень много луж.

Котовская, котенок, успокаивается у меня на коленях, благо других ветеринарных аптек по дороге не было, всех посторонних котов быстренько вымарала моя внутренняя цензура, а флоксы, деревья и лужи — именно то, что надо, та самая информация, которой она ждала. Так и знала, — думает Котовская, толстый оптимистический котенок, — что мир в основном состоит из съедобного и прекрасного, не надо его бояться, ура. И засыпает счастливая.

(Такое позитивное мышление, впрочем, совершенно не отменяет того факта, что во время следующего выхода на улицу, в переноске, удачно символизирующей всю эту вашу так называемую «реальную жизнь», Котовская снова впадет в панику и будет орать так громко, что трава вокруг почернеет. Но с позитивным мышлением вечно так.)

Консерватизм (конформизм, традиционализм; ай, ладно, много чести все головы этой гидры по именам величать), который с каких-то хренов считается чуть ли не основным признаком зрелости, на самом деле просто признак упадка сил. Собственно, именно с этих хренов он признаком зрелости и считается: закончились дармовые юношеские гормоны, человек ослаб, организм перешел в режим экономии энергии, а уважать себя человеку хочется, поэтому к режиму экономии энергии подшиваются оправдывающие его так называемые «убеждения», все.

Агрессивная реакция так называемого консерватора (на самом деле, просто человека, чей организм работает в экономрежиме) на все, выходящее за рамки его так называемых убеждений (чрезвычайно ценных с точки зрения его ума, которому приходится постоянно оправдывать это нелепое прозябание) — обычная неосознаваемая зависть. Не к чужому образу жизни как таковому, а просто к наличию сравнительно

большого количества энергии, позволяющей делать все эти мизерные шаги влево-вправо; опять же — все.

Это яйца выеденного не стоило бы, если бы не тот прекрасный, в сущности, но одновременно налагающий на нас огромную ответственность факт, что пока человек жив, ничего не закончено. Жизненная сила только в юности дается даром, без нашего участия, однако это не означает, что ее нельзя пополнять. Можно. Трудно, но еще как можно. Когда ее становится достаточно много, экономрежим бытия становится не нужен. И убеждения, позволяющие его оправдывать, тоже становятся не нужны. И тогда есть шанс начать жить. Он мизерный, честно говоря, этот шанс. Но есть — всегда. И у каждого. Хочет он того или нет.

Жизнь, будем честны, гораздо трудней существования. Особенно с непривычки. Настолько трудней, что поневоле задаешься вопросом: а на кой вообще надрываться? И мы — сюрприз, сюрприз! — знаем ответ на этот вопрос. Штука в том, что развитие — обязанность. А стагнация — должностное преступление, за которое взашей выгоняют с важной, хорошо оплачиваемой (небесным огнем, например) должности «человек».

Консульство

Нынешняя настольная лампа наверное лучшая в моей жизни, самое приятное для моих глаз освещение; но речь сейчас не о том, как она нравится мне, а о том, как это дело выглядит снаружи.

Несколько дней назад вышли вечером ненадолго, не выключив электроприборы. И оказавшись на улице, увидели, что из окна моего кабинета херачит тот самый тусклый (ослепительно тусклый) белый свет, который в Бардо смерти считается приглашением переродиться в Дэвалоке. Похоже, тут их консульство у меня. Кому непостоянства и погони за наслаждениями, можете очередь занимать. А я повешу табличку «пива нет» и предамся страстям, как это у нас на родине принято.

Кровавые будни

Надо увезти остатки продуктов из бывшей квартиры; поручать такие дела мне вообще-то не стоит, потому что я, дай мне волю, выбрасываю почти все.

И вот волю мне дали, и в мусорный мешок летят баночки и бутылочки, что там, я даже не особо вглядываюсь — все на хрен долой! Очень это дело (выбрасывать, не глядя) люблю.

В подъезде обнаруживается, что:

— мусорный мешок прохудился

— среди выброшенного были соевый и томатный соусы, без крышек. И вот они теперь привольно текут.

Такие штуки регулярно со мной происходят и даже не особо бесят, я понимаю, что некоторые затруднения с материальным миром — вполне справедливая плата за странное счастье быть мной. Поэтому я кротко вздыхаю и возвращаюсь в квартиру за дополнительным мусорным мешком и рулоном бумажных салфеток, чтобы вытереть следы содеянного.

За этим занятием меня и застает старушка соседка. Я ей даже отчасти завидую, потому что это совершенно прекрасный опыт: выйти в подъезд, увидеть там огромный, чуть ли не в человеческий рост черный мешок, текущие по ступенькам кроваво-бурые ручьи и меня с салфетками в руках. И как я поднимаю голову, приветливо улыбаюсь и говорю с обаятельной прямотой: «так бывает».

Крокусы

Когда мы с друзьями сажали в городе крокусы, мне пришлось дать себе честное слово: если эти крокусы вырастут, запишу, почему они были так для меня важны. Слово надо держать.

Держу.

— …Миф об изгнании из рая проехался по моей жизни асфальтовым катком. Меня натурально вырастили в раю (как потом выяснилось, мне-то казалось, это просто норма). Так вот, в раю у нас были тучные стада крокусов. Толпами по весне цвели.

Потом меня из этого рая увезли. С тех пор я знаю, что из рая запросто вылетают и без вины, жрать всякие запретные плоды совершенно не обязательно, достаточно влипнуть в соответствующий миф.

— Почему я до сих пор на полном серьезе называю «раем» окраину Берлина первой половины семидесятых, открытый военный городок, вернее, микрорайон в Карлсхорсте, более-менее густо населенный семьями прапорщиков, старшин, мелких посольских чинов, монгольскими дипломатами и одинокими вольнонаемными вперемешку с гэдээровскими немцами — закономерный вопрос. Легко принять такую позицию за излишне эмоциональную идеализацию своего сраного детства, однако дело не в сентиментальности, которой во мне вовсе нет (изгнанные из рая или быстро от нее избавляются, или ломаются под тяжестью этого груза).

— Состоятельность любого общества (включая малые закрытые сообщества вроде нашего микрорайона) определяется ценной всякой отдельно взятой человеческой жизни — по умолчанию, без учета личных достоинств и персональных заслуг. Чем выше эта цена (фиксированная, прошитая на подкорке у каждого), тем совершенней общество, вот и все.

— Конкретно у нас все так удачно сложилось, что наше

микрососообщество было приближено к райскому совершенству, насколько это вообще возможно. Отчасти потому, что наши родители (и все остальные взрослые) были, по большей части, простыми людьми (напоминаю: прапорщики, старшины, вольнонаемные, не офицерье) без особых способностей и амбиций. И все равно попали на несколько лет ВЗАГРАНИЦУ. Для советского человека круче было только полететь в космос. Все эти люди вполне осознавали, что переживают прямо сейчас самые счастливые дни своей жизни. И высоко ценили членов своих семей, сослуживцев, знакомых и просто соседей как свидетелей происходящего с ними чуда. Это создавало удивительную атмосферу. Достаточно, наверное, сказать, что мне только в девять лет (со слов одноклассницы, дочки офицера, не из нашего района, а из закрытого городка) стало известно, что некоторые взрослые бьют детей. Это была удивительная, шокирующая новость. Как такое может быть?!

Другой момент — окружающие гэдээровские немцы по понятным причинам были заинтересованы, чтобы со всеми нами никогда ничего плохого не случилось. Ровно в том же были заинтересованы полицаи, охранявшие находившееся поблизости монгольское посольство и дом посла. Я часто всем рассказываю про дяденьку-полицая, который чинил наши игрушки и держал в будке пластырь на тот случай, если мы разобьем коленки. Рассказываю и себе не верю, звучит, как феерический бред. Но добрый дяденька-полицай действительно был. И толпы немецких пенсионеров, всегда готовых угостить конфетой и подарить цветок из своего сада. И соседи-соседки, возившиеся со всеми детьми, как со своими и кормившие всех подряд, не разбираясь, кто тут чей. Все они были. И их поведение было нормой, а не чудом. Поэтому сейчас, оглядываясь назад, я и говорю, что меня вырастили в раю.

— Меня вырастили в раю, а потом внезапно привезли в СССР, где ценность человеческой жизни была… ну, какая была. Вы все в этом выросли, даже те, кто гораздо младше, в этом смысле на постсоветском пространстве мало что принципиально изменилось (на разных участках его по-разному, но, с моей точки зрения, это настолько незначительные нюансы, что лень в них вникать). Вот поэтому (в первую очередь, поэтому) я, с вашей точки зрения, такой странный персонаж. Для кого-то очень привлекательный, для кого-то отталкивающий. Для людей, выросших на постсоветстком пространстве, я — инопланетянин. Существо из другого мира. У нас фундаменты разные, и это проявляется во всем.

(Для западных европейцев я, собственно, тоже

инопланетянин, но контраст меньше, у них базовая ценность человеческой жизни в годы их детства вполне ничего была. Впрочем, разница все равно велика: искусственная среда есть искусственная среда.)

— …Выжить среди вас было, извините за откровенность, почти невозможно. И до сих пор не то чтобы так уж легко. Потому что люди, для которых ценность человеческой жизни по умолчанию ниже, по умолчанию же более хищные. И более, скажем так, осторожные, хотя мне, конечно, хочется написать: «трусло». Но это несправедливо — обзывать людей только потому, что мне трудно и скучно (базово скучно) среди них жить.

Выжить среди этого вашего осторожного людоедства мне удалось, как я сейчас вижу, исключительно из вредности. Я не люблю проигрывать, а не выжить среди вас = проиграть. Ну и плюс несколько раз фантастически везло. Как будто на небесах кто-то на меня поставил и теперь иногда жульничает, потому что тоже не любит проигрывать. Спасибо ему.

— Ну и еще такой момент. Сердце изгнанного из рая изгнано оттуда навсегда (и навсегда разбито). Но рай на то и рай, чтобы всюду следовать за изгнанником. В каком-то смысле, всякий такой изгнанник — сам себе рай. Иногда (ненадолго) даже другим, если у него очень много сил. Поэтому нас (всех, по чьей жизни проехался этот долбаный миф об изгнании) любят больше, чем мы того заслуживаем. Мы, сами того не желая (а часто желая противоположного, изгнанные из рая обычно не любят нравиться) самим фактом своего существования обещаем то, чего никогда не дадим.

— Мы совсем далеко ушли от крокусов (но еще к ним вернемся), просто если уж речь зашла, не могу не высказать наболевшее с большой буквы Ны. Чем ниже ценность человеческой жизни в обществе, сформировавшем человека, тем сильней в нем (человеке) потребность утверждать свою персональную ценность любым доступным способом. Чтобы не убили и не съели (или хотя бы убили и съели не раньше, чем всех остальных). Понятно, что бороться с этим практически невозможно, потому что у большинства оно происходит неосознанно, инстинктивно. А способов утверждать свою ценность такое великое множество, что симптоматику описывать задолбаешься.

Я (инстинктивно же, просто я свои инстинкты обычно отслеживаю) воспринимаю подобное поведение, как безумие. Потому что, с одной стороны, вижу в каждом бессмертную искру, ценность которой для меня безусловна по умолчанию. А с другой — людоеда, который пытается опереться на меня в поисках

доказательств, что он имеет право (например) быть съеденным позже меня. И от такого когнитивного диссонанса даже природный экстраверт вроде меня быстро превращается в интроверта. В смысле, начинает быстро уставать от людей. Потому что всего, на чем вы основываете так называемые «отношения», у меня в базе вообще нет! Выучить правила поведения оказалось несложно, чего тут сложного. Но от этой имитации так тошнило, что пришлось ее прекратить. При том, что отказ от имитации был почти равносилен самоубийству, а с инстинктом самосохранения у меня все в порядке (чуть ниже среднего по палате, но все равно о-го-го).

— Ну, в общем. Я все это не к тому рассказываю, чтобы похвастаться, будто я лучше других. Я не «лучше» и не «хуже», у меня просто другая база. И больше тут не о чем говорить. Разве что, еще раз печально констатировать факт: миф об изгнании из рая проехался по моей жизни асфальтовым катком. Это было (с моей точки зрения) грандиозное, сокрушительное поражение: меня увезли из рая, мне не удалось ни остаться, ни построить его вокруг себя на новом месте. Понятно, что это невозможно для девятилетнего человеческого ребенка. Но для меня «невозможное» — это просто то, что у меня не получилось до сих пор, а потом когда-нибудь — вполне может быть. Это тоже последствия райского воспитания. Меня так избаловали в этом нашем раю, что я всегда буду ощущать себя центром мира, свою волю — его движущей силой, а все, что в мире идет не так — своим личным просчетом. В сочетании с нелюбовью проигрывать получается довольно трудная (и смешная, если смотреть на нее беспристрастно) жизнь.

— Когда не любишь проигрывать, а выиграть в твоем положении технически невозможно, даже по очкам, остается одно: делать, что можешь. Например, сажать по осени свои личные символы рая — крокусы. Этого недостаточно, но некоторый смысл существованию все-таки придает. А вместе со смыслом приходят силы. А чем больше сил, тем больше радиус райского пространства вокруг моего нелепого человеческого тела и время, на которое он воцаряется. Например, уже примерно в полуметре, на целых семнадцать секунд. Сердце мое навсегда в изгнании, но где я пройду, там будет рай.

— Но вот этот принцип — делать, что можешь, не гнушаясь мелкими, несерьезными, мимолетными, ничего по сути не меняющими делами — окончательно дошел до меня совсем недавно. На практике я довольно часто так действую, но прежде это происходило как бы вопреки моей воле. А теперь будет не вопреки.

Культурная ошибка

Мы с детства привыкли, что в фильмах (и мультиках) зло олицетворяют такие специальные злодеи со злодейскими гримасами, злодейской мимикой, злодейской пластикой, враскоряку, с растопыренными пальцами, яростно вращают глазами и кривят рты.

Потом мы вырастаем, а культурный стереотип все равно работает, кажется, зло эмоционально, и все его негодяйские эмоции написаны на мерзавском лице!

Тогда как зло обычно обучено социально приемлемым манерам, глаз не пучит, рот не кривит, ничем таким никуда не вращает, не тянет когтистые лапы. А вежливо улыбается или вежливо сохраняет серьезность, ведет себя вполне прилично. У него (зла) только глаза оловянные. И восприимчивости — ноль. Тычет палочкой в жизнь, как младенец в муравейник, не понимая в ней ни черта.

Тупое оно, даже если обучено демонстрировать некоторую разумность. Потому и зло.

А эти взволнованные сказочные злодеи, инфернально сияющие социально неодобряемыми эмоциями, и их добродетельные антагонисты, тоже взволнованные и сияющие, только чем доктор прописал, по одну сторону баррикад. Живые потому что. А граница пресловутого зла/добра проходит между живым и мертвым, а не там где кто-то кому-то не разобравшись волшебной палочкой в глаз дал.

Культурный герой

Вот если, предположим, некоторый человек несколько дней ходит по книжным магазинам, настырно спрашивает продавцов, где тут у них отдел «Искусство», смотрит на убогое содержимое двух с половиной полок (альбомы панорамных фото для туристов, раскраски для взрослых, пособия для начинающих типа «как нарисовать кота за 15 минут»), сокрушается об упадке культуры, а несколько дней спустя, добравшись таки до специализированного арт-магазина, где сплошной Хельмут Ньютон с импрессионистами и прочее благорастворение в воздусях, уходит оттуда, унося под мышкой большую коробку лото с изображениями котиков, то этот человек точно культурный герой.

В смысле я.

Л

Липы

В городе цветут липы; на улице Вильняус в той ее неинтересной части, которая тянется от проспекта Гедиминаса до Зеленого моста, они тоже цветут. Мимо идут два потрепанных мужичка, и один говорит другому: «Липы пахнут, как в год моей смерти».

Мы с городом играем в игру «Придумай, чем еще меня удивить; спорим, не удивишь!» — «Щас».

Ясно, что он всегда выигрывает, то по очкам, то, как сегодня, нокаутом. Такой молодец.

Литературоведение, блин

Пекли блины, и главный блинопек приговаривал, довольный собой: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Обсуждали, какие отличные блины были бы у Пушкина: тонкие, румяные, эластичные, чего хочешь, то и заворачивай, а не хочешь — так ешь.

А потом нас понесло.

У Гоголя блины были хороши, почти как у Пушкина. Только по малороссийскому обычаю масла и сметаны слишком много туда клал. Оно, конечно, вкусно, но пока съешь, весь измажешься, по усам течет и на кафтан капает. А кто блин Гоголя съел и не заляпался, тому, ясное дело, черт помог.

* * *

У Лермонтова блины тоже были хороши — по словам его бабушки. Больше он никому их попробовать не давал. Бывало испечет блины, выходит с ними на балкон, ест на виду у почтеннейшей публики и дразнится: «А вам не дам!» За это его даже убили на дуэли; удивительно, что всего один раз. Так и не знает никто с тех пор, как на самом деле было с блинами у Лермонтова и какое по этому поводу надо мнение иметь.

* * *

У Льва Толстого блины были большие, румяные, толстые, как коржи для торта. Вкусные, нажористые. Все их хвалили. Но до конца ни один его блин ни разу никто не доел.

* * *

Блины Достоевского все время крали жандармы, чтобы

студентов-революционеров в казематах насильно кормить. Те, говорят, мучились страшно и во всем признавались. Но товарищи на них не очень сердились, потому что сломаться от блина Достоевского — это не грех.

* * *

Тургеневу блины пекли крепостные девки. Приходили в гостиную, босые и беременные, миску с блинами на стол — шварк! А барин аж подпрыгивает от нетерпения, но не потому что голодный, просто загадал: если верхний блин будет зажаристый, пора ехать в Париж. А если бледный — тогда опять на охоту в окрестные леса.

* * *

Горький всегда жарил блины на пустыре, сложив очажок из битых кирпичей, сидел возле него на корточках, помешивал хворостиной тесто в миске с отбитым краем. Все приличные люди возмущались: ну нельзя же так! Антисанитария, отбросы, фу. Некоторые решались попробовать и долго потом удивлялись: а ведь вкусно получается! Очень на него за это обижались, но сделать ничего не могли.

* * *

У Чехова блины были — всем блинам блины. Тонкие до прозрачности, нежные — во рту таяли. Только такая незадача: в каждом блине непременно обнаруживалась какая-нибудь мелкая пакость: то яичная скорлупа, то травинка, а то и муха, как повезет.

* * *

У Тараса Шевченко блины были на воде, мука — из молотой лебеды. Пакость ужасная, но все ели, потому что полезно. И старались не очень кривиться, когда говорили: «Ах!»

* * *

У Блока блины были такие тонкие, что через них можно было смотреть на луну. Для этого их, собственно, и использовали. Никто не ел.

* * *

У Есенина до выпечки блинов никогда не доходило. Наболтает теста и спьяну в него мордой — бряк! Просыпается потом в похмелье, злой, как собака, блинов нет, и теста тоже не осталось, вокруг бабы какие-то причитают, просят разрешения морду облизать, хоть сейчас поезжай в Англетер. Чего тянуть.

* * *

У Маяковского блины были супрематические. Разных удивительных форм и цветов. А что он их не пек, а вырезал из картона и строгал из старых табуреток, так на то и революционный авангард.

* * *

Набоков, конечно, не пек блины. С какой это стати? Только pancakes, только хардкор.

* * *

Булгаков, на самом деле, пек блины по рецепту Гоголя. Только масло и сметана у него были невидимые, черти помогли. Поэтому все ели с удовольствием, а потом смотрят — с ног до головы заляпались. И не знают: где, когда?

* * *

Александр Грин блинов никогда не пек, у него и сковородки-то в доме не было, не говоря уже о муке. Но мог часами увлекательно о них рассказывать: как пекут блины в Зурбагане, а по какому рецепту в Гель-Гью, и как моряки в шторм на камбузе, выпив рому, пекут большой Капитанский Блин, кидают в море, и оно успокаивается. Ну или наоборот. В общем, собеседник уходил от Грина очень довольный, с ощущением сытости, как будто весь вечер ел блины. И потом ему уже никакие другие блины не нравились, все не то.

* * *

Хармс, на первый взгляд, действовал, как Грин: тоже не пек блинов, только о них рассказывал. Но рассказывал такое, что собеседники уходили от него в полной уверенности, что блинов не бывает, блин абсурден и абсолютно невозможен. Они потом долго еще не могли смотреть на настоящие блины, те, что поспокойней говорили: «Уберите отсюда немедленно эту глупость!» — а другие начинали истерически хохотать.

* * *

О блинах Андрея Платонова я стараюсь не думать. Просто не думать, и все.

* * *

Валентин Катаев пек блины на коммунальной кухне, на керогазе, на скверной советской сковородке, вместо масла клал маргарин. Но они все равно получались вкусные. На него за это очень сердились, говорили: вот шарлатан!

* * *

Иногда к Катаеву приходили Ильф с Петровым, он одалживал им сковородку, керогаз и маргарин. Но они пекли блины с приподвывертом, все время подбрасывали их в воздух, переворачивали, кривлялись, устраивали такой цирк, что на них никто не сердился, а просили еще.

Ложь

— Искусство — это ложь, — торжественно объявляет друг А.

Не то чтобы он так действительно думает. Не настолько он прост, чтобы думать об искусстве что бы то ни было. Просто иногда у друга А. просыпается потребность шокировать культурную общественность. Иными словами, он тролль.

— Естественно, ложь, — соглашаюсь я. — Все, что воспринимает человек, ложь. Все, что делает, тоже ложь. Всякий человек — сам себе ложь, фильтр, искажающий любую поступающую информацию. А уж на выходе — ууууууууу! Ваще. Такова уж наша природа. Зато когда мы с ясным осознанием своего положения все равно пытаемся сказать что-то хоть немного похожее на правду, которую не способны даже вообразить, от этого адского усилия рождается хорошее искусство. Хоть и ложь.

Друг А. смотрит на меня с обычной в таких случаях укоризной: ну что ж ты не даешь человеку пять минут дураком побыть!

Это да. Со мной в этом смысле всем трудно.

Лучшие из наших современников, — говорю я, — это такая прекрасная девочка-дебил из анекдота[10], которая успела задать вопрос: «А фто, можно было?» — ДО того, как загадать третье желание, а не после.

Любимый кошмар

В списке кошмарных снов, сопровождающих меня в разные периоды жизни (список вполне банальный: тут и крошащиеся зубы, и роковое опоздание на поезд-самолет-пароход, и чудище поганое в зеркале, и всякая там война) есть один самый ужасный и, в то же время, самый прекрасный из страшных снов.

Это всегда вариации на одну и ту же тему: людей едят

заживо, причем выедают у них некую самую ценную бессмертную часть, а прочую дрянь оставляют болтаться, как есть. В таких снах мне непременно приходится выдержать несколько сражений с пожирателями, чудом уцелеть, вспомнить предыдущие кошмары на эту тему, сказать себе, что и это сон, разными способами проверить версию, но не проснуться, а «убедиться», что нет, на этот раз все происходит наяву.

Ну, в общем, понятно, как это бывает.

Почему, собственно, я люблю этот кошмар. Ближе к финалу непременно удается каким-то образом организовать переброску уцелевших в некое соседнее измерение, где все примерно так же, как у нас, только нет пожирателей. То есть отличное место для эмиграции. Переброска почему-то всегда осуществляется автобусами. И в некоторых снах моя работа находить уцелевших, несожранных и приводить их на тайные автобусные остановки, а в некоторых снах водитель автобуса — я и есть.

Любимая моя работа. Потому и кошмар любимый.

Когда я просыпаюсь, наступает настоящий ужас. Потому что некоторое время после пробуждения я совершенно точно «знаю», что мне приснилась чистая правда, и единственное, что изменилось: наяву я вовсе не водитель автобуса, даже не кондуктор. Меня бы кто нашел и увез.

Но потом я наконец просыпаюсь, и это меняет все.

Лютеранство — по крайней мере, изначально, как задумка — о том, что между человеком и Богом не должно быть посредников, всех этих эффективных менеджеров, лопочущих на непонятном ширнармассам (хотя более чем понятном самому Лютеру) языке и отщипывающих от Бога по кусочку на продажу, каждый день на всех утренних рынках Европы свеженький, сытный, легкоусваиваемый всяким простым организмом Бог.

Идея правильная, то есть как минимум прогрессивная, беда в том, что стоит убрать ловких посредников в рясах, как между человеком и Богом тут же встает другой посредник — человеческий косный ум. Который такого наинтерпретирует, что знаете, давайте лучше вернем посредников в рясах, по крайней мере, образованные люди, совсем уж лютого ужоса не наговорят (а наговорят, так ширнармассы все равно ни хрена не поймут, отличная штука — латынь). И кукольные домики для Бога у них красивые, и музыка — зашибись.

Вообще, судя по яростному культуртрегерству Лютера, про косный ум он кое-что понимал, просто переоценил эффективность просвещения, как переоценивает просвещение всякий достаточно хороший, то есть уважающий других людей человек. Оно работает, но медленно. Слишком медленно.

Человечество никогда не успевает за своими Лютерами и прочими условными Гагариными. Это печальный факт, но сделать с ним я ничего не могу, когда создам свою Вселенную с блэкджеком и эльфами, там такого безобразия не будет (а вот зимнее море, звездное небо и острое счастье внезапного озарения обязательно из этой передерем).

На самом деле, ясно, что за Богом далеко ходить не надо, Бог всегда рядом, в смысле, вообще внутри, заполняет все живое до краев, просто человек довольно мелкий сосуд, да и тот забит всякой дрянью, которую понатаскал в дом хозяйственный косный ум. В итоге, Бога в него помещается хорошо если чайная ложка, да и та обычно оказывается где-то на самом дне.

Вот о чем, в идеале, надо бы, а на практике совершенно бессмысленно проповедовать, — бурчит мой лютеранский ум, по природе своей такой же косный, как всем тут выдают на входе, но сызмальства приставленный к тяжелой ювелирной работе на рудниках по добыче и обработке смыслов, так что, конечно, мешает, но хотя бы полчаса в день — точно мои (в смысле, Наши). Иногда больше. Как пойдет.

М

Мало что может быть мерзее появившегося в последние годы в активной лексике понятия «френд-зона». Потому что такое понятие может возникнуть и прижиться только в культуре, где любые человеческие отношения, не подразумевающие генитального контакта, котируются как заведомо «худшие», менее качественные и, соответственно, менее значимые, чем предполагающие хотя бы слабую надежду на великий генитальный переход. Что, в свою очередь, свидетельствует об упрощенном понимании природы человеческих взаимоотношений, а упрощение — это всегда зло. Ясно, что у нормальных людей такого говна в голове нет, но мы все живем сейчас вот в таком культурном контексте, дышим его ядовитым воздухом, и об этом не следует забывать, потому что противостояние культурному контексту может быть только сознательное и осознанное (т. е., и рационально продуманное, и с максимально возможным на данном этапе развития задействованием сознания). На одних условных рефлексах отвращения далеко не уедешь, это надо хорошо понимать.

Март

Теперь на рассвете меня будит (условно будит, на самом деле я в это время еще не то чтобы сплю) визгливое чаячье мяуканье.

Впрочем, днем наши новые соседи, горластые желтоногие чайки тоже орут, гармонично вливаясь в общий городской шум.

В отличие от белых акаций, которые появились несколько лет назад вместе с общегородской памятью (и даже вещественными доказательствами), будто они были всегда, чайки вписались в нашу жизнь не настолько незаметно, по крайней мере, пока куча народу помнит, что они появились в прошлом году. Тогда держались ближе к Вильняле, там и вопили на радость художественным академикам и студентам, а теперь освоились, в смысле, обнаглели и стали летать везде. И аккуратно, без пропусков, орут на рассвете в крошечном сквере перед моим балконом, очень любезно с их стороны.

Мои субличности азартно делают ставки: станет наше Виленское море видимым или все-таки нет. Я не знаю, кто из них выиграет, трезво оцениваю шансы, как блондинка из анекдота прогнозирует встречу с динозавром: пятьдесят на пятьдесят, или да, или нет.

Почки на деревьях вот-вот взорвутся, подснежники цветут не в отдельных избранных тайных местах, а тупо ВЕЗДЕ. Правда, сливы пока цветут только на бульваре Вокечю, да и те игрушечные, в смысле, искусственные, рекламируют вход в модный бутик. Это, конечно, надо будет подправить: в южном приморском городе время цветения первых плодовых деревьев — начало марта, а не какой-то там дурацкий апрель. Но, думаю, постепенно подтянутся, какие наши годы. Я еще помню, как они только в мае начинали цвести.

Родиться в южном приморском городе, в четверти часа неспешной ходьбы от моря, невзлюбить его всем сердцем, удрать к едреной фене (в древнюю эльфийскую столицу Дренефейне, можно сказать и так), в конце концов поселиться на севере, в трехстах километрах от ближайшего моря, полюбить этот город вопреки не только здравому смыслу, а вообще всему, наблюдать, как год за годом он незаметно для своих жителей превращается в южный приморский, вести аккуратный подсчет прибывающим белым акациям и чаячьим воплям, зачитывать их себе как победу неизвестно над чем (на самом деле, известно: над реальностью) по очкам — формула моей жизни. В смысле, именно через эту жопу я делаю вообще все.

Мир заполняется знаками, как только мы начинаем их искать. Не потому что мы придумываем и притягиваем за уши, а потому что в этой материальной реальности человеческое внимание — сила, движущая миром. Ну, это, конечно, если использовать его по максимуму. Но и по минимуму внимание — крючок, магнит, приманка. Зацепись им за мимолетное явление,

и оно станет закономерностью. Оно всегда работает так.

Мистерия — это действие в материальном мире, берущее начало в мифе и опирающееся на миф. В ходе мистерии материя всегда трансформируется волей (духом) — это главное, что нужно о мистерии знать. Грубо говоря, чем больше вокруг творится мистерий, тем больше мифа проникает в нашу повседневную жизнь, вне зависимости от того, знаем мы о произошедших мистериях или нет.

Миф всегда возвышает, если свести этот сложный процесс к совсем простой и понятной формуле.

Скажем, если человек пошел в лес, шлялся там неведомо сколько, пришел с сокровищами, никому ничего не рассказал, и его односельчане начинают придумывать, будто он убил дракона, подружился с ангелом, сходил в мир мертвых, принес оттуда хитрый амулет — это миф, поднимающий человека (и конкретного, и общий потенциал) до максимально возможных при текущем культурном уровне высот.

А когда человек сходил в лес, убил дракона, подружился с ангелом, посетил царство мертвых, принес оттуда амулет, никому ничего не рассказывает, а соседи сплетничают, что он купца проезжего поймал и ограбил, это демифологизация — опять же, не только самого таинственного соседа, но и человека в целом, снижение планки, сужение представлений о возможном для человека вообще. Очень вредная штука.

Многочисленные общественные запреты на употребление определенных слов, именуемые в народе (в разных народах) «политкорректностью» порождены (конечно же) ксенофобией.

Пока цивилизованный (цивилизовавший себя усилием воли), то есть усвоивший и принявший принципы терпимости к разнообразию человек в глубине души продолжает ощущать, что быть чернокожим, евреем, гомосексуалистом, женщиной «плохо», ему проще табуировать лексику, связанную с «нехорошими» качествами («негр», «жид», «пидор», «баба»), чтобы, упаси боже, обладателей этих качеств не обидеть. «Мы разрешили вам быть такими», «мы запретили себе вас этим попрекать» — вот что за этим стоит.

(Может показаться, что я пренебрежительно отзываюсь о цивилизовавших себя усилием воли; это не так. Напротив, такое усилие — всегда духовный подвиг, преодоление ксенофобии в себе — борьба духа с инстинктом, одно из величайших человеческих дел.)

А когда в глубине души нет ничего, кроме недоумения, — а что в этом такого? какая разница, кто какого цвета, национальности и кого предпочитает на ужин любить? — слова

это просто слова, части речи, подсобные рабочие коммуникации, от которых требуется точность и выразительность. И все.

Все вышесказанное банально и очевидно, но на этой почве возникает так много непонимания, что, видимо, надо эту банальность повторять и повторять.

Можно соглашаться на что угодно, нельзя соглашаться на что попало.

Мракоборцы

Люди, которых шокирует обсценная лексика, обычно вызывают у меня сочувствие, хоть и несколько брезгливое. Выросли в среде, где «бля» — нормативный артикль[11], и теперь изо всех сил стараются от этой среды оторваться (в первую очередь, продемонстрировать свою к ней непричастность, это естественное желание, связанное с бессознательным стремлением повысить ценность своей жизни в глазах окружающих, как бы смешно оно ни выглядело со стороны).

Ну, в общем, бедные зайцы, всех жалко, хоть и хочется их дразнить. Я и дразню, чего уж там. Но, к чести моей, сильно через раз.

Но не могу отделаться от смешной мысли, что брань просто отпугивает злых духов (для того и была когда-то изобретена). Сказал громко: «Хуй-хуй-хуй!» — и спи потом спокойно, никто тебя сегодня не съест. Конечно, злым духам не нравится! Их можно понять.

А мы, обкладывающие хуями все, что шевелится, храбрые мракоборцы, как в «Гарри Поттере», наша служба и опасна, и трудна, слава нам!

Н

На самом-то деле живем в полной уверенности, что в любой момент окружающие (ну, то есть не только те, кто рядом, а вообще все люди в мире) заржут, скажут: «Все, розыгрыш окончен, хватит дурить, давайте уже жить нормально», — снимут пластиковые чехлы с голов, вынут оловянные глаза, и вот тогда начнется настоящая жизнь.

Господи, взрослые же люди, спать иначе как в обнимку с собственной смертью не ложимся, и прочее бусидо — казалось бы.

А на самом-то деле просто невозможно, ну невозможно поверить, что все вот это взаправду. До сих пор — невозможно. Несмотря ни на что.

На улице Вильняус нынче была осенняя садовая ярмарка,

продажа саженцев и черенков; перед некоторыми саженцами стояли коробки фруктов соответствующего сорта, потенциальные покупатели могут попробовать, что вырастет. Впрочем, мне подарили яблоко просто так, я вообще в этом смысле человек удивительной судьбы: меня вечно все кормят, хотя морда у меня и так будь здоров, в смысле, не настолько сиротская, чтобы вот прям так самозабвенно кормить. А вот поди ж ты. Друг мой когда-то смеялся, что я излучаю те же самые волны, что зайчата в норах, чтобы любая пробегающая мимо зайчиха захотела зайти их покормить. Он был совершенно прав. Моя зайчиха необъятна и неиссякаема, имя ей Весь Мир. Надо бы не забывать говорить ей спасибо всякий раз, когда встаю из-за стола, который здесь и сейчас — этот восхитительный мокрый город, а завтра небось будет какая-нибудь туманность, например, Форамен, но сладкие осенние яблоки, спорим на что угодно, найдутся и там.

Надо сохранять оптимизм. Пока человек жив, ничего не пропало. В смысле, есть шансы сократить ему жизнь.

Настоящий антоним магии — тревожность. Ровно та же энергия тратится на то, чтобы достичь наименее желательного результата (когда энергии много), или просто чтобы быть растраченной впустую (в подавляющем большинстве случаев).

Ну и сразу понятно, конечно, почему тревожность культивируется в обществе, а некоторые ее формы возводятся в социально поощряемую добродетель.

Не звезда

Бесконечно великодушный Алистер Кроули писал, что каждый человек — звезда. Впрочем, подозреваю, он просто имел в виду — если смотреть на людей определенным способом, можно увидеть их свечение; действительно можно, факт.

Однако этот факт не должен сбивать нас с толку. На самом деле, каждый человек — дебил. Мы все очень разные (считать людей равными хоть в чем-то, кроме права на жизнь, — ошибка избыточная даже для человеческого ума), однако тупость, косность, инертность, невосприимчивость — нормальное, базовое состояние человека. Это не столько печальная новость, сколько корректно сформулированная жизненная задача: нам всегда есть с чем работать и что преодолевать. Самодовольство в данном контексте всего лишь признак запущенности конкретного случая. Вы еще довольны собой? Тогда мы идем к вам.

(«Мы» в данном случае это сраные идеалисты, которые невыносимы, будучи данными в ощущениях, однако без нас остальное уважаемое человечество до сих пор не то что сидело бы в пещерах, а плавало бы в мировом бульоне унылой клеткой, которой даже начать делиться влом. Мы, идеалисты,

удивительное чудо природы: будучи примерно такими же дебилами, как окружающее всевотэтовот, откуда-то знаем, что может быть круче. И, топоча ногами, требуем немедленного наступления крутизны. Обычно Вселенная посылает нас на экскурсию в известном направлении, но иногда устав от визга, который кажется нам самим мощным изъявлением созидательной воли, говорит: ну ладно, щас я тут немножко подправлю, только заткнитесь, сил моих с вами уже нет.)

Невозможное

«Невозможным» называют все, выходящее за рамки коллективного опыта. При том что значение для каждого из нас имеет только опыт индивидуальный. И уж его-то границы расширяются практически ежедневно, по крайней мере, если правильно организовать свою жизнь.

Некоторые рекомендации по использованию невидимого жерла вулкана в домашних условиях

Есть некоторые совсем простые вещи, которые лучше понимать, чем нет.

— Намеренное, инициативное (т. е. не нечаянно и не в рамках самообороны осуществленное) насилие над заведомо более слабым (физически, психологически, экономически — в зависимости от специфики насилия) свидетельствует, что применяющий его находится на одной из стадий развития, предшествующих состоянию «человек разумный». То есть, мягко (очень мягко) говоря, является тупым, отсталым скотом.

— В то же время, «тупой скот» — не приговор, а одно из состояний сознания, теоретически, доступное любому из нас. Диапазон состояний сознания, доступных среднестатистическому человеку очень велик. Зарекаться «я не таков» — не эффективная стратегия. Эффективная стратегия — «я допускаю, что такое может случиться, и заранее учусь этому противостоять». Осознанность, помноженная на способности к анализу и самоконтролю — гораздо более надежная гарантия от впадения в скотское состояние, чем приятная уверенность в своей ангельской природе. Не ангельская она тут у нас, извините. Так получилось.

— …Почти у каждого из нас есть опыт совершенного насилия. Честно говоря, слово «почти» тут лишнее, хотя бы потому, что детские поступки засчитываются. И то, о чем мы не помним, тоже засчитывается. Засчитывается вообще все.

Тот факт, что все мы в той или иной форме совершали насилие над слабыми, совершенно не повод каяться, виниться и в страхе ждать каких-нибудь развеселых небесных кар. Зато прекрасный повод деятельно исправлять ущерб, который мы в качестве насильников причинили себе и реальности (нашим

жертвам уже не поможешь, это надо признать и принять). «Деятельно исправлять ущерб» означает бескорыстно защищать слабых. То есть все, что нуждается в нашей защите и действительно (а не в фантазиях) может быть нами защищено. Успехи на этом поприще обычно оказываются довольно скромными, потому что деятельно, уместно и бескорыстно защищать очень трудно. Но тут ничего не поделаешь, у нас (в человеческом секторе планеты Земля) тут в некотором смысле каторга — для тех, кому очень повезло. Для остальных — ад, но это уже другая история.

— Если с человеком случилось несчастье (любое, в том числе, насилие), это не делает его «хуже», а просто лишний раз подтверждает, что он родился человеком на этой земле. Что, в общем, и раньше не было новостью.

Штука в том, что очень многие бессознательно смотрят на людей, попавших в беду именно как на «некачественных». Понятно, почему, но психологическая защита в данном случае не отмазка, а отягчающее обстоятельство. Смотреть свысока на попавших в беду — преступление, точка. В первую очередь, перед собой (и реальностью, которая от этого уродливо искажается).

— Мы уже вот прямо сейчас живем в обществе, где в законодательствах многих стран «неоказание помощи» — уголовно наказуемое преступление. Ясно, что в законе речь идет о крайних ситуациях, за всякое «самавиновата» в суд не отволочешь. Да и не надо, лично я вообще не ахти какой любитель судов. Но относиться к такой реакции на чужое несчастье следует именно как к преступлению. Это не поместит очередную бездушную гадину в тюремную камеру, но поможет навести порядок в собственной голове. Всякий обвиняющий жертву лично совершает преступление, всякий обвиняющий жертву заочно злоумышляет, точка. Иного отношения к обвиняющим (а значит, пытающимся добить) жертву быть не может.

— Надо очень хорошо понимать, что когда кто-то говорит вам: «сам виноват», — это равносильно тому, что в вас стреляют. Из невидимого оружия, существование которого не докажешь ни одному суду. Но видели бы вы, какие раны оставляет это невидимое оружие, так бы сейчас из-за письменных столов в обмороки и посыпались. Ну или ладно, не в обмороки, просто побежали бы на кухни за коньячком или что там у вас припасено для быстрого снятия стресса.

Я — убежденный противник смертных казней, но при этом полагаю, что вендетта в некоторых случаях не повредит. Особенно когда речь идет вот о такой стрельбе из невидимого

оружия: «Ты сам виноват!» В таких случаях бывает очень полезно и духоподъемно мысленно выстрелить в лоб обвиняющему. Или бросить его в жерло вулкана. Или в бушующие волны. Или с наслаждением голыми руками придушить. Ни в чем себе не отказывайте! Это не какое-нибудь сказочное «магическое убийство», ничего с вашим обидчиком вот так сразу не стрясется. Просто затянется нанесенная им невидимая рана, и с визгом разбегутся чудища-паразиты, поселившиеся в оставленной им дыре.

Что же касается христианской заповеди, рекомендующей подставить вторую щеку для удара, и чудесным образом пропитавшем сформировавшую нас культуру, как дихлофос оставленное снаружи во время дезинфекции пирожное, это действительно бывает очень круто в некоторых частных случаях. Когда, например, ударенный настолько привык давать сдачи (а ударивший — получать в ответ), что такой поступок мгновенно приведет их к просветлению, как какой-нибудь дзенский коан. Возможно, в условиях той культуры, для носителей которой, собственно, создавались все эти заповеди, такие просветления на почве подставленной для хлопка одной ладонью щеки случались буквально через день. Но современному человеку, приученному терпеть зло, пока крышу не сорвет, для просветления нужны какие-то совсем другие коаны. Если вообще хоть какие-то помогут. Защищаться, когда есть такая техническая возможность, необходимо. Защищать других — тем более. Отказ от защиты — это легитимация зла. А оно и без нас пока слишком вольготно себя здесь чувствует. Допускать это нельзя.

Несколько фактов о посторонних людях

— Один человек зарубил свою жену топором и выбросил с балкона.

— Они жили в доме напротив на пятом этаже.

— Балкон у них был голубой, в белый горох. Мне в детстве очень нравилось.

— Нет повести печальнее на свете.

— Одна двенадцатилетняя девочка неубедительно, но страстно доказывала одноклассникам, что почти у всех родители «ебуцца», а у некоторых — нет. И вот у этих неебущихся родителей рождаются самые красивые и умные дети — от поцелуя.

— Она, конечно, имела в виду себя и своих родителей.

— И действительно была очень красивая. А умных людей вообще почти не бывает, так что и не страшно.

— Мне потом рассказывали общие знакомые, что эта девочка выросла и встретила мужчину, который, впервые оставшись с нею

наедине у себя дома, согласился поиграть в «Морской бой». Они пили шампанское и играли в «Морской бой» до рассвета, и он почти все время выигрывал.

— Но иногда все-таки проигрывал.

— Вскоре они поженились и были очень счастливы. А может быть, и до сих пор счастливы (но это уже не факт, а предположение).

— Одна женщина очень любила мороженое. Могла съесть полкило за один присест. И даже больше.

— Эта женщина иногда в шутку говорила, что если за нею придет Смерть и спросит, какое ее последнее желание, она попросит килограмм мороженого. Съест, а потом спокойно умрет.

— Но в ту ночь, когда она умерла, в холодильнике не было никакого мороженого. И про последнее желание никто не спросил. А потому что не надо ничего заранее планировать.

— Я точно знаю, что мороженого в холодильнике не было.

— И хрен бы с ним,

— Но очень, очень всех жалко.

— А одного мальчика ненавидела учительница географии. Она урок не начинала, не выгнав его из класса — просто так, ни за что, от иррациональной ненависти.

— Мальчик, впрочем, все равно умер от наркотиков сразу после выпускных экзаменов, которые зачем-то с горем пополам сдал.

— А учительница географии потом попала в психушку. Не из-за мальчика, а потому что боялась инопланетян.

— Кстати. Во всех этих правдивых историях нет никакого смысла.

— Только леденящий душу бытовой ужас.

— Этим они и хороши.

Новейшие шаманские технологии

— Все прогнозы погоды обещали грозу. И где она, эта гроза?

— Видимо, пока наши местные духи погоды расслабляются на какой-нибудь лужайке, обложившись корзинами для пикников, кто-то из ближайших соседей, например, белорусские заклинатели дождя переманили к себе нашу грозу, посулив ей… что там такого хорошего есть в Белоруссии? А, вроде белье оттуда все везут. Ну вот, белорусы переманили нашу грозу, посулив ей целый воз кружевных трусов.

— На самом деле, белорусское белье покупать не надо. Там ужасная фурнитура. Ткань хорошая, а фурнитура никуда не годится. И еще синтетические кружева в сочетании с хлопком…

Вдалеке раздается грохот. На землю падают первые тяжелые капли; несколько минут спустя, начинается сильный дождь,

организованный столь поспешно, что даже солнце тучами закрыть не успели, и оно продолжает ослепительно сиять. Грохот раздается снова, теперь уже прямо над нашими головами.

— Вы вообще понимаете, что вы сделали?

— Что?

— Вы вернули обратно нашу грозу. Как только гроза узнала про ужасную фурнитуру и синтетические кружева, она гневно швырнула белорусские трусы в лицо заказчикам и вернулась домой.

Вот так теперь следует договариваться с погодой. А не в бубны консервативно стучать.

Нормальные мужики

Во дворе припаркован автомобиль, за рулем сидит дама, снаружи возле автомобиля, слегка на него опершись, курит мужчина. Дама, чтобы не тратить время зря, решает помыть лобовое стекло, включает дворники с омывателями, несколько капель попадают в мужчину, он отпрыгивает в сторону и в драматической манере начинает оттирать лицо.

Дама сперва извиняется, потом утешает, снова извиняется; не добившись нужного эффекта, в сердцах говорит:

— Да ладно тебе, нормальные мужики это вообще пьют!

Нужно, чтобы Кто-то

вымел меня по углам, ни крошки меня не оставив на грязном полу,

собрал меня в пригоршню, вынес вон,

контрабандой протащил на тот берег, откуда я родом,

да и развеял по ветру — а что еще со мной делать? Воздух в тех краях, подозреваю, больше для меня не пригоден.

О

О дубинах

Нынешний массовый интерес к психологии сродни массовому интересу к религии: предлагая якобы спасительное как бы знание о кнопках, которые надо нажимать, чтобы все стало хорошо, на самом деле вручает питекантропу дубину, которой сподручно лупить по голове — в первую очередь, самого себя, но и всех, до кого удастся дотянуться.

Массового спасения по единому рецепту не бывает. Вообще. Ни для кого. Нет никаких спасительных кнопок. Вернее, какие-то кнопки действительно есть, но расклад клавиатуры тоже индивидуален. Что в текущей версии реальности общее, так это базовые проблемы, они действительно примерно одни на всех (с

базовыми потребностями уже не так однозначно). А решения общих проблем уже индивидуальны, даже такая простая штука, как удовлетворение физического голода: одному в силу устройства организма нужно мясо, другому от мяса никакой пользы, зато без углеводов он не человек. Даже дышат все по-разному, и элементарное дыхательное упражнение разным людям надо делать на разный счет, причем одним лучше в статике, а другим в динамике.

Заблуждения — это, конечно, нормально. Это моя же старая формула: человек тем и отличается от диких животных, что может достаточно долго ошибаться и при этом оставаться в живых (домашние животные отчасти разделяют с человеком эту интересную участь). Но «может» не означает «обязан при каждом случае». Ошибаться не страшно, не стыдно и не позорно, но и задачи такой нет. Поэтому все-таки следует помнить, что иллюзия обладания секретным знанием о спасительных кнопках обычно лишает шанса свое маленькое приватное, единственно годное спасение однажды обрести. Под «спасением» я, конечно, подразумеваю контакт с самим собой (ума с сознанием), а через этот мост — с духом, лучшим другом детства нашей бессмертной части. Пока вы в косынке, с четками и ковриком для йоги мечетесь между психологическим тренингом и намазом, они играют в пятнашки неведомо где.

Но какой может быть разговор о духе, пока питекантроп стоит с дубиной среди болота, молотит себя по своей и так-то не шибко светлой башке, попутно отвешивая люлей всем, кого увидит — до кого дотянется, настоящих, остальным — в своих питекантропьих мечтах. Пока он не утопит дубину в болоте и не пойдет дальше наощупь, наугад по совершенно незнакомой местности (она всегда была незнакомой, просто питекантроп, ослепленный сиянием своей лучезарной дубины, этого не осознавал), при каждом шаге рискуя увязнуть и провалиться, и увязая, и проваливаясь, и выбираясь, если получится, ничего интересного с ним не случится. И вообще ничего.

(Я уже не говорю о том, что всякая массовая религия — десакрализация Бога через его упрощение для массовых нужд, а всякая массовая психологическая теория — десакрализация бессмертного человеческого сознания, тоже через упрощенное разъяснение и низведение до суммы инстинктов, биохимии и так называемой «личности». То есть добровольное низведение себя до минимума, безответственное обкрадывание себя.)

О коммуникационных успехах

Клининг-оператор Н. рассказала отличную историю.

У нее есть давние клиенты. У клиентов живет кошка. Кошка

имеет в семье репутацию храброго и независимого дикого зверя (что обычно говорит о робости хозяев, но все же).

Каким-то образом к этим людям попала парочка попугаев, мелких, как воробьи. Человеческой речи они пока не обучены, но легко и охотно воспроизводят все звуки окружающей действительности, включая телефон, будильник и дверной звонок. Попугаев посадили в клетку, клетку установили под потолком, иногда выпускали полетать, предварительно заперев кошку на балконе. Были уверены, что если не уследить за кошкой, попугаям трындец.

И вот однажды хозяева забыли запереть клетку и куда-то ушли. Спохватившись через пару часов, бегом вернулись домой, заранее готовые найти там кучку попугайских перьев и (может быть) парочку костей. Однако дома их ждала следующая картина: попугаи по-хозяйски разгуливают по квартире, один при этом звенит как будильник, второй свистит как телефон. Совершенно офонаревшая кошка забилась в угол, на ее независимой дикой морде крупными буквами написан вопрос: ЭТАШТО?

(Так выпьем же за то, чтобы все наши коммуникационные провалы приводили к таким сокрушительным победам.)

О мокрых задницах

В Тракай мы с N. ехали по следам дождя; впрочем, не то чтобы дождь собирался останавливаться на достигнутом, достаточно было посмотреть на небо, чтобы угадать его ближайшие намерения.

Но что нам до чьих-то там намерений, когда у нас тут свое, несгибаемое: взять в аренду катамаран и уфигачить на нем в золотую даль.

И взяли, и уфигачили.

«Wow! — сказал дождь. — Ух ты! Класс!» И начал развлекаться. Сперва он деликатно брызгал нам в лицо, как барышням, которым стало дурно от слишком громко сказанного вслух слова «жених» (а на самом деле, от туго затянутого корсета). От дождевых брызг отлично помогал чорный зонт, изломанный многими поколениями суровых иерусалимских ветров, но непобежденный; мы с N. были отличной парой отличных придурков — на катамаране, в центре озера, под сломанным чорным зонтом, и будь я в тот момент прохожим, наблюдающим за нами с берега, мне бы стало завидно и захотелось бы с нами подружиться. Мне, впрочем, и так захотелось, моей наблюдающей части очень часто хочется подружиться со мной, а еще чаще — с нами, потому что в паре (и в тройке, и в четверке, а больше народу за один присест не люблю) я обычно выступаю гораздо круче, чем наедине с собой;

природа создала меня не для монолога, а для диалога, я — типичный «рыжий», в смысле, всадник на рыжем коне, не мир, но меч; впрочем, деревянный. И в камне.

И вот с этим вот рыжим, который на рыжем коне и в камне, и непременно с веселыми друзьями, и вечно ржет (громче, чем сам рыжий конь), всегда отчаянно хочется подружиться той части меня, которая наблюдает. И у нее всегда получается, что ж я, зверь какой — с собой не дружить?

Грамотное раздвоение личности — залог удавшейся социальной жизни.

Что же касается того тракайского дождя, он сперва прекратился, дал нам отплыть подальше от берега, расслабиться и забыть обо всем, а потом подкрался сзади, и опрокинул на нас Большое Небесное Ведро, то есть натурально еще одно озеро Гальве рухнуло на нас с неба, и не было в тот день во всем мире задниц мокрее наших, и не было (возможно, вообще никогда за всю историю существования человечества) придурков под чорным зонтом счастливее нас. И не будет. А если и будет, в конце концов непременно выяснится, что это опять мы, опять под чорным зонтом, опять с мокрыми задницами, да что ж тут будешь делать, а.

О стоицизме и мученичестве

Похоже, в Небесной Канцелярии сперва планировали поселить меня на этой вашей прекрасной земле в виде протестантского пастора. Потом передумали, пожалев потенциальную паству, и сделали меня черт знает чем.

Однако всякий раз, чем ближе воскресенье, тем сильнее во мне желание написать что-нибудь поучительное (и обличающее грехи населения заодно). Подготовить, так сказать, воскресную проповедь.

Но поскольку кроме этого замысла была еще идея сделать меня титаном духа (каких-то винтиков не хватило, увы), я почти всегда держу себя в руках. В конце концов, можно тренироваться на кошках без ущерба для их здоровой психики. Кошки любят проповеди, потому что знают: если окружающий человек слишком много трындит, так это вместо того, чтобы наподдать им веником за какой-нибудь бытовой грех. И наверняка скоро будет обед.

Об инфантилизме

По дискуссиям в интернете, что в последнее время борьба граждан с так называемой инфантильностью приобрела невиданный размах. Прям как когда-то с кулаками боролись, а потом с космополитами, со стилягами и еще, наверное, с кем-нибудь, я не помню уже эту вашу новейшую историю подлости,

вот точно так же теперь ширнармассы восстали супротив страшной-страшной инфантильности, только вместо комсоргов и лекторов общества «Знание» их ведут на битву психолухи, или как оно там называется. Суетятся, топочут, привзвизгивают от избытка усердия: и-и-и-и-и-и-и-и!

Дык вот, граждане. Прежде, чем истреблять в себе инфантильность, выньте из своих планшетиков-телефончиков и вложите в свои бедные головы: она — редкий дар. Не хочу вас вот так сразу расстраивать, но не факт, что она вам грозит.

Но для начала давайте определимся, о чем именно мы говорим.

«Инфантильностью» ширнармассы и руководящие ими психолухи обычно называют самые разные наборы человеческих качеств. С чем им охота побороться, то «инфантильностью» и назовут. Я призываю вас к постыдному, но крайне полезному поступку: заглянуть в словарь. Если очень хочется, то иногда можно. Никто не увидит, а я никому не скажу.

Заглянув в словарь, мы обнаружим, что инфантильность — это «незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам». Обосраться можно, какая ужастная вестчь.

Что касается зрелости. Если уж пришла охота наделять себя качеством, присущим овощам и фруктам, следует включить аналитический аппарат и после продолжительной интенсивной обработки информации прийти к выводу, что незрелость — это такое прекрасное состояние, когда нас еще не пора жрать.

Кто хочет быть сожранным немедленно, пройдите на кухню, там вас, сияя ножами, поджидает шеф-повар. Остальные могут (если хотят) читать дальше. Чего у нас там с «чертами, присущими предшествующим возрастным этапам»? Иными словами, с качествами, присущими ребенку в большей мере, чем взрослому.

А это, знаете, с какой позиции смотреть.

С позиции зрелого, вот прямо сейчас заживо пожираемого социумом взрослого-родителя, детские качества совершенно невыносимы. С точки зрения среднестатистического задолбанного взрослого, ребенок — ужасное существо. Глупое, беспомощное, требующее заботы. Такой неполноценный человек, которого до полноценного еще выкармливать и доращивать. И в итоге все равно небось получится какая-то бесполезная (в хозяйстве зрелого) хрень.

А с позиции человека, хорошо помнящего свое детство, детские качества совершенно бесценны. Особенно если вы были хоть немного избалованным, то есть незапуганным, вполне

довольным собой и жизнью ребенком. Тогда у вас больше шансов вспомнить, что это было неплохо. И возможно даже оценить присущие детям в гораздо большей степени, чем взрослым качества. Да хотя бы ту же открытость миру. И готовность принять любые правила, и учить их натурально на бегу.

Ясно, что далеко не все специфически детские качества одинаково полезны. Некоторые даже и не нужны. Но это обычно штука индивидуальная: кому-то тот же детский эгоцентризм — тупик, а кому-то — пульт сознательного управления ближним миром. Разбираться приходится самостоятельно. Но и тут у ребенка преимущество перед взрослым: дети обычно легкообучаемы. А «зрелые» шницеля господни, с надутыми от серьезности щеками, бредущие через кишечник общества в понятно каком направлении — уже нет.

P.S.

Для людей с большой личной силой, т. е. для способных влиять своим состоянием на ближний (и не очень) мир позиция избалованного ребенка, всегда готового поиграть и недовольного необходимостью что-то делать всерьез, наивного «любимого дитяти Вселенной», вокруг которого все якобы вертится, и которому все немножечко должны за сам факт его бытия — чуть ли не единственный способ выжить среди всего вот этого вот. У окружающих с таким экземпляром будут проблемы, им не понравится, и их можно понять. Но ничего не поделаешь, у всех свои недостатки, кто-то должен мир вокруг себя вращать.

Только следует понимать, что все вышесказанное катит только при наличии огромного сердца, хотя бы временами исполненного любви. Без сердца ничего кроме полной херни не получится. Последнее утверждение, впрочем, касается вообще всех.

Об одном из аспектов великодушия

Довольно важный этап (и показатель) набора силы — когда начинаешь отдавать себе отчет в том, что многие вещи, которые казались тебе твоими заслугами, на самом деле заслуги некоторых окружающих. И отдаешь им должное, то есть по возможности благодаришь уместными в каждом конкретном случае способами, но очень часто (почти всегда) в набор благодарностей входит признание их заслуг словами вслух. Если их самих уже нет рядом, или им по фигу (или даже было бы неприятно такое услышать, бывает и так), то просто при свидетелях. Но почти обязательно вслух.

Следующий этап — когда ты начинаешь некоторые заслуги ближним приписывать. Ну или просто преувеличивать их значение. Потому что видишь: им это необходимо.

Дополнительный смысл, дополнительное оправдание бытия, утверждение в картине мира, благоприятной для их качественного выживания, или просто лишнее напоминание о том, какие они бывают молодцы (впрочем, это и есть «дополнительный смысл»). В общем, людям надо, а тебе не жалко. И ты умеешь говорить об их несуществующих заслугах достаточно убедительно, потому что веришь, пока говоришь. Ну, техника такая (единственная, делающая вранье допустимым, а иногда даже желательным), ее многие знают, а некоторые даже умеют наверняка.

Следующий этап — когда ты понимаешь, что все эти твои приписывания и преувеличения — чистая правда. Просто раньше не доходило, а теперь — да. И вообще тебя окружают какие-то, блин, сияющие полубоги. Которые всю твою жизнь не то чтобы даже поступками, а самим своим бытием, присутствием, дыханием тащили тебя из выгребной ямы небытия. Тебе с ними неописуемо повезло.

Ну а потом, да, понимаешь, что произошло. И как. Но это ничего не меняет, вернее, меняет, но только в сторону увеличения благодарности и общего душеспасительного охренения, что-то вроде того.

Об оптимизме

Ангел смерти — одна из самых оптимистических идей, когда-либо приходивших в голову человечеству. Внушающая надежду, что в момент расставания сознания с телом никто не будет один.

Обсуждали, почему у Ляо Чжая и в разных других «историях о необычайном» даосы часто такие неприятные типы. Да потому, — говорю, — что всякое честное до безобразия дао через них херачит, а дао — это обычно довольно неудобно для окружающих. И для тех читателей волшебных историй, которые представляют, что рядом с ними внезапно живет воттакоэвот.

По дороге домой до меня запоздало дошло, что я наверное тоже даос. По этому конкретному отдельно взятому параметру. Хо-хо. Крррасота!

Пойду есть камни.

Общность не в убеждениях, а в степени сложности.

Людям равной сложности, не согласным друг с другом ни по одному вопросу, договориться много легче, чем сложному и простому, занимающими сходные (на первый, поверхностный взгляд) позиции.

Грубо говоря, чтобы договориться, надо находиться в одном и том же кругу ада. На другой этаж хрен докричишься же.

Одна из самых чудовищных ошибок, которую совершаем мы все (и я тоже, достаточно регулярно) — считать, что все самое

важное и значительное происходит в нами в так называемой реальности, которую можно потрогать руками, а чего нельзя потрогать, то (утешительная) ложь.

Ну, материальная реальность убедительна, кто же спорит. Она может сделать нам бо-бо и дать ням-ням. Поди с такими аргументами не убедись.

Штука однако в том, что подлинная жизнь — это жизнь сознания. Все, что происходит с сознанием, то и происходит с нами. Вне зависимости от ням-ням и бо-бо. И хочется сказать, что все происходящее с нами равносильно и равновелико, но на самом деле, конечно, нет. Потому что все по-настоящему важные штуки, неотменяемые, формирующие бессмертное существо и великое множество вероятностей его следующего шага, происходят на такой глубине, куда руками не дотянешься, пощупать не выйдет, хоть об дно мировой бездны расшибись. А до доступной для ощупывания (а также ням-ням и бо-бо) поверхности добирается только эхо подлинных событий. И это, конечно, гораздо лучше, чем ничего. Просто не следует забывать, насколько это малая часть нашей подлинной жизни, которая настолько же наша, как, к примеру, сны, забытые из-за отсутствия техники пробуждения с сохранением непрерывности сознания, но изменившие нас в ничуть не меньшей (на самом деле, большей) степени, чем все это бесконечное бо-бо и ням-ням наяву.

Одно из самых больших моих удовольствий — проезжать по ночам мимо баров и клубов, оглушая толпящуюся у входов публику ревом «Полонеза Огинского»; Перселловская Ария Гения Холода или, скажем, Кампанелла тоже отлично идут. Клубно-барная публика получает свою порцию маленького ночного просветления, а во мне, обнявшись, ликуют внутренний культуртрегер (наконец-то эти несчастные приобщатся к высокой культуре!) и внутренний панк (что, бля, не ждали?)

Редкий момент полной гармонии между этой дурковатой парочкой.

Окно

Считается, будто на улице какой-то страшенный мороз, минус восемнадцать или что-то в таком роде. Знать ничего не знаю, лично у меня в кабинете открыта форточка (вернее, большая щель в окне, такая конструкция), из нее дует отчетливо теплый южный ветер.

Я сижу напротив окна в обычной домашней одежде; в прошлые годы, в других домах даже в минус пять, чтобы сидеть перед открытым окном, приходилось одеваться потеплее, у меня с тех времен остались две специальные домашние шапки и домашнее пальто. Но сейчас они не нужны. Такой теплый этот

южный ветер, что будь я, к примеру, дикой сливой, пришлось бы цвести. К счастью, я не дикая слива, а человек-венец-природы. Можно радоваться южному ветру без всей этой ботанической суеты.

Мне всю жизнь хотелось иметь заколдованное окно. И вот, похоже, оно у меня есть. Интересно, если в него вылезти (по-честному, на связанных простынях, как романтические узники мирового кинематографа), попаду ли я в страну вечной весны?

Опыт

Опыт, который мы неизбежно получаем в течение жизни, — это такой маятник из поучительного рассказа Эдгара По (там где острый маятник мееееееедленно опускается все ниже и ниже, и ясно, что на сколько бы это удовольствие ни растянулось, все равно в какой-то момент убьет).

Проблема, собственно, в том, что опыт мы неизбежно получаем разнообразный. А сформированный с учетом соблюдения интересов вида человеческий ум, фиксирует и усваивает преимущественно негативный. Чтобы значиццо в следующий раз на него своевременно опереться, избежать ловушек и всех-пабидидь. Мыска с кормом наша, зачот!

Но это он (человеческий ум) так считает. На самом деле, его обманули. Он вообще по природе своей дурак.

То есть на каких-то этапах тяжелой внутривидовой борьбы за мыски с кормом усвоенный негативный опыт действительно может пригодиться, правда, не всем, а тем, кто похитрей и половчей, но большинству из нас приятно в глубине души как бы знать, что «похитрей и половчей» — это именно мы. Что иногда оказывается правдой, но всего лишь ситуативной, когда окружение еще слабей. А по большому счету почти для всех опасная иллюзия.

Но, в общем, неважно. Важно, что жизнь идет, опыт (всякий) неизбежно накапливается, ум деловито фиксирует и обрабатывает негативный, делает выводы и формирует новые стратегии поведения, все более осторожные. Это работает буквально во всех мелочах: так, например, сорокалетний человек, вылезая из ванной, боится упасть гораздо больше, чем подросток — при том, что соответствующее физическое усилие по-прежнему дается ему легко. Но он знает — ЗНАЕТ! — слышал, видел, читал, что некоторые люди падают в ванной и ломают себе практически все. И такую херню наш взрослый человек знает буквально про каждый свой шаг. Вот это и есть настоящие «возрастные изменения» — когда в каждом темном углу сидит рационально обоснованная бука, а каждый светлый угол вероломно излучает опасный ультрафиолет (например). Не убережешься!

Быть трусливым и осторожным человеком плохо, в первую очередь, потому, что жизнь трусливого и осторожного человека тяжела и скучна. Даже безопасных развлечений в ней мало, потому что на развлечения нужны силы, а все силы уходят на защиту от реальных и гипотетических опасностей, которыми мы, если верить опыту, окружены. Мало кто представляет, сколько сил уходит на защиту от чего бы то ни было! Но люди, которым удавалось избавиться от одной-единственной опасности (в том числе, нарвавшись на нее и как-то пережив), знают, как резко прибавляется сил (на какое-то, обычно недолгое время). Вот это — оно.

В общем, именно так и убивает нас негативный опыт: отнимая все силы, которые уходят на защиту, и постепенно изымая из жизни радостное и интересное. То есть сам ее смысл. В итоге, получаем среднестатистического пожилого человека, который хочет жить только потому, что боится умереть. А это не очень сильная мотивация. Надолго не хватает. Потому что источник жизни — внутренний огонь. Которому нужны дрова (например, радость и смысл).

Пока, конечно, у меня получилась просто еще одна пугалка: смотрите, какая опасность! Неизбежная, потому что человеческий ум устроен вот так. Нам всем конец.

Но фишка в том, что у ума есть начальник — сознание. Тем, кто не видит разницы, приношу свои извинения: почувствовать ее вам за вас я точно не смогу. Идите, учитесь нащупывать дистанцию между «осознающим» и «думающим», вам для этого медитацию добрые индийские дяденьки изобрели и еще кучу всего, включая новомодное плавание в соляном растворе. А потом приходите дочитать благую весть, которая заключается в том, что сознание всегда может включить команду: «Цыц! Ниибет!» — и игнорировать опыт. Ну, для начала хотя бы отмечать: это я сейчас опасаюсь не сам по себе, а потому-то и потому-то. Но мало ли, что когда-то там с кем-то (да хоть со мной) было. Сейчас так не будет. А будет — переживу.

Каждый день начинать жизнь не с нуля, а с осознанной игры в «с нуля» (или хотя бы для разминки с энергичного «а ниибет») — вот что можно сделать с этим долбаным маятником. Нужно сделать. Тупо было бы вот так сразу, без борьбы отдать ему нашу жизнь.

Осень наступила вчера, то есть в воскресенье: зарядил дождь, не буйный летний ливень, а такой по-стариковски занудный, на весь день, уже все-все поняли, уже согласились, ладно, осень, а он знай талдычит: бу-бу-бу да кап-кап-кап. Разворачиваешься уходить, догоняет и повторяет прямо за

шиворот: кааааааап!

На крошечном открытом участке Лукишской площади, где киоск-Кофеин (остальная площадь сейчас на реконструкции и обнесена строительными заборами) очень толстым слоем лежали палые листья каких-то прям ноябрьских оттенков, в смысле, не сочно-желтые, а того самого унылого цвета кошачьего дерьма, который вдохновляет любителей поздней осени в моем лице. Деревья при этом стоят совершенно по-летнему зеленые; похоже, в нашем погодном отделе Небесной Канцелярии вообще забыли про сентябрь, пришлось в последний момент одалживаться у соседей, а у тех только прошлогодняя гнилая палая листва — ну, дали что было, и наши по-быстрому это все накидали на отдельно взятом участке Лукишской площади, поэтому там теперь точно осень. А в остальном городе пока продолжается лето, на всех соседской прошлогодней листвы не напасешься.

В общем, пока — так.

Основной инстинкт

Остановиться на краю обледеневшей тропинки, резко уходящей вниз, пощупать ногой, убедиться, что слишком скользко даже для моих ботинок, покоситься на удобный альтернативный путь, проложенный буквально в двадцати метрах, сказать себе: «Не, это тупо», — и, закусив губу, пойти вперед, удерживаясь на ногах усилием воли и невидимыми щупальцами, как бы выросшими из ступней и цепляющимися за скользкую землю (лучшее средство при гололеде, значительно повышающее устойчивость; воображение вообще очень полезно подключать к бытовым делам). Все-таки поскользнуться, но устоять, схватившись за вовремя подвернувшийся под руку прут, спуститься, обнаружить на руке внятный след от прута, а позади — ни кустов, ни деревьев, неоткуда было взяться пруту; привычно удивиться (удивление — форма благодарности), пойти дальше.

Ужас в том, что так я делаю вообще все. Мне это жизненно важно — не как дыхание, но примерно как вода. То есть обязательно, часто и регулярно, иначе капец.

(Анализируя эту свою особенность, я понимаю, что мне необходимо постоянно убеждаться на живых, наглядных примерах, что мой инстинкт самосохранения по-прежнему подчиняется воле, пока это так, органическое существование не оскорбительно; иными словами, вполне можно жить.)

Охотничьи рассказы

Вдруг дошло, что вечные взрослые (чаще женские, но дядьки к ним тоже охотно присоединялись) разговоры времен моего детства про жрачку: чего где купила, почем, как приготовила и т. п. — это были такие охотничьи рассказы о великой удаче

(продукты! почти съедобные! достала!), великой хитрости (сэкономила!!), великой стойкости (доперла восемнадцать кило через полгорода в набитом троллейбусе, а потом на пятый этаж без лифта, например) и великом мастерстве (превратила это гнилое говно во что-то вполне съедобное). И даже больше, чем просто охотничьи рассказы. Со скидкой на масштаб личности — каков герой, таково и деяние — настоящий, без натяжек героический миф.

П

Первые деньги в моей жизни были заработаны методом блистания на широком экране. То есть участием в массовке кинематографического фильма «Фантазии Веснухина». Его снимали на Одесской киностудии, летом, когда в ближайшую школу за подмогой не пойдешь, поэтому помрежи ходили по окрестным дворам и уговаривали детей прийти к ним посниматься. Мне было тогда десять лет, каникулы между четвертым и пятым классами, родители меня отпустили и были очень довольны: несколько дней можно не мучиться стыдом, что никто не водит неприкаянную деточку на море. И заодно подозрениями (небезосновательными), что неприкаянная деточка сама добрела до моря, их не спросив.

Короче. Это была самая настоящая Красивая Жизнь, как в заграничной книжке, только лучше. Нас собирали возле киностудии, усаживали в автобус и увозили в пионерский лагерь «Молодая Гвардия», на территории которого происходили съемки. Там мы оставались с утра до раннего вечера в основном шлялись по территории и купались в море. Иногда нас сгоняли в какое-то место и велели, к примеру, бежать, размахивая портфелями. Или, наоборот, стоять, ничем не размахивая. Других действий не припоминаю сейчас.

В середине дня нас грузили в автобус и везли в столовую (не знаю, почему нас не кормили прямо в лагере, но это было так). В далекой столовой царил полный разврат: например, можно было не есть суп. И просить добавочный компот. Нечего говорить, что именно так мы и поступали.

Мы съездили в лагерь «Молодая Гвардия» два раза, отточили мастерство размахивания портфелями, а потом специально ходили на киностудию за деньгами, не помню точно, сколько их было, но кажется, чуть ли не семь рублей. Головокружительная сумма. На эти деньги можно было купить половину мира и еще подарки родителям на сдачу. Мне всегда нравилось делать

подарки, гораздо больше, чем получать (потому что они вечно дарят всякие глупости, а вот я — полезные и нужные вещи, типа карликовых ложечек для варенья, инкрустированных драгоценными смарагдами, неумело замаскированными под зеленую пластмассу, но меня-то не проведешь!) В общем, бедным родителям досталась страшная куча какой-то немыслимой херни, а остальное мне удалось вполне невинно прокутить в Луна-Парке.

Фильм потом вышел, себя мы с коллегами на экране не увидели. Вырезали нас. Но мы почему-то совершенно не расстроились. Хотя, по идее, должны были. Дети в этом смысле такие же дураки, как взрослые, даже хуже.

В заключение следовало бы пошутить, что с тех пор я не хочу славы и люблю красивую жизнь — у моря, без супа, с двойным компотом. Но пошутить не получится. Потому что это не шутка, а чистая правда. Именно так и есть.

Первые книжки

Когда мне было три с половиной года, в нашей семье произошло драматическое событие: выяснилось, что я умею читать.

Как, почему, кто виноват, неведомо. Семья у нас была недостаточно интеллигентная, чтобы учить чтению трехлетнего ребенка. Родители, бедняги, даже обрадоваться этому открытию не смогли. Наоборот, огорчились. Их с самого начала пугали, что поздние дети часто бывают дебилами, и моя паранормальная способность к чтению, будучи вопиющим отклонением от нормы, показалась родителям верным признаком обещанного дебилизма. «Ну вот, — подумали они, — началось».

Будучи людьми отчасти склонными к фатализму, мои родители решили игнорировать прискорбное происшествие, жить как будто ничего не случилось, и никаких книг, кроме специальных детских с идиотскими стишками[12] и картинками мне не давать. Вдруг само рассосется?

Но не рассосалось, нет.

В доме у нас в изобилии были журналы. Папа выписывал журналы «Наука и жизнь» и «Крокодил». Еще был журнал «Работница», который выписывала мама, но журнал «Работница» меня страшил. Там помещались выкройки для шитья, которые казались мне схемами путей в космос, будешь долго такие рассматривать, не заметишь, как окажешься на другой планете. А в космос и на другую планету мне почему-то с раннего детства активно не хотелось. Наверное, потому, что я поздний ребенок, а значит хотя бы в чем-то дебил. Ну и почему бы мне не быть дебилом именно в области космических путешествий. Это довольно удобно. Не каждый день необходимо уметь космически

путешествовать, я имею в виду.

В общем, космические журналы «Работница» были для меня табу. Оставались журналы «Крокодил» и «Наука и жизнь». С моей тогдашней (трехсполовинойлетней) точки зрения, они были восхитительны. И целиком удовлетворяли мои читательские потребности.

В журнале «Крокодил» были карикатуры и анекдоты, которые казались мне не «смешными» (боюсь, у меня тогда просто не было представления о «смешном»), а обычными историями из жизни взрослых — так вот, оказывается, как они живут, когда я их не вижу! Ладно, будем знать.

В журнале «Наука и жизнь» было много непонятных слов. Они как-то очень удачно перемежались с немногочисленными понятными словами, это помогало удерживать мой читательский интерес. Хотя непонятные слова были прекрасны сами по себе. Я до сих пор помню, какое впечатление произвело на меня слово «митохондрии». Мне до сих пор кажется, это название тайной столицы королевства фей.

Боюсь, такой круг чтения лег в фундамент моих представлений о жизни. И его теперь из этого фундамента не изъять.

Но большинство имевшихся в доме книг были мне недоступны. Они стояли в шкафу «стенка», занимая там верхние полки. Как назло!

В возрасте пяти лет мне удалось найти инженерное решение этой проблемы и даже осуществить его на практике: оказалось, если поставить рядом со шкафом «стенкой» стул и влезть на него, можно дотянуться до полки с книгами[13]. И достать оттуда все, что душа пожелает. Вернее, что-нибудь с краю, чтобы легче было запихать это назад.

С краю у нас стоял двухтомник Уэллса и другой двухтомник «Война и мир». Романы и рассказы Уэллса сразу показались мне чистой правдой. Я помню, мне несколько лет хотелось расспросить родителей про войну с марсианами и выяснить, не тогда ли мой папа остался сиротой? Но врожденное чувство такта не давало мне затронуть эту болезненную для них тему. Если сами не вспоминают (о Великой Отечественной воевавший папа вспоминал часто, легко и охотно), значит, что-то очень уж страшное им пришлось тогда пережить, — думал тактичный поздний ребенок-дебил в моем лице.

Мне уже наверное лет десять было, когда случайно выяснилось, что никакой войны с марсианами не было. Уэллс все наврал!

«Война и мир», напротив, показалась мне сказкой, типа

«Старика Хоттабыча», только гораздо скучнее. Нет, ну в самом деле, чудес не бывает, не могут настоящие люди так жить! Балы у них какие-то, лошади по городу бегают, слуги у всех. И взрослые люди друг с другом на несуществующем выдуманном языке говорят. А страшный завоеватель, которого зовут как пирожное, это уже вообще ни в какие ворота. Юмор юмором, но надо знать меру, я так считаю. Это же надо было выдумать: император Наполеон! Фантазер этот ваш Лев Толстой.

На верхних полках шкафа «стенка» было еще много интересных книжек. Но они, получается, уже не очень первые. Даже не вторые. А пятые, шестые и сто сорок восьмые, например.

Важно, впрочем, не это. А то, что, когда меня наконец отдали учиться в школу, на торжественной линейке под лозунгом «Первый раз в первый класс» каждому первокласснику подарили по книжке. Вот эти вот детские, большого формата, с картинками и огромными буквами чуть не в полстраницы. Нам сказали, что если мы будем хорошо учиться, мы сможем эти книжки в конце учебного года сами, без помощи взрослых прочитать.

Мне тогда досталась книга «Три поросенка». И вот за это оскорбление мне до сих пор хочется отомстить. Но уже, пожалуй, некому.

Планочку пониже

В воздухе висит (в последние лет десять благодаря интернету это особенно заметно, в самые последние пару-тройку оно уже не просто висит, а аж вопит) массовое стремление получить разрешение на опрощение при сохранении самоуважения. Вот натурально: можно я буду вести себя как тупая свинья и при этом продолжу себя уважать? И чтобы снаружи ничего эту тупую свинью в своем лице уважать не мешало. Занижаем планку, планочку занижаем, господа хорошие, хрю!

Если уважаемое человечество не сможет переступить порог только что завершившейся калиюги и сдохнет под забором рая, то только поэтому. Так ему и надо, конечно, но культуру жалко. Такого Бойса, как у нас есть, к примеру, не каждое человечество породит. И Базелитца. И еще навскидку тыщ триста народу. И мороженое ром-изюм не факт что еще раз изобретут.

Так что нет, не занижаем планочку. Я вам занижу! Не пройдет.

По супермаркету среди понурых домохозяек бродил мужчина лет сорока с ярко-белыми волосами, в красном клетчатом комбинезоне под строгим черным пальто, с кожаной папкой для бумаг. Вел себя как в музее, где неожиданно разрешили трогать экспонаты: брал все подряд, вертел, разглядывал, осторожно ставил на место и хватал следующий

товар. Лицо его при этом делалось все более восторженным, глаза сияли, а белоснежные волосы развевались без всякого ветра.

Граждане марсиане, вы все-таки как-то тщательней готовьте своих агентов. Сразу видно, чувак тут первый день, и сразу такой позорный провал!

Подавляющее большинство человеческих способов поведения — бестолковая попытка дать взятку неизвестно чем неизвестно кому.

Полидевк, сын Зевса, чей брат-близнец Кастор, сын обычного смертного человека (не спрашивайте; ведущие специалисты репродуктивных центров нервным строем идут курить в коридор) — так вот, Кастор умирает от удара вражеского копья, и по такому случаю его брат-близнец, сын Зевса Полидевк, отказывается от божественного бессмертия, положенного ему по праву рождения, ради возможности не разлучаться с братом. Теперь один день они будут вместе проводить в Аиде среди мертвых, а один — на Олимпе, среди богов. Тоже вместе. Можно подумать, в том и состоит смысл приносимой Полидевком жертвы, что теперь его брат-близнец тоже будет наслаждаться бессмертием на Олимпе — не постоянно, а в режиме сутки через сутки, но это гораздо лучше, чем ничего.

Но на самом деле, конечно, нет тут никакой жертвы, речь не об утрате, а о расширении возможности обоих. Смертный Кастор, благодаря решению брата, получает в свое распоряжение Олимп, а Полидевк — Аид, Царство Мертвых, куда, хоть убейся, не прошел бы, если бы не брат. Так жертва оборачивается приобретением.

Фишка в том, что ни один бессмертный не бессмертен в полную силу, пока на собственном опыте не узнал, что такое смерть. Полноценно осознать обладание сокровищем можно только получив опыт бытия без сокровища, опыт страстного желания его обрести. В этом смысле, Кастор и Полидевк даже бОльшие боги, чем Олимпийцы. Им подвластен весь мир, а не его часть (пусть даже «лучшая», т. е. более приятная). Они — по обе стороны одновременно. И ни на одной из них — не целиком, не навсегда.

Их пример нам наука. Я хочу сказать, миф о Касторе и Полидевке описывает устройство человеческого сознания. Где смертный Кастор — повседневно используемая его часть, которую мы считаем «собой», а бессмертный Полидевк — неведомая бездна, доступ к которой мы получаем в лучшие свои мгновения (и тогда, только тогда действительно знаем, а не просто надеемся, что бессмертны).

Необходимо понимать, что эти «лучшие мгновения» —

следствие усилий обеих сторон. Совместных усилий.

В культуре, великодушно сформировавшей наши с вами умы (и определившей вектор работы наших сознаний), близнечный миф — это в первую очередь миф о строительстве живого моста между Аидом и Олимпом. И о возможности шастать по этому мосту туда-сюда. И, конечно, таскать контрабанду. И быть контрабандой, то есть проводить по мосту самих себя.

Иными словами, близнечный миф напоминает нам о возможности деятельного взаимодействия с иным, невообразимым, непознаваемым. И о том, что эта возможность существует потому, что нам есть с кем взаимодействовать на той, неведомой стороне. О наших невидимых, неведомых, но вполне объективно существующих (взаимодействие — доказательство существования, с фантазиями и галлюцинациями каши не сваришь, сколько топоров в нее ни вбухай) близнецах.

…потому что если я не буду ходить среди людей, по уши в человеческой глупости, наглотавшись ее по самое немогу, периодически догоняясь этой дрянью внутривенно, кто тогда встретит глупых детей в середине гиблого болота, скажет: «Ничего-ничего, знаем, ходили, ты вот давай сюда, на эту кочку, а потом, видишь, вооон на ту, а дальше уже сам, пройдешь как-нибудь, сообразишь… может быть».

Может быть.

Потому что глупых детей по кочкам через болото провожать может только такой же самдурак. Мудрому человеку ясно, что нет ни болота, ни кочек, ни глупых детей, только бесконечная пустыня, прекрасная как в первый день Творения.

(Это правда, но болото, кочки и дети — тоже в каком-то смысле правда, и надо быть дураком, чтобы из двух этих правд выбрать вторую. Таким дураком, как я.)

Правда для меня часто начинается там, где заканчивается достоверность.

Придумали специальный лимб для отдыха культовых персонажей. Договорились до того, что там Дамблдор дружит с Мастером Йодой и ходит играть с ним в шахматы (например). И с удовольствием обсуждают: если Волан-де-Морт на Дарт Вейдера налезет, кто кого сборет?

— И тут к ним врывается Саурон, весь такой при полном параде. Орет: «Я всех сборю, я!»

— Ага. А Мастер Йода ему говорит: «Нервы в возрасте нашем пора беречь свои!» — и протягивает ему рюмку настойки пустырника.

Про благодарность

Соседка рассказала настолько наглядную историю, что

невозможно не пересказать.

В деревне, где находится соседкина дача, живет дед. У деда в саду растет слива, у самого забора, так что почти все ветки свешиваются к соседям. Слива какая-то непростая, а может, и простая, но очень вкусная, какой-то сладкий сорт. Соседские дети эту сливу несколько лет с удовольствием объедали, да и взрослые не гнушались собирать на компот. Дед за ними благодушно наблюдал, радуясь, что людям польза, и сливы не пропадают; у него семьи то ли нет, то ли просто далеко.

Но недавно дед услышал, как соседи его обсуждают — типа, вот старый дурак, свое добро не бережет, мы все ободрали, а ему, маразматику, пофиг, жалкий человек. Дед пошел за топором и срубил сливу. Позвал соседей и сказал: я из-за ваших разговоров срубил. Не умеете быть благодарными, не будете больше мои сливы жрать.

Соседка при этом говорила: вот какой дед! Крутого нрава!

Но он не «крутого нрава», а самого обычного. Нормальный дед, нормальная естественная реакция на неблагодарность. Ничего из ряда вон выходящего, так и должно быть.

А теперь представьте, что этот дед — весь мир. Или судьба, или Господь Бог, кому как удобней. Сила, которая сидит на распределении благ. Принципиально от этого деда сила-распределитель-благ отличается только тем, что рубит сливу во все стороны сразу. То есть во всех временах. Отменяя весь прок от витаминов, которые слопали неблагодарные и их дети ДО момента открытого выражения неблагодарности. И они автоматически превращаются в людей, у которых все эти годы был лютый авитаминоз.

Про время, я знаю, многим сложно понять, не хватает воображения представить, как это; тем не менее всякое серьезное изменение происходит во все стороны сразу. Мне это очевидно, но силой впихнуть в чужие головы понималку я не могу.

Поэтому ладно, кто не понял про время, можно довольствоваться срубленной сливой. Совсем наглядная и простая метафора, такое, по-моему, физически невозможно не понять: неблагодарность перечеркивает возможность пользоваться ресурсом. Простое отсутствие благодарности (отличается отсутствием агрессии и меньшим по силе ощущением собственного превосходства над дающим) сводит пользу от ресурса к минимуму.

Поэтому (нарочно выбираю простейшие примеры) домашняя еда высокого качества, приготовленная замотанной домохозяйкой, может идти не впрок и даже разрушать здоровье тем, кто не ценит ее труд и считает ее глупой дурой (причем вне

зависимости от того, дура она объективно или нет). А, скажем, обругавший «старым маразматиком» любимого в прошлом режиссера, какое-то время спустя обнаруживает себя в затяжной депрессии, потому что (вот это, извините, снова сложно для понимания) из его жизни задним числом вычлась радость, полученная от любимых фильмов двадцать лет назад (пример реакции благодарного человека: «Мне новый фильм очень не понравился, но плевать, такому чуваку можно все»). Скачавший бесплатно книжку или музыку не по бедности и не из-за технических сложностей, а потому что «обойдутся», ни хрена не поймет в умной книжке и не получит драйва от музыки, ну или получит процента полтора от того, что потенциально мог бы. Причем беднякам и людям, лишенным электронных средств оплаты достаточно подумать «спасибо», чтобы этого эффекта избежать. Людям, которые заняты своими альтруистическими проектами, тоже достаточно подумать «спасибо», а еще лучше — сделать что-то (все равно для кого и в какой области), сказав себе, что это обмен. Вообще избежать печальной участи неблагодарного очень много способов. По большей части они просты и не разорительны. И очень улучшают жизнь.

Вот так оно работает. Только так, хотим мы того или нет.

Про музыку

В моем детстве было много разной странной музыки. Теперь уже не то. В смысле, все кажется как минимум допустимым.

Мне было мало лет, наверное, года два или три. Мама хлопотала по дому, все время напевая: «Якукарачча, якукарачча!» Потом следовало что-то невнятное, а после невнятного опять красивое: «Янеплаччу, неянеплаччу!»

С музыкальным слухом у мамы было не очень, а с голосом получше. В смысле, погромче. То есть несколько громче, чем ожидаешь от милой ласковой женщины совсем небольшого размера. Сочетание ее удивительных вокальных данных с текстом песни делало исполнение похожим на чтение заклинания. «Якукарачча, якукарачча!» Мне казалось, что моя мама колдунья, как в сказках.

Книг со сказками в доме было очень много, их любил папа и покупал все, до чего мог дотянуться, а потом читал вслух детям, включая меня; читать сказки для собственного удовольствия ему, как понимаю я сейчас, было неловко, неловкость прошла примерно к семидесяти годам, но это уже совсем другая история. В общем, о существовании колдуний мне тогда уже было известно, а тут мама со своей «якукараччей». Мне казалось, она невероятно крута.

Другой колдуньей, еще более страшной, была Людмила

Зыкина. Маму, кстати, тоже звали Людмила, это наверное такое специальное колдунское имя для поющих ведьм. Ну или просто бог шельму метит.

Когда Людмила Зыкина появилась в моей жизни, мне уже было много лет, наверное целых пять. До этого у нас дома не было радио, а потом его купили. И началось.

Людмила Зыкина пела из радио: «Издалекаааааааа дооооооооолгоооооооо». Она так тянула гласные, что меня натурально укачивало. Делалось нехорошо, начинало подташнивать. Мне казалось, если я еще немножко послушаю, превращусь во что-нибудь нетвердое, мокрое, текучее. И утеку, и впаду в эту самую реку Волгу, а это все равно что она (река, не Людмила Зыкина, но отчасти все-таки и Людмила) меня съест, как-нибудь так.

Но мне всегда удавалось вовремя убежать из комнаты, где стояло радио, поэтому меня никто так и не съел.

А остальные песни моего детства были не страшные. Но тоже довольно странные, кроме разве что тех, которые пели в радиопередаче «Радионяня». Там все было логично и понятно.

А потом мне сделалось очень много лет, и стало можно слушать, например, Сексписталз и Нину Хаген. И жизнь окончательно наладилась.

Путь художника

Над городом летают птичьи стаи, тренируются перед долгим полетом в теплые края (и нам бы, что ли, брать с них пример). Птицы в стаях мелкие, такая птичья крошка, снизу кажется, птичья пыль.

Внезапно в небе, прямо над тортом Святого Казимира появляется одинокий летун, очень крупный, судя по очертаниям, аист. Он высоко, выражения его лица снизу не разглядеть, но всем своим видом, всей своей панической пластикой бедняга транслирует внезапное озарение: да я охуел!

Р

Рассматриваем выставленную в витрине скульптуру.

— У этой овцы очень человеческое лицо. Такое перекошенное…

— «Человеческое» и «перекошенное» — это вообще-то синонимы.

Реальность как фанат

Пока дорогие читатели на протяжение десятилетий (десятилетий, Хлодвиг!) переводят хорошие продукты, пытаясь

изобрести напиток, который хоть по какому-то критерию можно будет назвать «камрой», и удивить друзей, я могу только меланхолически вздыхать об их горькой участи. Но когда за дело берется дорогая реальность, и в возлюбленном моем Green-Cafe появляются пакеты с этикетками «чай из кофейных ягод», я чувствую себя как футбольный вратарь, только что схлопотавший по башке влетевшей в ворота хоккейной шайбой, потому что, с одной стороны, все сошли с ума и после ебанулись, а с другой, гол все-таки был, ничего не попишешь, один-ноль в твою пользу, дорогая реальность, в этом тайме совершенно точно один-ноль в твою пользу, но мне, конечно, приятно, что ты такой умный, упорный и последовательный фанат.

C

С гробиком, пожалуйста

Мне много раз пересказывали подобные диалоги, но только что удалось наконец услышать собственными ушами в табачной лавке: «Нам, пожалуйста, если можно, с детским гробиком!»

Покупателей табака легко понять: на фоне совершенно диких антитабачных наклеек, изображающих нездоровые внутренности (по правде сказать, не то чтобы смотреть на изображения здоровых внутренностей было сильно приятней) фотография аккуратного чистенького детского гробика и печальных взрослых особей, склонившихся над ним, выглядит очень мило.

Так происходит переоценка ценностей.

(Впрочем, моя самая любимая наклейка изображает человека с поголубевшим лицом. Он смирно стоит в помещении возле батареи центрального отопления рядом с женщиной, которая испуганно взирает на его изменивший окраску лик. Похоже, чувак начал превращаться в бога Вишну, а это далеко не всегда удобно для близких. Она небось совместную ипотеку планировала и в отпуск недорого, на двоих всегда экономней получается, а этот мерзавец теперь бог-Вишну, все планы псу под хвост.)

С милиционерами (и братьями их полицейскими) такая странная штука: с одной стороны, мы все знаем, что это за стремный народ. А с другой, помним, зачем они, по идее, существуют в природе. В идеале, согласно первоначальному замыслу, милиционеры должны защищать нас от зла.

Я — носитель в некотором роде уникального опыта. Меня вырастили в семье советских оккупантов, с величайшим удовольствием оккупировавших в свое время город Берлин и полагавших (совершенно справедливо) эту оккупацию лучшим и

счастливейшим периодом своей жизни. Вокруг жили такие же счастливые оккупанты, пожилые гэдээровские бюргеры с цветами в садах и монгольские послы из монгольского же посольства. Ну и само посольство находилось буквально в половине квартала от нас. У входа в посольство стояла полицейская будка. В будке всегда дежурил дядя-полицай.

Ну то есть ясно, что полицаи были разные, в соответствии с графиком дежурств. Но нам (детям) казалось (видимо, из-за формы), что это был один и тот же дядя-полицай. Наш ангел-хранитель, идеальный взрослый, он был лучше всех. Со всеми неприятностями можно было идти к дяде-полицаю. Он натурально умел чинить поломавшиеся игрушечные машинки, приделывать оторвавшиеся ручки к портфелям, отгонять от мелких нас распоясавшихся старшеклассников и исцелять разбитые коленки одним прикосновением полицайской руки. Ну ладно, не одним. Несколькими прикосновениями. В полицейской будке всегда хранился пластырь, которого, кстати, не было в аптечках наших родителей, сурово орудовавших зеленкой, йодом и в некоторых особо тяжелых случаях бинтами. Думаю, наши родители просто не были приучены к такому буржуйскому баловству. Поэтому с разбитой коленкой следовало идти к дяде-полицаю: он гуманно заклеивал наши раны пластырем и закрывал вопрос.

Ясно, что в трудные минуты я вспоминаю дядю-полицая с печалью — эх, где же ты? В нетрудные минуты я тоже его вспоминаю — с благодарностью за свою причастность к идеальному миру, где нас идеально защищал от наших нестрашных детских бед идеальный, можно сказать, платоновский милиционер. Вернее, полицейский. Но все равно.

Вероятно, — подсказывает мой несуществующий психоаналитик (ростом до неба, с клыками в неуставных местах) — именно из этого идиллического воспоминания родилась в свое время полиция города Вильнюса, защищающая население от дурных снов (а сны от дурного населения). Ну и всех остальных от примерно всего.

Самое невыносимое при коммуникации с людьми (не какими попало, а замечательными, зачем с другими-то дело иметь) — явственно видеть на них отметины ада, черные дыры, куда уходят все силы, не менее явственно видеть стены, в которые они уперлись лбом и бодро маршируют на месте, не менее явственно — чудовищ, которые их пожирают, всю вот эту красоту, которая проступает порой просто во взгляде, осанке, повороте головы, или в одной-единственной вполне безобидной фразе, вслух или по переписке, неважно, все это может проявиться в

любой момент. Не выдумывать, а видеть, это разные вещи, перепутать невозможно, увы.

Самое невыносимое — видеть это и оставлять, как есть, потому что я с этим не справлюсь, уже вот прямо сейчас не справляюсь, все это не моего ума дело, хотя моя (очень моя) печаль, с которой надо жить дальше, ну а как еще. Я нам тут не Господь Бог (уж точно не в большей степени Он, чем каждый сам себе). Отдавать себе в этом отчет, будучи при этом деятельной натурой, крайне мучительно. Но других вариантов нет.

Зато конечно бывают удивительные бонусы: зная кого-то много лет, лично или даже только по текстам, видеть, как в человеке закрываются эти адовы дыры, рушатся стены, с визгом разбегаются невидимые хищные чудовища, как их становится меньше и меньше, а то и вовсе не остается (по крайней мере, из видных мне). И понимать, что человек справился сам. Ну или с чьей-то помощью, но какая разница, справился все равно. Красивей этого зрелища постепенной победы духа над адской трясиной небытия я вообще ничего не знаю. Стоит терпеть этот ваш душный кинотеатр сансары, если в нем иногда показывают вот такое кино.

Сказки Оленого брата

В детстве у меня (конечно же) были сказки Андерсена; кстати, не желтый двухтомник, как у всех, а книжка в обложке с изображением ночного города, черные крыши на фоне темно-синего неба; кажется, на одной крыше сидели Пастушка и Трубочист, но точно не помню, мне давно на глаза эта книга не попадалась. Впрочем, речь не о том.

Из всех сказок больше всего меня впечатлил цикл про Оле Лукойе, потому что в детстве у многих такие… непростые отношения со сновидениями. Правда, приключения мальчика Яльмара казались мне скучноватыми, но это было совершенно неважно, возможность узнать, как это у других, сама по себе бесценна. Но по-настоящему меня потряс не сам Оле, а его брат под черным зонтом. И даже не сам по себе брат, а то, что Смерть рассказывает сказки тем, кого уносит с собой.

(Рассуждения про страшные сказки для детей с плохими отметками и веселые для детей с хорошими меня тогда, кстати, совершенно не впечатлили, это был такой типичный случай взрослого вранья, на которое не следует обращать внимания, взрослые всегда врут про послушание, хорошие отметки, и что им там еще от нас надо; в книгах тоже врут, эти места надо пропускать.)

В общем, страшные они там или веселые, эти сказки для мертвых двоечников и отличников, мне было плевать. Но сам

факт: Смерть рассказывает сказки тем, кого уносит! Господи боже, вот бы их когда-нибудь почитать, оставаясь при этом в живых! Мне много лет этого хотелось, может быть, больше всего на свете, а может быть, и не больше, а только почти, сейчас трудно точно определить. Даже когда стало понятно, что Андерсен — просто сказочник, а сказочники все выдумывают, все равно хотелось. Потому что — ну ясно же, что все остальное он, может быть, выдумал, а про Смерть, рассказывающую сказки, откуда-то узнал.

Прочитать книгу сказок брата Оле Лукойе мне, конечно, не удалось — откуда ее было взять? Но в некоторых особо важных вопросах слова «нет» для меня не существует. Поэтому я уже много лет эти сказки пишу.

Скромное обаяние бездуховной бэ

На краю Ужуписа, в Тибетском сквере стоит оранжевая будка для книг, так называемая «свободная библиотека», кто-то приносит туда книги, кто-то забирает; я обычно приношу всякое объективно хорошее, но мне не особо нужное. Вот и сегодня, буквально только что.

Выкладываю книги из сумки, мимо проходит пара позднесредних лет, разговаривают по-русски. Дама объясняет своему спутнику: раньше здесь, в Ужуписе жила богема, а теперь все выкупила бездуховная буржуазия, и вот, сам видишь…

Драматическая пауза, наконец дама заканчивает скорбным шепотом:

— КНИГИ ВЫБРАСЫВАЮТ!

Да, детка, да, детка, да!

Слышу, как девочка спрашивает: «А что такое копрофильское порно?»

И мальчик отвечает: «Это про любовь».

Сметут нас с лица земли

Только что по бульвару Вокечю прошла компания мальчишек-подростков, с виду старшие школьники, прикиды по меркам моего поколения вполне панковские, а так-то наверное нормальный подростковый кэжуал. Волокли с собой переносной магнитофон; в прошлом году на эти бандуры была мода, наверное, еще не прошла. Из девайса хреначила симфония Моцарта, какая по счету, не помню, в этом кластере у меня вечный бардак.

Дети торжествующе поглядывали на нас, скучных филистеров в плеерах, с высоты своей немеряной крутизны.

Ладно, пусть сметают, ежели так.

Со Стебукласом

От погоды, такой распрекрасной, у меня ощущение, что

власть в городе нынче бесповоротно моя. Плюс два и храбрый снег-камикадзе, практически не имеющий шансов успеть долететь до земли, не растаяв. Именно так я и представляю себе идеальную рождественскую погоду, лютый, лютый декабрь.

Все собутыльники поразъехались, кто куда, а пить глинтвейн на рождественской ярмарке — мой гражданский долг. Я его уже не хочу, натурально не лезет, но надо. Кто, если не я.

Поэтому сегодня бухали со Стебукласом. В смысле, с плиткой с надписью «STEBUKLAS»[14], которую сделал когда-то художник Гитис, чтобы все желающие могли добыть себе чудо, встав на плитку и покрутившись на ней сколько-нибудь раз.

Так вот, сперва Стебуклас работал, в смысле, на нем как раз крутилась, загадав желание, пухленькая блондинка средних лет, после нее такая же пухленькая брюнетка, таких же средних, а потом еще сопровождавший их дяденька. Дяденька крутиться стеснялся, громко отвешивал простодушно грубоватые шутки, но очень хотел загадать желание, поэтому все-таки встал на плитку и покрутился, как надо, храбрый дяденька, молодец, все бы так.

Потом компания любителей волшебства ушла, и мы со Стебукласом наконец-то выпили, ему досталась добрая половина моего глинтвейна. Но сперва мы, конечно, хором сказали тост: «Больше чудес в нашем чертовом городе!» Так что теперь все, будет нам больше чудес. Апелляции не принимаются, некоторые поступки необратимы, иногда (изредка) это к лучшему.

Потом Стебуклас пошел на работу, его уже ждали желающие вертеться три раза вокруг своей оси, а я домой, где меня тоже ждали, но не чтобы вертеться за желание, а просто так.

Солнцеворот

Время от весеннего равноденствия до летнего солнцеворота отличается от прочих периодов тем, что в воздухе разлито торжество жизни и обещание легкого дармового бессмертия; ясно, что лживое, но укрепляющие дух витамины из него добываются все равно.

А все остальное время ни хрена нигде не разлито, и это счастливое ощущение торжества жизни и легкого, естественного, по праву рождения положенного нам всем бессмертия приходится вырабатывать самостоятельно. Кто не умеет, сам дурак.

Ворота моего внутреннего завода уже отпирает внутренний сторож. Он хмур, сосредоточен и ситуативно трезв. Щас подтянутся работяги, и начнется смена. Сторож этому даже рад — соскучился без шума станков.

Спрашивают: «Это ваш город?»

Отвечаю: «Это я — его».

И ведь правда так. Вот ведь угораздило вляпаться в

отношения.

Художница С. говорит: «Город тебя переделал. У тебя теперь глаза светятся, и смотришь, как птица: зырк, зырк, то ли клюнешь вот-вот, то ли так улетишь».

Не клюну, конечно. Так улечу.

Уже, собственно.

Во дворах Старого города все чаще звучит русская речь — неведомо зачем, у меня нет потребности все понимать, скорее наоборот. Но приходится понимать, что одна женщина пожарила рыбу, и вторая женщина пожарила рыбу, а третья сейчас посидит-посидит, да и пойдет, пожарит. Рыбу — что ж еще? Но увы, не для меня.

Черт бы с ней, с рыбой; если совсем невмоготу станет, буду бродить по чужим карнизам, как соседский кот Жук, властелин нашей дворовой помойки, черный, как мои помыслы о чужой еде. Отсутствие жареной рыбы вполне можно пережить, и вообще нет ничего такого, с чем не справился бы человек, но ветер этот сентябрьский тянет из меня жилы, плетет из них макраме, развешивает по деревьям — не-вы-но-си-мо! Невыносимо сладко, я имею в виду. Так сладко, что впору бы умереть, но я не умру, пока этот город ежедневно требует меня для своих утех. Ему нравится, как я попираю стопами булыжники, а мне нравится, что ему нравится, а ему, ясен пень, нравится все, что нравится мне — до-о-обрый господин, ласковый и заботливый, совсем как я.

Нашла коса на камень.

Нынче я — любимый сон князя Гедиминаса. Когда ему надоест, придется, конечно, искать другое место для жизни. Но не раньше. И не по собственной воле. Такого у меня еще никогда не было — ни с городами, ни, тем более, с людьми.

Страшное кино

Самым страшным фильмом в моей жизни стал мультфильм. Мультфильм назывался «Мойдодыр». Я до сих пор помню ужас, охвативший меня в процессе просмотра: оказывается простой, понятный и безопасный мир домашних вещей в любой момент может восстать против тебя и заставить лишний раз умываться. Например. А может и чего похуже. Никому нельзя доверять!

Мне было тогда около трех лет. Родителей насмешил мой страх перед «Мойдодыром», и они меня еще долго жестоко троллили, громко цитируя вслух оригинальное стихотворение Чуковского. И сладкими голосами звали меня к телевизору, когда там в очередной раз показывали зловещий мультфильм. Им нравилось слушать мой отчаянный вой.

С другой стороны, дети должны приносить родителям радость. Хорошо, что мне хотя бы однажды точно удалось ее

принести.

Вторым самым страшным фильмом в моей жизни был какой-то фильм из античной жизни. Не то «Спартак», не то «Триста спартанцев», точно помню, что корень «спарт» в названии фигурировал. Этот фильм показывали в Доме Офицеров (а значит, мы уже переехали в Берлин, и мне было года четыре). Родители взяли меня с собой в кино, и мне было довольно интересно, пока там не начали рубить голову человеку. Причем голову не отрубили целиком, а только стукнули мечом по шее, оставив рану. Фиг знает, зачем. Но меня потрясла сама идея, что человека, оказывается, можно порубать на части острым мечом. Прежде как-то не приходило в голову, что одни люди могут захотеть отрубить от других людей такие большие и важные куски.

Что было дальше, не помню. Только темноту — сперва зрительного зала, потом зимней ночи — и свой отчаянный рев.

Эта история пошла мне на пользу: родители зареклись брать меня с собой в кино. В кино им при этом ходить хотелось, поэтому меня стали оставлять дома в полном одиночестве. И это лучшее, что было со мной в детстве, в целом, довольно счастливом. Просто оставаться дома без родителей — это даже круче, чем играть в казаки-разбойники или ходить на ярмарку. Круче, чем вообще все.

Третьим самым страшным фильмом был «Всадник без головы». Лет мне тогда уже было очень много, чуть ли не все семь. И вдруг опять эта чертова отрубленная голова! Да что ж это такое, граждане дорогие. Почему нельзя оставить голову на теле? Нет, рубят и рубят, как с цепи сорвались.

Однако больше всего меня поразила тогда возможность существования без головы. Без головы, как выяснилось, можно ездить верхом на лошади и вносить ужас в стройные ряды окрестных рабовладельцев (и рабов, но рабы, ладно, не считаются).

Эти бурные переживания с головами так меня истощили, что с тех пор кино меня не пугает — вообще. Зато часто смешит не к месту. Ведьма из «Вия» летала в гробу под мой сдавленный хохот. Большое спасибо посетителям кинотеатра, что меня никто не убил. Но одноклассницы, с которыми мы ходили смотреть «Вия», очень обиделись и не разговаривали со мной несколько дней.

Смешнее полета покойницы в «Вие» был только Чорный Вигвам в «Твин Пиксе» — при том, что я очень люблю «Твин Пикс» и вообще Линча. Но агент Купер, скитающийся по клетчатому Чорному Вигваму с красными занавесками под вопли и визги, смешит меня до сих пор.

(Зато, равновесия ради, я крайне редко смеюсь, если смотрю комедии. Впрочем, почти и не смотрю.)

Зато был совершенно прекрасный эпизод в эпоху первых видеомагнитофонов, когда все ходили в гости к их обладателям и смотрели все подряд. Мы с друзьями посмотрели кинофильм «Восставшие из ада», который никого из нас не напугал, только довольно противно было смотреть на избыток кровавого ливера, из которого лезли не то черви, не то змеи, не то просто щупальца, точно не скажу, дело было давно. Но как-то мы высидели до конца — все-таки кино по видику, такие события надо уважать.

Действие фильма «Восставшие из ада» разворачивается в больнице. И вот, посмотрев фильм, мы пошли навещать своего друга, который тоже лежал в больнице. Правда, в другой. Но когда мы тайком залезли в окно и пробирались в палату друга по коридорам (навещать больных было запрещено, но все так ходили), нас накрыл-таки самый настоящий ужас, граничащий с паникой. За дверью каждой палаты таился вход в ад, и все эти щупальца-черви-змеи приветливо шевелились в темноте.

Мы (нас было четверо) собрали волю в кулак, добрались до палаты, отдали другу бутерброды, которые мужественно через весь этот восставший больничный ад несли, а потом вышли и побежали, как будто за нами и правда гнались все силы ада. И весь остаток вечера чувствовали себя так, словно и правда чудом спаслись. А ведь взрослые были люди, всем совершенно точно больше двадцати лет.

Страшное правдо про человекожызнь

Тут у вас нас все устроено так, что почти никто не получает желаемого по максимуму. Зато практически все получают то, на что согласны в самом крайнем случае. Где провели нижнюю границу допустимого для себя, так и живут.

Засада в том, что большинство людей, о чем бы ни мечтали, в глубине души согласны на просто-возможность-выжить. И желательно при этом еще хоть как-то, пусть через пень-колоду продолжить род. Так и получается. И только упертые идеалисты, у которых нижняя граница допустимого прочерчена достаточно высоко, на уровне «по-моему или никак», или погибают (с выживанием в рядах идеалистов крайне неважно), или уже живут — так живут.

Суровый балтийский юг

Несколько лет назад, когда в городе внезапно появились белые акации, и все, конечно, сразу вспомнили, что они были всегда, у меня не возникло никаких возражений. Белых акаций мне тут не хватало, я их люблю.

Несколько дней назад таксист, проезжая мимо стадиона

Žalgiris, сообщил, что в годы его детства на месте стадиона была воинская часть, за забором которой росла черешня. И они с друзьями эту черешню воровали, а караульный грозил им ружьем.

Ладно, — думаю, — черешня — так черешня. В воинской части, ладно, пусть.

В ответ на мою индейскую невозмутимость таксист почесал в затылке и добавил, что во дворе дома его друга детства, который жил с семьей в Жверинасе, росли персики. И отец друга, заслуженный хирург, разрешал им эти персики рвать, при условии, что не сломают деревья.

ЧЕЕЕГООО?

Персики, да. Мне не послышалось. Персики. Не, ну а чо.

Сегодня, светлой северной летней ночью, наступившей сразу после почти двадцатичасового знойного дня, на улице Вильняус меня посетило смутное подозрение, граничащее с почти полной уверенностью, что еще несколько лет спустя на улице Вильняус появятся пальмы. И все, конечно, сразу вспомнят, что пальмы тут росли всегда. Ну а чо, юг он и на Балтике юг.

Так вот, дорогие сотрудники Виленского погодного отдела Небесной Канцелярии. Если пальмы, то тогда уже и море, это будет честно. Настоящее, то есть видимое, а не вот это непостижимое и неопределенное, которое шумит и пахнет во тьме. Желательно Черное. Не следует мелочиться. Если уж все можно, значит можно все.

Т

Так называемые простые люди мне совершенно неинтересны, мне не только не о чем с ними говорить, мне даже смотреть на них незачем. Ничего духоподъемного в этом зрелище нет.

Штука в том, что простой человек — это не вековечная константа, а всего лишь состояние сознания. Для большинства обычное, но ни для кого не постоянное, хотя бы потому, что каждый из нас ночью (ну, кое-кто под утро) оказывается на границе между разными способами бытия и неизбежно вываливается из привычной системы координат в неведомое, то есть в сон. И немедленно перестает быть простым человеком, становится черт знает чем.

А черт знает чем мы с Вселенной очень даже интересуемся.

Ясно, что выходов за рамки повседневного состояния сознания и без всяких снов полным-полно, просто сны это самое очевидное. А так-то — засмотрелся на текущую воду, замер

ухваченный за нежные ноздри запахом свежескошенной травы, ослеп на миг от чужого, ничем тебе лично не грозящего горя, вот уже и вышел куда полагается. Потом, конечно, обратно вошел, но кого это беспокоит. Уж точно не меня. И тем более не Вселенную.

Чем дольше живу, тем больше (с непреходящим изумлением) убеждаюсь, что для меня это вообще самое важное: неотвратимость регулярных изменений состояний человеческого сознания. Как будто у меня в этом деле корыстный интерес. Хотя черт его знает, может, и корыстный. Может, я вообще это ем?

Такая примерно динамика

В раннем детстве смотришь на других людей в полной уверенности, что они чудесные существа. Даже нет, не «в уверенности». Просто знаешь, видишь, что это так. Не все чудесные существа тебе по вкусу, у некоторых совершенно невыносимый внутренний ритм, а некоторые явно оказывают на окружающий мир влияние, которое тебе лично не нравится, и ты громко орешь, потому что — никому не объяснить. Но в целом, мироустройство кажется понятным и правильным, и ты со своим внутренним ритмом и умением влиять на окружающий мир тут вполне на месте.

Став чуть старше, отчасти (но пока в малой степени) утратив остроту восприятия, обзаводишься аналитическим аппаратом и немедленно обнаруживаешь, что окружающие тебя чудесные существа маются какой-то не особо сложносочиненной хней. И вроде бы остаются чудесными существами, но делают вид, будто это не так. Притворяются, что все происходит только на самой поверхности мира, а на глубине ничего нет. Оп-па! — думаешь ты. Похоже, тут зачем-то надо так притворяться. От кого-то скрывать все самое важное и интересное. Ладно, будем скрывать.

Став еще старше (скоро уже, страшно подумать, в школу), тупеешь (это если о восприятии), зато отращиваешь себе огромадное по местным меркам критическое умище. И начинаешь понимать, что окружающие — вообще никакие ни разу не чудесные существа. Ничего они не умеют, кроме как забивать гвозди и жарить котлеты, — здесь, на самой поверхности реальности. А о глубине не знает никто, кроме тебя.

Да и ты довольно неглубоко погружаешься, будем честны.

Потом ты, как это здесь называется, «растешь» и «взрослеешь», и это такой лютый ужас, что ни одному самому вражескому врагу не пожелаешь. Однако все это происходит — не с врагом, а лично с тобой. И ты буквально у себя на глазах, как в дурном сне, поднимаешься со своей восхитительной глубины на поверхность реальности, добро пожаловать в мир гвоздей и котлет! Невозможно не отдавать себе отчет, что прямо сейчас,

каждую секунду, ты утрачиваешь связь с чем-то уже очень смутным, но единственно важным. И приобретаешь прочную связь с тем, что на хрен тебе не сдалось.

Все, что можно этому противопоставить — свое ослиное упрямство. Ну уж нет! Я — это я, чудесное существо, а вы — свиньи, раз не хотите, не можете быть чудесными существами, живущими в ритме сияющих линий мира, и сознательно изменять его своей волей. Моя драгоценная глубина — единственное, что есть взаправду, а вы (в смысле, все остальные люди) — глупые, бесполезные галлюцинации, пошли вон.

Со стороны это выглядит совершенно безобразно, но как ни странно помогает некоторую важную часть себя сохранить.

Потом сидишь, красота такая, в человеческом мире, среди чужих гвоздей и котлет с этой своей важной частью наперевес и как бы вершишь судьбы на хрен тебе не всравшегося простого человеческого мира. В смысле, выпендриваешься на эту тему перед собой и всеми, кто под руку подвернется. И то я могу, и это, все вокруг изменяю силой своей сияющей мысли, не починю, так доломаю, но вас, твари негодные, своим очешуенным внутренним светом, хотите вы того или нет, озарю. И не то чтобы это вот прямо совсем неправда, кое-что от тебя осталось, даже свой внутренний ритм иногда удается нащупать, и твое присутствие действительно многое меняет, правда не совсем в соответствии с твоим замыслом, что только к лучшему, в голове у тебя страшная каша, в народе именуемая херней.

Но, в общем, этот период, когда очень хочется красоваться жалкими остатками своей былой чудесной силы, перед кем угодно, любой ценой, это на самом деле период величайшей слабости. Желание красоваться — всегда признак слабости. Что вовсе не означает, будто красоваться не надо. У кого получится убедить хоть какое-то число простаков в своей исключительности, получит единственную из возможных на данном этапе внешних опор. Потому что чужие взгляды, хотим мы того или нет, на нас влияют. И чужая вера в нас иногда творит чудеса.

(А кто не умеет красиво и убедительно выпендриваться, лучше совсем не надо. Потому что чем больше народу видят в нас психованных придурков, тем трудней самому драгоценному в нас уцелеть.)

Этот период может затянуться на всю жизнь. Хотя бы потому, что у жизни при таком раскладе довольно большие шансы оказаться короткой. А может и длинной, риски рисками, но прямой корреляции тут все-таки нет.

Однако, если очень повезет, в какой-то момент понемножку начинаешь понимать, как тут все устроено. И на поверхности, и

на твоей драгоценной глубине. Как оно работает. Как ты влияешь на реальность в тех случаях, когда влияешь. И почему на нее не влияешь, когда не получается. И почему влияешь, но криво в подавляющем большинстве случаев. И что такое этот якобы исходящий от тебя (а на самом деле, просто изредка отражаемый тобой) свет.

Ну и в этот момент затыкаешься плотно и надолго. Потому что снова, как в детстве, видишь, что вокруг тебя чудесные существа. Но, как бы это помягче, очень потенциально чудесные. Ясно видишь, что препятствует развитию этого потенциала, понимаешь, что эти — не камни, скалы! — тебе ни с чьего пути не столкнуть. Очень ясно понимаешь, где ты находишься, как здесь все устроено и почему любое твое действие, хоть немного отличное от забивания гвоздей и жарки котлет, обречено на поражение. И, конечно, не принимаешь такого расклада — а кто бы принял? Но все равно учишься с этим жить. Потому что помирать после всей этой каторжной предварительной подготовки к неизвестно чему, это было бы как-то совсем уж тупо. Нет уж, останемся в зале, досмотрим это кино-не-для-всех.

И уж точно больше не выпендриваешься перед людьми ради внешних опор. Потому что того, чего тебе надо, никто все равно не вообразит. А значит, теперь антропоморфные внешние опоры будут только мешать. Выпендриваться можно продолжать, но только перед существами, которые больше и сложнее человека. Если получится, они про нас навоображают такого, что только держись.

А потом может наступить такое потом, когда все чаще ловишь себя на том, что становишься такого же рода внешней опорой для других людей — тех немногих, кто может такое щастье вынести. То есть в некотором смысле так было всегда, но сейчас происходит осознанно и осмысленно. Хватаешь, что под руку подвернется, и говоришь: «Ты чудесное существо. Смотри, ты это вот можешь. И вот это. А помнишь, была гроза? Так это из-за тебя! А знаешь, почему произошло то-то и то-то? Потому что у тебя в голове была вот такая каша, и она вот так вот трансформировала внешний слой реальности. Что значит — нет сил? Это у тебя жопу от дивана сейчас оторвать нет сил, а реальность трансформировать — дурное дело не хитрое, когда ты чудесное существо».

Но чаще, конечно, приходится не говорить, а думать. То есть даже не думать, а знать, как оно. И оно будет как-нибудь примерно так.

(А в ком видеть чудесное существо не получается, того приходится посылать в жопу. Не со зла, а чтобы не сломать

хрупкий пока механизм трансформации восприятием внутри себя.)

В общем, это работает. И какое-то время спустя обнаруживаешь, что вокруг тебя, как было в младенчестве, чудесные существа. Не особо осознающие свою чудесную природу и довольно неуклюже с нею управляющиеся, но елки, я тоже ничем не лучше. Так уж здесь все устроено, что все хоть немного отличное от забивания гвоздей и жарки котлет делается наугад и наощупь, косо-криво, но делается, это главное. Неопровержимый факт.

(Что мне во всем этом нравится — так это мое умение настоять на своем. Сказано: «Вокруг чудесные существа», — значит будут вокруг чудесные существа. Такие, каких я соглашусь считать чудесными существами, бескомпромиссно, не торгуясь с собой.)

Что бывает дальше, я пока не знаю, до этого надо постараться дожить. Но вряд ли новое разочарование, как в три-четыре года. Видимых предпосылок для нового разочарования вроде бы нет.

Такие девочки

В городе днем было очень много пар: нарядная мама плюс нарядная дочка (видимо, по случаю Первого сентября; видимо, мальчики не так расфуфырены и поэтому меньше бросаются в глаза).

Очень интересно смотреть на эти пары, вычисляя, где из девочки растят принцессу-прислугу (на самом деле, абсолютно одно и то же), а где просто человека. Вычисляется с полпинка, если быть шерлокхомсом вроде меня, но даже если не быть, с полутора пинков все равно вычисляется. Правда, очень легко. Все как на ладони.

Первых случаев все еще больше, Восточная Европа такая восточная, постсоветское пространство — трындец, который с нами еще надолго. Но число вторых, в смысле, людей-воспитывающих-людей, из года в год все же заметно растет. А что касается первых, тут главное, чтобы как можно дольше не выходили из подростковой девичьей моды тяжелые ботинки: пригодятся. Потому что человек, конечно, инертен, податлив и склонен становиться тем, во что его превращают. Но в жизни каждого человека есть такой прекрасный период, когда все жизнеобеспечивающие системы его скафандра работают на бунт. В смысле, гормональные бури в подростковом возрасте отлично годятся на то, чтобы пинать ногами дикие скотские предубеждения, которыми с детства зачем-то забита твоя единственная и неповторимая голова, необходимая вовсе не в качестве говнохранилища, а для обработки поступающей извне

информации. Затем, собственно, и нужны тяжелые ботинки: в них пинаться получается эффективней. И если войти во вкус, потом уже вполне можно и не перевоспитываться обратно в прислугу-принцессу. А просто продолжать жить (периодически попинывая для профилактики все, что тянет обратно в канаву, полную дохлых жаб).

У

Указание свыше

Сижу, озадачившись некоторой простой, но сложносочиненной бытовой проблемой, думаю, с какого бока к ней подойти. Телефон свистит — пришла СМС. А у меня, понятное дело, как у всякого мелкого городского шамана договоренность с собой (и миром), что любой внешний сигнал, поступивший в момент размышлений над конкретным вопросом (голоса на улице, песня из проезжающего мимо автомобиля, бумажка, брошенная ветром под ноги, надпись на стене, или вот как сейчас СМС) — подсказка, указание свыше, тайный знак.

Беру телефон, а там. А там! Рекламное послание от супермаркета Максима: только сегодня, только для вас, тридцатипроцентная скидка на такую-то водку. И еще на другую водку. И на третью водку тоже скидка, вотпрямщас.

Уличная мода

Все чаще попадаются на глаза девушки в платьях, подражающих моде пятидесятых; ну, то есть не совсем как у Грейс Келли в хичкоковском «Окне во двор», попроще, но что-то вроде того: тонкие талии, аккуратные лифы, пышные юбки, эх. Глаз не отвести. И дело даже не в том, что это красиво (хотя очень красиво), а в том, что мы же все помним, это была послевоенная мода, и теперь, когда новые девочки ходят по улицам в ослепительно пышных юбках, поневоле кажется, что очередная большая война уже закончилась, теперь долго ничего такого не будет, может, вообще никогда-никогда. И это такое странное сладкое ощущение обещания долгого мира — посреди, теоретически говоря, вполне мирной жизни без большой войны, которая тем не менее все равно совсем недавно закончилась, вот и белые тюльпаны посадили в Бернардинском саду, и древесные пионы расцвели возле планетария, и все это, получается, не просто так, не зря.

Успех

Состояние «успеха» — это такое (безусловно, приятное) состояние, специфика которого (если уметь достаточно глубоко

отслеживать свои ощущения) заключается в том, что в этот момент чувствуешь себя настолько на своем месте во вселенной, что ясно: тебя отсюда никуда не подвинут, потому что ты идеально занимаешь отведенное тебе пространство и безупречно справляешься со своей основной задачей; грубо говоря, ты бессмертен, пока боги, сложившие пазл, фрагментом которого ты являешься, любуются этой красотой с небес.

Поэтому от «успеха» всегда бывает прилив сил — это высвобождаются ресурсы, которые всегда (неосознанно) расходовались на поддержание внутренних систем безопасности, теперь отключившихся за ненадобностью. Это всегда ненадолго, у многих этот счастливый момент вообще всего секунду длится, потом системы безопасности снова включаются, и на место настоящей эйфории успеха приходит привычное думанье: «у мине тута успех», — приятное, но без спецэффектов в виде прилива сил и прочего взлета духа.

Все это (надеюсь) и так понятно, но отдельно интересно отслеживать, какого рода успех (в какой области) каждого из нас окрыляет — вот до этого состояния полета и (физически ощутимого) тепла от внутреннего огня. Это поможет многое понять о себе.

Меня, например, всегда окрыляет добыча. Любая, но именно добыча («добывать» — процесс, отличный от обычного повседневного «купить», «получить в подарок» и пр.). Добыча — это найти и присвоить, применив ловкость, ум или просто удачу, как-то так.

Удачные примеры: греческая одноцентовая монетка с афинской триремой, которую мне удалось заметить в стаканчике с чаевыми для бариста «Кофеина», попросить разрешения обменять на обычную и получить; кофемолка особой конструкции, нужная не мне, но после нескольких лет совместных поисков, омраченных сомнениями из серии «таких вообще не бывает» найденная на витрине магазина электротоваров в одном экземпляре; первый щавель, собранный во время прогулки в роще (я терпеть не могу «зеленый борщ», но желание притащить домой добычу всегда было сильней моих кулинарных предпочтений); кофейня с Очень Хорошим Кофе в городе, где таковых, по общему убеждению, нет. Когда мы в юности скупали души знакомых (ничего не зная об аналогичном проекте Комара-Меламида), каждая душа тоже была добычей, поэтому этот дурацкий проект я до сих пор вспоминаю как самый счастливый.

Все остальное, включая лучшие (объективно) из своих дел, я как «успех» не воспринимаю. Нормальная рабочая ситуация, а как иначе-то. Но стоит мне обнаружить в обычном виленском

супермаркете длинный индийский перец пиппали (мы его покупали сперва в специальной лавке пряностей, а когда она закрылась, заказывали в интернете, и точно знали, что в обычных магазинах такого не бывает) — и я на небесах.

Исходя из этого, я, получается, по замыслу небесной канцелярии, охотник. Мне положено добывать, остальное — опционально.

Устройство котика

Попа котика любопытна, бесстрашна до лихости и жаждет приключений.

Голова котика осторожна, разумна и планирует наслаждаться привычным комфортом до конца времен.

Поэтому когда открывается дверь, ведущая в подъезд, кошачья попа устремляется вперед, желая немедленно выскочить в неведомое и познать его по полной программе. А кошачья голова, полагающая, что от добра добра не ищут, начинает пятиться обратно, в дом.

Гармонично устроенный котик, чьи голова и попа находятся в равновесии, в результате описанного противоречия превращается в идеальный шар, замирает на месте и громко орет, оповещая весь мир об очередном экзистенциальном кризисе, который только что наступил и будет длиться, пока вошедший в дом человек не снимет ботинки и не отправится в кухню выкладывать покупки. Которые даже попа котика считает гораздо более интересным объектом для изучения, чем какое-то там неведомое; о голове котика и говорить нечего, уж она-то способна отличить вечные ценности от всякой неизрекаемой ерунды.

Утрата иллюзий в некотором смысле похожа на потерю близких. И то, и другое частично разрушает наш персональный мир (то, что кажется нам «нашим миром» — совокупность разнообразных факторов, формирующих наше бытие, начиная с представлений о своем месте и заканчивая некоторыми привычками).

В обоих случаях важно не забывать, что как бы ни велика была боль утраты, бездна, зияющая на месте проделанных утратами дыр, только кажется абсолютно враждебной, а на самом деле она — наш подлинный дом. И вообще никакая не бездна, а что-то другое, пока неизвестно, что именно, но только потому, что у нас соответствующие органы восприятия отсутствуют (надеюсь, временно), а вовсе не потому, что там и правда ничего нет.

Что-нибудь да есть, факт.

(В связи с этим, конечно, сразу приходит в голову рецепт: растить свой персональный мир до таких размеров, чтобы

никакой дыре от утраты не удалось разрушить его целиком. А то куда ж мы такие красивые, еще не разъяснившие бездну, денемся. Хороший, годный рецепт для жадных. Но лучше всего он работает в паре с рецептом для любопытных: в бездну вглядываться почаще. Вдруг там найдется что-то достаточно интересное, чтобы сразу, не дожидаясь рокового момента, включить в свой персональный мир хотя бы некоторые фрагменты ее.)

Ф

Фобии

«Социофобией» часто называют поведение настолько разумное и адекватное, что впору удивиться, как еще не навесили ярлык «копрофобия» на вполне обычное для здорового человека нежелание есть говно.

Фонарики

Итоги года у нас такие, что в этом году гораздо больше жителей центра Вильнюса (насчет окраин не знаю, просто не успеваю отследить) украсили свои балконы и окна светящимися гирляндами. И не только ими, конечно, но фонарики заметней. Что делает каждый выход на улицу натурально походом в музей, в жанре световой инсталляции наши горожане удивительные молодцы.

Превратить эту красоту в отвратительное зрелище было бы проще простого: обязать всех владельцев балконов, выходящих на улицы (или вообще всех) их украшать. И штрафовать за невыполнение. Даже если деньги на это выделить из городской казны, все равно будет ужас, на всех балконах тут же повиснут блеклые, самые дешевые, кое-как, на отъебись намотанные гирлянды. Ну или (если всерьез заняться осуществлением плана всеобщей гирляндизации) одинаковые, сливающиеся в единую тщательно продуманную праздничную композицию, на которую как бы хороша она ни была, на третий примерно день станет тошно смотреть.

Это я не страшилки рассказываю, а показываю принцип: принуждение способно сделать отвратительным все, даже наивную рождественскую-новогоднюю красоту.

Принуждения в жизни современного условно цивилизованного человека так много, что почти все оно. Начиная собственно с режима дня, подходящего далеко не каждому. Причем в большинстве случаев механизм принуждения не законодательный, он базируется на глупости и страхе и описывается формулой: «Если я не делаю это, я нехороший

неудачник» («и буду уничтожен», — добавляет инстинкт самосохранения, бесконтрольно управляющий сознанием).

В тех немногочисленных сферах деятельности, где жесткие социальные требования еще не сформированы (например, не украсившие свои балконы лампочками пока не считаются ленивыми неудачниками) повседневная радость и красота художественного (в широком смысле слова) жеста доступны каждому и рождаются как бы сами собой.

Принуждение экономит силы (как минимум позволяет не тратить их на выбор и волевое усилие), но исключает радость, которая сама по себе — идеальное топливо, дающее столько сил, что даже не задумаешься об экономии — зачем она? То есть традиционный вопрос: экономить или много зарабатывать? — но ставится он в такой области, где все, включая студентов, пенсионеров и обладателей непрестижных профессий, потенциальные богачи. Грех этот потенциал к свиньям собачьим сливать.

Формула

Разрешить себе собственное несовершенство — сделать его несущественным.

Фхтагн!

Ортодоксальное возвращение джедая в этом году пришлось ровно на Вальпургиеву ночь, по-моему, ужасно смешно.

Впрочем, днем из бывшей зеленой, а ныне златоглавой православной церкви на улице Басанавичюс массово выходили женщины с перебинтованными косынками головами и с таким интересным обреченным выражением лиц, словно у них не Христос вот-вот воскреснет, а Ктулху проснется. Впрочем, может быть, и правда проснется? А их по секрету заранее предупредили, чтобы успели выпить водки. Все-таки духовность, не хрен собачий. Совсем не собачий хрен!

Если Ктулху все-таки проснется, я ему даже завидую, потому что это, наверное, такое немыслимое счастье — проснуться и внезапно, без предварительной подготовки, которой мы, например, подвергаемся с конца января, увидеть вокруг всю эту нашу буйную запоздалую весну, насквозь пропитанную каминным дымом, что один только Ктулху и способен его пережить без единого микроинфаркта. (Вопрос знатокам: микроинфаркт ЧЕГО мог бы теоретически случиться у Ктулху? Микроинфаркт фхтагн!)

X

Холодная весна

Управлять погодой проще всего: пишешь, например, книжку, где наступила долгая холодная весна, и в окружающем мире тут же наступает долгая холодная весна. И все! Ничего больше делать не надо, даже с бубном плясать. Очень удобно.

Однако дикая слива напротив кафе «Rene» исправно зацвела позавчера, как только из кафе вынесли один (один!) уличный столик. Как и в прошлом году, она считает, что диким, близким к природе существам людям в этом вопросе следует доверять. У людей патамушта инстинкты!

Жизни стало так много, что писать о ней почти невозможно: не описывать же каждую минуту, а если не каждую, то непонятно, по какому принципу выбирать. С друзьями, которым удавалось меня заткнуть только поставив напротив тарелку с едой, придумали, что мне надо опубликовать рекламное объявление в газете: «Молчу за еду», — и ждать заказов. Но, елки, я зачем-то демпингую и молчу совершенно бесплатно, даже без еды. А все почему — всюду жизнь. Причем органическая. Но я ее все равно люблю. Такая вот удивительная девиация.

Когда любишь жизнь, каждая секунда ее туго фаршируется смыслом, да таким затейливым, что для описания его потребовалось бы как минимум полчаса. В столь непростых обстоятельствах обет молчания — сущее спасение, и черт с ней, с едой.

Художественные амбиции

Настоящие (т. е. годные, рабочие, способствующие развитию субъекта) художественные амбиции заключаются в стремлении к внятному (осознаваемому) эффективному взаимодействию с реальностью и, в идеале, изменению ее художественной волей.

Чтобы было совсем понятно: взаимодействие — это всегда диалог, то есть обмен. Это когда на всякую реплику (жест) приходит ответ. И следующая реплика (жест) художника формируется уже не от фонаря, а с учетом поступившего ответа.

Чтобы стало настолько понятно, что никто уже не отвертится: художественные амбиции можно (и, в идеале, должно) испытывать в рамках любой профессиональной или любительской деятельности. Художественные амбиции инженера, врача, огородника или, скажем, участника кросспостинга побуждают их стремиться к совершенству (совершенство вообще всегда результат сотрудничества с реальностью, а не с абстрактными идеями об устройстве реальности у себя в голове) и в результате улучшают (гармонизируют) мир (на микроскопических участках, но елки, а как еще).

Чтобы окончательно запутать всех, кому до сих пор казалось, что все понятно: художник — один из немногих доступных в

рамках современной культуры способов быть шаманом. Художественные амбиции — это на самом деле возвращение к истокам, к сути профессии: шаманство — это тоже диалог с реальностью, ни в коем случае не монолог.

А теперь внезапно опять понятное и простое. Меня часто спрашивают, как разбираться с актуальным искусством, то есть, как вообще понять, где настоящее, а где фуфло — неужели для этого обязательно надо восемьсот лет в гуманитарном ПТУ учиться или всю дерриду справа налево прочитать?

Правильный ответ: можно просто разрешить себе не разбираться в том, что не настолько интересует, чтобы восемьсот лет читать всякую дерриду. Актуальное искусство вполне проживет без нашего экспертного мнения, а мы (обобщенное «мы», лично меня все-таки вряд ли включающее) точно так же легко обойдемся без него.

Но если все-таки очень хочется разбираться, то вот безошибочный критерий: если художник ведет диалог с реальностью, если в результате этого диалога происходят хотя бы микроскопические изменения в этой самой реальности, все в порядке, даже если эти изменения нам совсем не нравятся, обязанности нравиться лично нам у искусства совершенно точно нет. А монологи, не вызывающие изменений (и даже потенциально не стремящиеся к этому), это, в самом лучшем случае, просто милый (или не очень) декор.

(В том, чтобы просто получать удовольствие от созерцания декора, нет ничего постыдного, если что, но кому важно классифицировать, классифицируйте теперь на здоровье, где у нас чего и как.)

Художник должен быть сытым, одетым и обутым, это даже дикие первобытные люди понимали, уступая лучший кусок мамонта тому, кто перед охотой нарисовал на стене этого мамонта, пронзенного копьями удачливых охотников. А то рассердится и тебя самого на той же стене нарисует, с копьем в каком положено месте, чтобы знал.

Нынче, конечно, художник пошел гуманный, с копьем в том самом месте никого не нарисует. Даже я не нарисую. Хотя…

Ч

Человек-мост — немного нелепая, неудобная, но чрезвычайно полезная в народном хозяйстве судьба.

Особенно когда ноги на небе, а голова — на земле (наоборот любой дурак может — ну, почти любой).

И вот еще: всякий железнодорожный мост мечтает стать пешеходным, чтобы не бу-бух, бу-бух составы, а пешочком, вдумчиво люди ходили. Это, наверное, и есть стремление к элитарности в чистом виде.

Но железнодорожные мосты — полезнее. Об этом не следует забывать, когда от грохота башка трещит и сердце крушит ребра. И без паники: у железнодорожного моста изначально такая конструкция, чтобы выдержать все.

Чердак

У меня непростые отношения с информацией. Иди наоборот, слишком простые. В моей голове живет вечно пьяный дворник с метлой, большой почитатель Шерлока Холмса и его правила не хранить в памяти ничего лишнего. В стремлении навести образцовый порядок этот дворник регулярно выметает из моей головы вообще все, нужное и ненужное, вперемешку, оставляя только какие-то нелепые сентиментальные сувениры (и неформатные бутылки, которые надеется когда-нибудь сдать). Ну и все, что случайно спьяну проглядел. Поэтому никогда нельзя предсказать, что задержится в моей голове надолго, а что из нее вылетит буквально через несколько минут. Ясно только, что при любом раскладе останется там совсем немного: мой внутренний пьяный дворник чертовски трудолюбив.

Что-нибудь новое

Правило, выведенное из наблюдений над живой природой: всегда надо искать что-нибудь новое для любви.

(Гусары, молчать. «Что-нибудь» не тождественно «кого-нибудь». Хотя как частный случай, вполне может иметь место. Но и тогда совершенно не обязательно означает, что мы хотим с этим трахаться. Хотя вполне может иметь место и такой поворот — опять же, как частный случай. Один из сотни тысяч, например.)

Это не означает, что следует отказываться от старых любовей (к людям, зверям, занятиям, искусствам и т. п.). Это означает, что следует постоянно растить свое сердце, чтобы в него помещалось все больше и больше новых объектов любви.

«Любовью» называют множество очень разных состояний, зачастую не имеющих вообще ничего общего. Поэтому говорить о любви — занятие неблагодарное, каждый слушатель (читатель) тут же подставляет свое индивидуальное представление о любви, и в большинстве случаев получается полная чушь. Поэтому поясняю: в данном случае я говорю о состоянии сознания, в которое мы приходим, сталкиваясь с объектами и явлениями, выбивающими из нас искры. Разжигающими внутренний огонь, чье горение становится причиной так называемого внутреннего подъема (вдохновения; ай, да как ни назови).

Человек, к сожалению, устроен так, что быстро ко всему привыкает. Поэтому нам нужны все новые и новые высекатели искр. Подойдет что угодно, лишь бы искры летели. Потому что внутренний огонь — это и есть жизнь. Когда он не горит, мы не живем, а существуем. По инерции. Какое-то время. Все вот эти так называемые «возрастные проблемы», которыми запугивают друг друга обыватели — следствие угасания внутреннего огня, который можно разжечь любовью. Ну или медикаментозно, но это, мягко говоря, не очень годный вариант.

Чем дольше живет человек, тем важнее для него ежедневно преодолевать собственную инертность и отправляться в мир на поиски новой любви. В какой-то момент, мне кажется, постоянно обновляющаяся любовь к новым объектам становится основным источником жизненной силы. Если не вообще единственным.

Чтобы консервы не стырили

Так называемый возрастной консерватизм взглядов, который якобы сопутствует так называемой «зрелости», с точки зрения потустороннего наблюдателя, достигшего примерно того же самого так называемого зрелого возраста, выглядит так: я прожил говенную жизнь и скоро сдохну, чего и вам всем желаю.

Не слушайте консерваторов, дети. Они говорят, что это у них от возраста ум отрос, а на самом деле просто благоразумно начали помирать загодя, и теперь им страшно: а вдруг другие как-то выкрутятся? И заранее завидно.

Взрослых вообще надо слушать пореже. И только веселых, которые ни черта не боятся (или хотя бы не всего и не всегда). Такие, есть шанс, действительно знают пару интересных секретов. Ну или просто психи, что тоже не самый плохой вариант.

Ш

Штаны

В детстве у меня (на самом деле, у нас, для подобных игр нужна компания) был Штаб, который мы конспирации ради вслух при посторонних называли «штаны». «Я иду в штаны», «ты уже был в штанах?» «не ходи сегодня в штаны», — все это мы выкрикивали значительно громче, чем требовалось. Чтобы все вокруг слышали наше конспиративное слово и ничего не понимали, а мы видели, как они ничего не понимают, и вовсю наслаждались принадлежностью к узкому кругу посвященных. В детстве подобные ощущения бесценны (да и потом вполне ничего).

Штаб помещался в сарае родителей девочки Лены, которые

жили в маленьком двухэтажном доме на две семьи. К дому прилагался участок, на котором они разбили небольшой огород с редиской и зеленым луком. Нам (всем остальным «штабистам») повезло меньше, мы жили в многоквартирных домах. Ну, правда, у нас были чердак и «кочегарка» (котельная, отапливавшая дом), но штаб там не устроишь. А нам позарез был нужен именно штаб. Место уединения.

В сарае было пусто, пыльно и полутемно; у стены стояли грабли и еще какие-то садовые инструменты, на крючке висела условно рабочая, то есть просто очень старая и грязная одежда. Главное достоинство сарая заключалось в том, что там можно было запереться и никого не пускать. Это обстоятельство делало все наши обычные разговоры особенными, не детскими, даже не просто «взрослыми», а как бы разговорами подпольщиков и партизан, образу жизни которых мы все в ту пору отчаянно завидовали, насмотревшись соответствующих кинофильмов: никого не слушаются, имеют тайны, живут как хотят.

Иногда мы приносили в сарай еду из дома, иногда (в сезон) таскали с огорода редиску. Нам было все равно, что есть в штабе, лишь бы есть — взаперти, без взрослых, в узком кругу. Еда придавала нашим посиделкам в штабе дополнительную весомость. Когда люди едят, это уже не игра, а настоящая жизнь.

У сарая однако был недостаток: родители девочки Лены знали, что мы там иногда сидим. Они не возражали, но сам факт, что какие-то взрослые о нас знают, все портил. Из-за их осведомленности мы были (и самое главное, осознавали себя) не настоящими партизанами-подпольщиками, а детьми, играющими в партизан, пусть даже и с едой. А ненастоящего, «понарошку» и «покабудке» в нашей детской жизни и так было достаточно. Поэтому мы долго искали другое место и в конце концов нашли самый настоящий заброшенный двухэтажный дом, стоявший немного на отшибе, почти на самой границе жилого района с забором воинской части. Пустой, зияющий черными оконными проемами, без перекрытий и лестниц, с дырявой крышей — это если смотреть изнутри. А снаружи дом казался почти целым, только стекла выбиты, да крыльцо совсем сгнило. Стены дома были увиты виноградом, очень мелким, но удивительно сладким (значит, дом мы нашли в самом конце лета, а то и в начале осени, — подсказывает мой внутренний юный натуралист). Мои друзья сперва обрадовались находке, но уже на следующий день утратили энтузиазм и решили не устраивать штаб в заброшенном доме. Видимо, для них он оказался чересчур уединенным местом. И только мне — в самый раз.

Меня в этот заброшенный дом тянуло как магнитом, так что в

конце концов, он стал моим персональным штабом, индивидуальными «штанами», командным пунктом моей партизанской войны с миром, которому, согласно завету философа Сковороды, полагалось ловить меня понарошку, вполсилы, так, чтобы не поймать.

Он, впрочем, все равно, конечно, поймал. Но потом. И выяснил, что я больно кусаюсь.

Э

Эксперимент

Если подходить к своей жизни как к сложному эксперименту, в котором ты принимаешь участие как минимум в качестве активного лаборанта (возможен карьерный рост), получается максимально эффективно использовать все, что тебе выдали на входе и потом добавляли по пути. Все природные данные, включая самые негодные, все невыносимые обстоятельства, весь т. н. негативный опыт, включая т. н. травмы будут работать на тебя (т. е. на становление и укрепление сознания), если подходить к ним с позиции: интересно, зачем мне выдали именно это, куда его приспособить и как применять? (А не «за что мне бедочке такое наказание», или «о, да я тута у нас избранник богов». Все на самом деле бедочки и одновременно избранники, не о чем париться, важно только, насколько успешно идет работа в лаборатории, как продвигается эксперимент.)

Это такое

Настоящий высокопробный идеализм — это такая штука. Когда лезешь в свои тайные кладовые проверять, что у нас там сегодня самый страшный страх и (самое, собственно, главное), как ты собираешься себя вести, встретившись с ним, под залежами обычного барахла (у меня, как у большинства органических существ, это страх перед хрупкостью скафандра, в который здесь заключено наше сознание), неизменно, с младенческих лет обнаруживаешь настоящий ужас: что вот переступаешь порог между жизнью и смертью, а там ничего нет. То есть вообще ничего, потому что то, что казалось «сознанием» было просто разновидностью деятельности мягкого мокрого мозга, и то, что казалось непроговариваемым смыслом, тоже его выкрутасы, а все эти так называемые прикосновения духа вообще результаты химического дисбаланса организма, который теперь умер и скоро сгниет, не о чем говорить.

Но интересно не это, мы же лезем в кладовку со страхами не ради странного мазохистского удовольствия, а чтобы знать, что

мы с этим собираемся делать. То есть, как себя поведем.

Так вот, настоящий упертый идеалист точно знает, что в этот последний момент он совершит неописуемое, невозможное усилие, чтобы все это было: сознание, смысл, прикосновения духа, все вот это вот, противоречащее принципам примитивного материализма из брошюр для продвинутых пэтэушников с корочками о высшем образовании или без них, разница несущественна. Возможно оно или невозможно, а чтобы было. Любой ценой. Допустили мое существование, дорогие силы природы, теперь терпите, бог будет, и бессмертное сознание будет, и всякий там высший смысл, выхода у вас нет.

То есть настоящий идеалист — это такой специальный, полезный, обуянный гордыней чувак, который не просто верит в примат духа над материей, а готов, если что, слепить этот самый дух на коленке из того, что под рукой, на крайняк, из собственного распадающегося в последний момент сознания, ну что делать, если ничего больше нет.

Каждый день кто-нибудь из нас это делает. Заново, с нуля, хотите вы того или нет. Главное — я хочу.

Это удивительное чувство совершенной гармонии с миром, когда у себя во дворе в полной темноте кормишь черного уличного кота и вдруг слышишь, как в квартире на первом этаже часы бьют полночь.

Ю

Южный ветер

Знал бы кто, как отчаянно пахнет сейчас ранней черной пьяной весной и одновременно грибным сентябрьским лесом, знал бы кто, как победительно сияет на безоблачном небе желтый обмылок луны, знал бы кто, как свиреп южный ветер, когда поднимает с земли страшные черные листья позднего ноября и швыряет их в лицо Создателю, вопрошая: «Этта што?!»

Создатель безмолвствует, Он не сердится, на южный ветер совершенно невозможно сердиться, над ним даже посмеяться толком не получается, он такой юный, такой буйный, такой отчаянно последний, обнять и плакать, — думает Создатель, — обнять и плакать. Но держит Себя в руках.

Я

— Я люблю тебя больше жизни!

— Больше чьей жизни?

пауза

— Надо подумать. Хороший вопрос.

Я помню, как бесконечно давно, семь часов назад, мне хотелось написать, что:

В багажнике у меня капуста, в кармане три связки ключей, а в сердце тьма августовской ночи, такая специальная тьма, которая — просто удачный фон для звезд.

А теперь поздно это писать: капусту вынули, унесли в дом и даже частично съели, а от ночи почти ничего не осталось, небо уже прозрачное, скоро рассвет. Только ключи на месте, но это не то чтобы новость, ключи при мне всегда. С замками не так лучезарно, но порой попадаются и они. В довольно неожиданных местах.

Мне долго казалось, что важно иметь побольше ключей, замки приложатся. Но нет, наоборот. Без замка ключ ничего не стоит, зато замок, если что, можно и взломать, лишь бы был. И совершенно неважно, что означает эта метафора, что мы называем «ключами», а что «замками». И что мы имеем в виду, когда думаем о двери, в которую врезан замок. Важно только, что за дверью. А там…

notes

Примечания

1

Здесь отсылка к знаменитому перформансу Йозефа Бойса «Как объяснять картины мертвому зайцу».

2

Непостижимому и неопределенному, конечно же.

З

Роман британского писателя Роберта Ирвина.

Здесь отсылка к «Речам Высокого»:

> Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Никто не питал, никто не поил меня, взирал я на землю, поднял я руны, стеная их поднял — и с древа рухнул.

5

Тут может быть любой глагол, описывающий действие, так или иначе связанное с созиданием.

Дееспособному, конечно.

7

Согласно легенде, князь Гедиминас, уснув в месте слияния двух рек, увидел во сне железного волка, пересказал сон жрецу, и тот велел срочно строить город. Построили. Получился Вильнюс.

8

«Действия людей, безобразных телом и образом мыслей» — определение комического согласно Платону.

9

Не помогло. Ангел улетел, лестница на ремонте.

10

Анекдот звучит примерно так:

Поймала девочка-дебил золотую рыбку. Ну, та ей, как обычно, мол, загадывай три желания — исполню.

Девочка-дебил не растерялась и говорит:

— Хотю уши огромные, как у слона, фтобы от ветра развевались, больфые такие уши!

Рыбка удивилась, но уши, как было заказано, сделала.

— Ну, давай второе желание.

— Теперь хотю нос такой огромный, длинный-предлинный, чтобы висел и болтался!

И это желание рыбка выполнила.

— Давай, — говорит, — последнее твое желание.

— А теперь хотю хвост длинный, пушистый!

Рыбка выполнила и это желание. Не выдержала и спрашивает:

— Слушай, девочка, зачем тебе этот нос ужасный, уши огромные, хвост? Чего ты себе ума, красоты, богатства не пожелала?

— А фто, можно было?

включая тепличную среду, где пресловутый артикль доносится из-за окна, символизируя ужосы внешнего мира, непричастность к которому кажется важным сохранять или хотя бы демонстрировать.

12

Один стишок про душистый горошек я помню до сих пор:

Спросили мышек, веселых крошек:
— Скажите, мышки, то чей горошек?
Сказали мышки: — То наш горошек,
Такой веселый, такой хороший.
Пусть он невкусный, пусть он несладкий,
Но в нем мышата играют в прятки.

И вот как, спрашивается, как удалить это из своей головы?!

13

Ответ на вопрос: куда смотрели родители? — прост. Их не было дома. Папа каждый день ходил на службу, работать советским оккупантом. А мама через день ходила работать кочегаром в котельной, которая отапливала наш дом. Она уходила несколько раз в день примерно на час-полтора. Меньше, чем хотелось бы мне, но все равно многое можно успеть.

А по субботам и воскресеньям родители ходили в кино и на концерты. В наше время детей вообще не боялись оставлять одних дома, даже дебилов. Только спички тщательно прятали перед уходом, но я, кстати, знаю, куда.

14

«Чудо» (*лит.*)